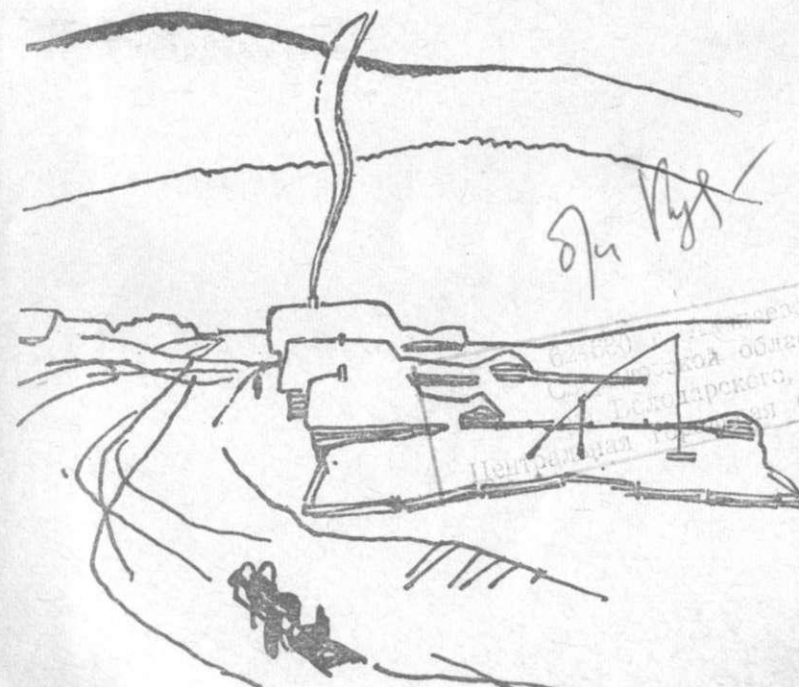


^^MНММiMIMHB'Mm™nmrii|iiii|iii|| иц j 1ТЯМИИМ

ВАСИЛИЙ БАЛЯБИН

ЗАБАЙКАЛЬЦЫ

РОМАН



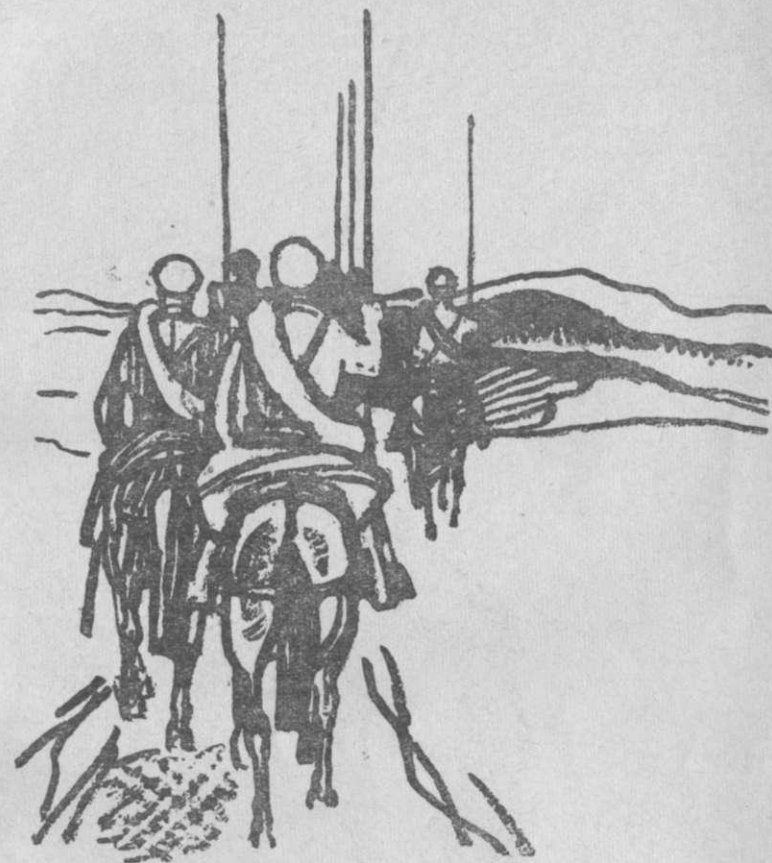
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
МОСКВА 1966

У каждого писателя, пожалуй, есть своя главная книга. У Василия Балябина это роман «Забайкальцы», посвященный жизни забайкальского казачества в предреволюционные годы (1906—1914) и в первые годы после революции.

Перед читателями разворачиваются картины быта казачьих станиц, армейской службы казаков. В центре первой книги — любовь Егора Ушакова и Насти: они любят друг друга, но драматические случайности помешали их женитьбе.

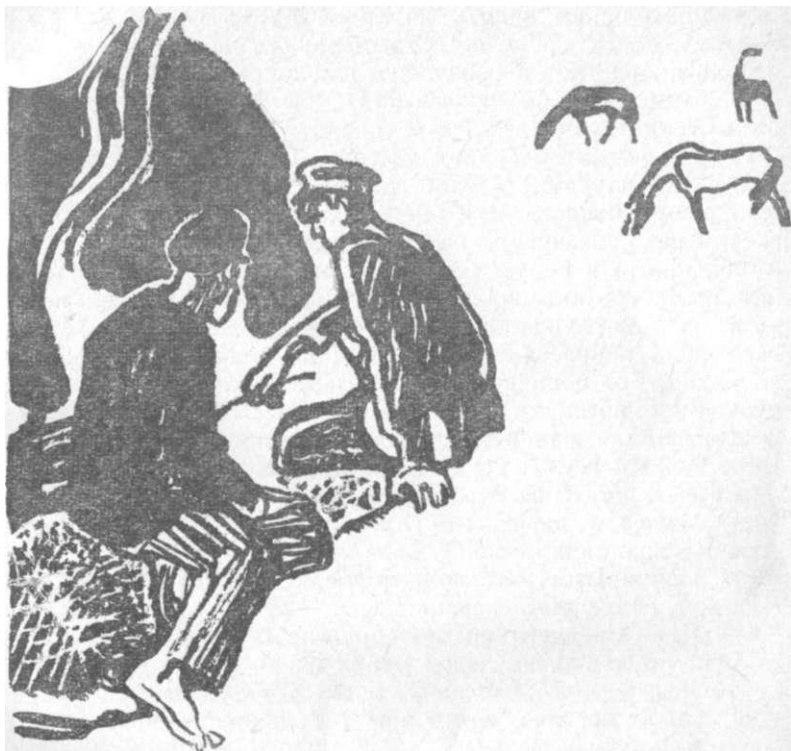
Во второй книге В. Балябин рассказывает о времени духовного созревания забайкальских казаков, оказавшихся на фронте в годы первой мировой войны. В числе других казаков уезжает на фронт и Егор Ушаков. Встретившись с большевиками, он постепенно начинает осознавать всю бессмысленность мировой бойни.

«Забайкальцы» — роман о революции, о гражданской войне в Забайкалье, о тех, кто сражался с белогвардейскими бандами Семенова, о тех, кто руководил советским Забайкальем в эти бурные, огненные годы.



КНИГА
ПЕРВАЯ





ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА I

В старой просторной избе Ефима Урюпина, служившей для казаков села Верхние Ключи поселковой сборной, с утра многолюдно, шумно и жарко. Сегодня воскресенье, и молодые казаки собрались сюда на очередное военное занятие.

На дворе уже вторые сутки бушует мартовская пурга, а поэтому обучающий казаков младший урядник Дремин решил строевых учений в этот день не проводить, а заняться зубрежкой «словесности».

По установившейся у казаков традиции обучать военному делу молодых казачат начинали с двенадцатилетнего возрас-

та и продолжали вплоть до ухода их на службу в армию. Поэтому среди собравшихся наряду со взрослыми парнями немало подростков и ребяташек школьного возраста.

Казаки старших возрастов одеты почти все одинаково: в форменные, из дымленных овчин, полушубки, обшитые на груди меховыми полосками из серой мерлушки. Все опи в папах с кокардами, в сапогах, в брюках с желтыми лампасами и при шашках. В отличие от старших, молодые казацата пестрели разнообразием верхней одежды. Кто в рваной шубенке, кто в полушубке, кто в ватнике, на головах овчинные шапки, отцовские папахи и даже монгольские, из тонкого войлока, ушанки. Но когда, томимые жарой, многие разделись, побросав свою одежду под лавки и на печь, стало видно, что и на ребяташках форменные, защитного цвета, рубашки с погонами и штаны с лампасами. Лишь немногие из взрослых казаков сидели на скамьях вдоль стен, большинство же и все без исключения ребяташки были на ногах.

Обучающий Дремин, худощавый, с черными усиками человек, сидел в переднем углу. На столе перед ним лежали списки казаков и казачат.

— Подкорытов! — заглянув в список, негромко сказал он, вызывая очередного казака.

— Я! — Среднего роста черноглазый казак вскочил со скамьи, придерживая левой рукой шашку, шагнул к столу и, ловко козырнув обучающему, встал «во фронт».

— Скажи-ка мне, кто у нас в войсковом управлении инспектор молодых казачат?

— Его высокоблагородие войсковой старшина Беломестнов!

— Какие у него знаки отличия на погонах?

— Два просвета и четыре звездочки.

— А у полковника?

— Два просвета без звездочек.

— Хорошо, садись.

Дремин снова посмотрел в список.

— Чашин Федор!

— Чево? — донеслось из заднего угла избы.

— Я т-тебе, морда неумытая, покажу «чево»! Зачевокал. А ну! Выдь сюда!

— Чи-ча-ас! — И к столу протискался толстый, неуклюжий парень в розовой ситцевой рубахе, к которой, словно для смеху, были пришиты погоны. На маленькой, не по росту, голове парня клочьями торчали белокурые, давно не чесан-

ные волосы, на мальчишески розовом лице его блуждала виноватая улыбка, а синие, как васильки, глаза смотрели по-детски испуганно и наивно.

— Встать как полагается! — заорал на парня Дремин. — Пятки вместе, носки врозь, руки по лампасам, ну! Балда, раскорячился, как старый бык на льду. И нарядился, как баба, в ситцевый сарафан. Почему не в форме?

— Да у меня... это само... — розовое лицо парня стало густо-красным, — нету ее...

— Заработать должен и приобрести, дубина осиновая! Вот заявись-ка в следующее воскресенье в таком виде, так я тебе покажу, где раки зимуют! А теперь отвечай, кто у нас поселковый атаман?

— Атаман-то?.. Тимоха Кривой.

Грянул хохот. Дремин, которому атаман был двоюродным-братом по матери, разозлился, хлопнул кулаком по столу.

— Ты что, с-сукин сын, с ума сошел? Кто это тебя научил атамана так называть?

— Никто не учил, его все так зовут.

— Все так зовут! Чучело огородное, называть его нужно «господин поселковый атаман приказный Болдин». Понял?

— Понял.

— Отвечать нужно: «Так точно, понял, господин обучающий». Теперь дальше. Ты кто?

— Зовут-то меня Федька, а дразнят «Левша».

Новый взрыв хохота, даже Дремин не утерпел, засмеялся, обвел взглядом казаков.

— Ушаков Егор.

— Я! — Голубоглазый, с русым кучерявым чубом Егор подошел ближе.

— Ты кто?

— Забайкальский конный казак, — кинув руку к папаше, четко ответил Егор, — третьего военного отдела, Заозерской станицы, поселка Верхние Ключи, Егор Ушаков!

— Правильно, опусти руку. Слышал? Ты, дуб обгорелый, слышал, как надо отвечать?

— Слышал.

— Повтори.

Чашин кашлянул, шмыгнул носом.

— Ну!

— Это само... как ее... Заозерской станицы Егор Ушаков!

— Здорово живем! Фамилию свою не можешь назвать! Да разве ты Ушаков? Ох, Федька, Федька!.. — Откинувшись

спиной к стене, Дремин горестно вздохнул: — Что мне с тобой делать? Медведя, понимаешь ты, медведя скорее можно научить словесности, чем тебя. И за какие такие грехи накачало тебя на мою голову! Господи ты боже мой! Федот Ляхов!

— Я! — Чиркая концом шашки по полу, к столу подошел небольшого роста казачок в новом полушубке и серой папахе. Дремин снова повернулся к Чашину, показал ему пальцем на Ляхова.

— Вот он сейчас будет мне отвечать, а ты, дубина, слушай хорошенько и повторять будешь, понял?

— Понял.

— Ляхов, кто у нас войсковой наказный атаман?

— Войсковой наказный атаман Забайкальского казачьего войска — его высокопревосходительство генерал от инфантерии Эверт.

— Правильно. Повтори, Чашин.

— Инерал от... тититерии,— Чашин, выпучив глаза, вытянул шею, слегка склонился и, словно проглатывая что-то несъедобное, выдохнул: — Ыверц.

Снова все кругом захохотали, Дремин же, в полном отчаянии махнув на Чашина рукой, повернулся к Ляхову:

— Скажи, Ляхов, что такое дисциплина?

Ляхов, будучи парнем грамотным, казенные термины «словесности» заучил отлично, хотя, как и большинство казаков, не всегда понимал их смысл. Лихо козырнув Дремину, он единым духом выпалил:

— Дисциплина есть душа армии, как не может жить человек без души, так и армия без дисциплины.

— Та-ак... А для чего казак призывается на службу?

— На святое и великое дело — защищать царский трон и край родной, поражать врагов внешних, истреблять внутренних.

— Ага, кто же это внутренние враги?

— Внутренние враги... господин обучающий,— это те, что... ну... — Ляхов запнулся, подняв глаза к потолку, понатужил память, вспомнил: — это, значит, жида, бунтовщики и всякие там прочие студенты, которые супротив царя идут, народ мутят, ну и, значит, э... э... э... забастовки устраивают.

Время перевалило за полдень, а занятию, казалось, не будет и конца. Дремин продолжал вызывать казаков, задавая все те же, сотни раз слышанные вопросы: как титуло-

вать царя, членов его семьи? Что такое знамя? Что на нем изображено? Какой погон у сотника, у есаула?

Насилу дождались, когда Дремин разрешил сделать перекур, «сходить до ветру». Разминая уставшие от долгого стояния ноги, казаки шумной толпой хлынули на двор.

Пурга бушевала по-прежнему, поэтому все сгрудилась с подветренной стороны избы, где было сравнительно тихо, только снег кружился и сыпался с крыши на головы казаков. Ребятишки сразу же затеяли возню, борьбу, игру в снежки, взрослые, разбившись на кучки, курили. Горьковатый дымок самосада сизыми струйками поднимался над папахами и, подхваченный порывами ветра, мгновенно исчезал в белесоватой мгле.

Оживленный говор не умолкал ни на минуту: слышались шутки, смех, а кое-где и ругань, приправленная крепким словом.

— До чего же она, сволочь, надоела мне, эта словесность самая,— сетовал высокий рябой казак в черной папахе.— Опротивела хуже горькой редьки. Я бы согласился два раза в неделю на джигитовку да на рубку выезжать, чем на эту чертовщину ходить, будь она трижды проклята!

— Терпи, казак, атаманом будешь.

— Бу-удешь, держи карман шире! — Рябой ожесточенно плюнул в снег, извлек из кармана трубку. — Подкорытов, давай-ка закурим твоего, табак-то у тебя, паря, важнецкий.

— Первый сорт, с первой гряды от бани,— улыбнулся Подкорытов, протягивая рябому кисет.— Так, говоришь, словесность-то не по нутру?

— Пропади она пропадом!

— Нет, я на нее не обижаюсь. У меня, милос, другое на уме: вечерку бы сообразить сегодня под шумок-то!

— Вечерку? В великий-то пост? Ты что, сдурел?

И несколько человек заговорили разом:

— Люди богу молятся, а мы плясать будем, беситься на вечерке до утра? Сроду этого не бывало.

— А ежели атаман узнает про это, тогда что?

— Да и девок-то матери не отпустят, чего там зря! Не-е-ет уж, чего нельзя, то, стало быть, нельзя.

— Нельзя штаны через голову надеть! Остальное все можно,— багровея в скулах, загорячился Подкорытов.— Подумаешь, грех какой: если великий пост, так и на вечерке нельзя повеселиться, а им и пьянствовать и мордобоем заниматься

можно! Тот же Тимоха Кривой давно ли Артемку Лукьянова-то избил? Это как — не грех?

Казаки заспорили, но в это время Дремин подал команду, и все нехотя потянулись в душную избу.

После перерыва казаки постарше сидели на скамьях по-очередно, молодежь по-прежнему толпилась на ногах, а Чащин опять стоял навывтяжку у стола. Виногато-глупая улыбка па лице его все чаще сменялась страдальческой гримасой, и как только Дремин отворачивался, он, тяжело вздыхая, переступал с ноги на ногу.

Наконец раздалась долгожданная команда: «Встать!», что означало конец занятиям. Все повскакали с мест, а Дремин, призывая к порядку, постучал кулаком по столу.

— В следующее воскресенье,— объявил он, поднимаясь из-за стола,— старшим возрастам явиться на лошадях, будет конное учение. А послезавтра, семнадцатого марта, знаете, что за праздник?

— Знаем.

— Какой? А ну-ка, скажи, Ушаков.

Козырнув, Егор ответил:

— Алексея божьего человека войсковой казачий праздник.

— Верно. Так вот: будет парад, сбор у школы с утра. Там соберутся старые казаки и молодые, седьмого и восьмого сроков службы¹. Явиться пеши, в шинелях, папах и при шашках, понятно?

В ответ нестройный гул:

— Понятно!

— Поняли!

— Больше половины!

А кто-то в задних рядах озорства ради добавил:

— Держись, Ермиловна!

Дремин посмотрел в сторону озорника.

— Сегодня по случаю пурги расходиться можно без строя.—

И, чуть повысив голос, закончил: — Ра-асходись!

Домой Егор Ушаков шел, как всегда, вместе с Алешкой Голобоковым. Были они давнишние друзья, так как жили по соседству. Отец Алексея имел в хозяйстве две пары быков, три лошади, пять коров, хлеба всегда хватало своего — словом, человек выбился из нужды, выходил «в люди». Егор же был сыном бедной вдовы.

Отца Егор запомнил, когда тот вместе с другими казаками

уходил на войну. День тогда был не по-летнему хмурый, ненастный, и, хотя моросил мелкий дождик, провожать казаков вышло поголовно все село.

Казаки в окружении родных шли спешившись, оседланных, завьюченных по-походному коней вели в поводу. Песни, громкий говор, пьяные выкрики казаков, плач женщин и детей — все слилось в сплошной немолкнущий гул.

В числе других был и отец Егора, Матвей Ушаков. Слегка пошатываясь от выпитой водки, он левой рукой прижимал к себе шагающего рядом Егорку, правой обнимал жену, тогда еще очень красивую Евдокию Платоновну.

— А ты, Дуся, не плачь, все обойдется по-хорошему,— утешал Матвей плачущую жену.— Да будет со мной отцово-материно благословение. Ничего, Дуся, бог даст, возвратимся и проживем лучше прежнего. За меня, Дуся, не беспокойся, я ведь... тово... фатовый.

Мать Егора, Платоновна, ведя за руку младшего сына, не причитала, не жаловалась на судьбу, плакала молча.

— А ты заметила, Дуся,— продолжал Матвей,— только мы со двора — и петух пропел. Это как? Примета, Дуся, хорошая примета... Значит, вернусь живой-здоровый.

Прощались далеко за околицей. Команда «по коням!» положила конец прощанию.

— Справа по три, за мной...— атаман выехал вперед, махнул рукой,— марш!

Казаки, равняясь на ходу, двинулись за ним, сильнее заголосили, запричитали бабы. Следом за казаками потянулись подводы, многие провожали служивых до станицы, а тех, что напились до бесчувствия, везли на телегах.

Целую отца в последний раз, Егор плакал навзрыд, сквозь слезы видел, как отец долго не попадал ногой в стремя и тяжело — не по-казачьи — садился на коня.

Приотстав от колонны, Матвей, сдерживая загорячившегося коня, повернул его поперек дороги, снял фуражку, помахал ею на прощание, и Егор заметил, как по лицу отца катились, висли на усах крупные слезы.

Таким и запомнился Егору отец.

И еще помнил Егор, с каким нетерпением они с матерью ожидали конца войны, возвращения домой их кормильца.

Но не сбылись мечты. Не помогли Матвею ни пришитая к гайтану у креста ладанка с наговором «от меткой пули да от вострой сабли», ни горячие молитвы Платоновны, ни петух, что пел ему на дорогу. В сражении под Джалайнором сложил

¹ То есть казаки, которые в 1907 и 1908 годах будут призваны в армию.

свою голову лихой казак, и хоть вынесли его из боя товарищи, да уже только для того, чтобы с честью похоронить вместе с другими павшими героями в братской могиле.

Безрадостно прошло у Егора детство; в школе он не учился — ежегодно уезжал зимой с матерью на заимки богачей. Он помогал Платоновне в уходе за скотом, присматривал за младшим братом Мишкой. Так и вырос, рано познав нужду, всяческие лишения, с детства приучившись к труду.

* * *

Идти друзьям пришлось против ветра. Пурга завывала, как им казалось, еще сильнее, колючим снегом хлестала в лицо, слепила глаза. Они закрывали лицо рукавицами, пятились, повернувшись к ветру спиной, жались по заборам. С великим трудом добрались до избы Голобоковых, остановились в затишье.

— Ох и метет! — прижимаясь спиной к высокому, плотному забору, заговорил Алексей. — А ты, Егорка, новость слышал?

— Какую новость?

— В повинность¹ наш год попал. Теперь, брат, и мы с тобой казаки, на сходках будем голос иметь.

— Радости-то сколько! — недовольно отозвался Егор. — Обмундировку теперь заводить надо.

— Конечно. Мне уже отец заявил: я, говорит, из-за тебя разоряться не буду, а вот договорюсь с добрым человеком да в работники тебя отдам, зарабатывай все, что потребно казаку.

— Пойдешь в работники?

— А куда ж денешься, пойду.

— Я не пойду, пу их к черту, толстопузых, и так на них сызмалолетства ворочал.

— А как же обмундировка?

— Пойду работать в крутойаровское депо учеником слесаря.

И тут Егор рассказал, что в депо работает их дальний — по бабушке — родственник. На днях он прислал Платоновне письмо, где сообщал, что исхлопотал для Егора место, что он будет зарабатывать даже учеником не менее семи рублей в

¹ Казаки, достигшие семнадцатилетнего возраста, заносились в станичные списки, обязывались платить подушный налог — «повинность» получали земельный надел и начинали готовиться к военной службе, приобретать обмундирование.

месяц. И сразу же после благовещенья просит и рисылат Егора к нему в депо.

— Это хорошо, — согласился Алексей, — я бы тоже пошел туда. Ты когда будешь работать, так подыщи там местечко и для меня.

Егор пообещал, и на этом друзья разошлись по домам.

ГЛАВА II

Семнадцатого марта денек выдался солнечный, теплый. В улицах возле домов и заборов пургой намело большие сугробы, но сегодня уже с утра на завалинках, дорогах и пригорках появились проталины, а с крыш падала звонкая капель.

В это утро по одной из улиц торопливо шагал Игнат Сорокин, известный по всей станице пьяница и картежник, за что сельчане прозвали его Козырем. Одет он, как всегда, в старенький, пестреющий заплатами полушубок, на ногах подшитые кожей валенки, а на голове барсучья, с красным верхом папаха.

По многолетнему опыту охочий до выпивки Козырь знал, что сегодня после парада будет большая пьянка, но у него, как на беду, не было шинели. В эту зиму ему страшно не повезло: не более как два месяца тому назад он проиграл в «очко» заезжим приискателям не только все деньжонки, но и годовалую телку и шинель с сапогами.

В надежде выпросить шинель напрокат он побывал уже в трех домах, но все как-то неудачно, и вот теперь направился к богатой вдове Агафье Уткиной.

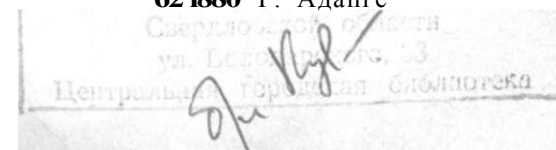
Повязанная белым, отороченным кружевами платком, дородная, чернобровая Агафья хозяйничала около жарко топившейся печи, когда в доме, хлопнув дверью, появился Козырь.

— Здравствуй, Игнатьевна! — сняв папаху и перекрестившись на иконы, приветствовал он хозяйку. — С праздником!

— Вас равным образом. — Не выпуская из рук ухвата, Агафья оглянулась на вошедшего. — Проходи, садись, гость будешь.

— Гостид^тв мне некогда, Игнатьевна, я ведь по делу к тебе.

62'1880 I'. Адапте



— Что у тебя за дело? — Опершись на ухват, Агафья с любопытством посмотрела на гостя.

— Дело, Игнатьевна, такое: удружи-ка мне на денек шинель покойного Прокопия да и сапоги, если можно. Сегодня наш казачий праздник, на парад надо идти, а у меня, как на грех, шинели подходящей нету.

— Это почему же?

— Да оно, видишь, Игнатьевна, как получилось...— Козырь кашлянул в кулак, разгладил рыжие усы, придумывая, что бы такое соврать поскладнее.— Осенёсь поехал на базар с сеном да шинель-то и уронил с возу. Какой-то стервец подобрал да и нос под хвост, присвоил, ни дна бы ему, ни покрышки! Так вот и пропала новенькая шинель ни за грош, как в воду канула. А ты, Игнатьевна, не беспокойся, шинель я тебе завтра же возверну в полной сохранности, а за выручку приду и отработаю. У тебя вон, я погляжу, и молотьба еще не закончена и вороха на гумне не провеяны.

— Человека-то мне надо на молотьбу...— Агафья подумала и, вздохнув, поставила ухват в угол.— Ладно, уж так и быть, выручу.

Она не торопясь прошла в горницу и, уже выйдя оттуда с шинелью в руках, остановилась, недоуменно подняла брови.

— Я и забыла спросить-то, Игнат Сафроныч: ты ведь, однако, в батареё служил?

— В батареё, Игнатьевна, во Второй Забайкальской батареё.

— Значит, тебе погоны-то красные надо, а мой-то служил в Первом Верхнеудинском полку, погоны у него желтые, да **еще** и урядничкие, с лычками*.

— Это, Игнатьевна, не беда, на сегодняшний день я могу и **не** быть батарейцем, сойду за полкового, кто ко мне придерется, кому какое дело? Лычки отпорю, а завтра обратно пришью. Ростом мы с покойником были одинаковы, так что все будет в порядке.

— Ну, если так, то бери. Только уж ты, Сафроныч, завтра **же** и приходи, поработай с недельку, я тебе **еще** и приплачу, **не** обижу.

— Приду, Игнатьевна, обязательно приду.

Раздобившаяся Агафья снабдила Козыря и обувью, и он, **не** чуя под собой ног от радости, помчался с сапогами и шинелью под мышкой готовиться к выходу на парад.

* Лычки — нашивки.

Поглядеть на празднование пришли и Егор с Алексеем. Парад еще не начинался, хотя казаки были в сборе и, выстроившись в две шеренги, стояли «вольно», разговаривали, курили. С левого фланга к «старикам» пристроились молодые казаки двух старших возрастов, те, что готовились к выходу на службу.

Большинство стоящих в строю — пожилые, побывавшие на войнах, в боях и походах, бородачи. Шинели многих из них украшены крестами и медалями. Дремин и другие урядники, приказные выстроились вместе с рядовыми. Среди желтого цвета полковых маковым цветом рдели красные погоны, лампасы батарейцев.

Правоефланговым, как всегда, стоял высокий, могучего телосложения батареё Сафрон Анциферов. Красное, обветренное лицо его до самых глаз заросло русой, курчавой бородой. На широкой выпуклой груди Сафрона красовались два креста и две медали.

Парадом командовал старший урядник Уваров. Удачным казаком прославился он на японской войне, с фронта в родную станицу вернулся полным кавалером — четыре георгиевских креста, три медали и два значка — «за джигитовку» и «рубку» — украшали грудь бравого урядника. Смуглолицый, черноусый, в белых пуховых перчатках, он, поскрипывая новыми сапогами, прохаживался вдоль строя, в ожидании начальства дымил трубкой, переговаривался с казаками¹.

Напротив строя, на пригорке у школы, — шумная пестрая толпа парней, девок, баб, ребятишек, а на куче бревен расположились седобородые деды, среди которых затесался и Егор, страстно любивший слушать рассказы стариков.

Глядя на бородатую «молодежь», и у дедов веселеет на душе, в памяти их всплывает далекое боевое прошлое, оживленный говор кипит не переставая, все они, перебивая один другого, вспоминают о былом, делятся впечатлениями сегодняшнего.

— Гришка-то Уваров какой герой! Полный бант крестов!

— У них вся родова такая, отец-то его, царство небесное, какой был молодец — первый на всю станицу.

— Эхма-а!...— сокрушенно вздыхает длиннородый сгорбленный дед.— Когда-то и мы были такими же.

— Помню, стояла наша сотня в Чинданти-Гродековской станице, а вахмистр у нас, Жарких по фамилии, Дуроевской станицы, ох и собака, будь он проклят! Бывало, выедем на конное занятие...

— А помнишь, шват Макшим,— шамкал престарелый, беззубый дед Ерема,— как ш английский-то мы дралишь в Декаштре!¹

— Помню, сват, как не помнить!

— Чего же это Игнашка-то Козырь в полковых погонах? Ведь он, однако, батарец?

— Известно чего, свою-то шинель небось пропил, так в чужую и нарядился.

Но вот показался поселковый атаман в сопровождении писаря, почетного судьи и еще нескольких богатых казаков. Кривой на левый глаз атаман по случаю праздника тоже в казачьей шинели, папахе, при шашке и с одинокой бронзовой медалью на груди.

Уваров, выколов эфес шашки недокурную трубку, сунул ее в карман шинели, повернулся к строю.

— Кончай курить! Направо ра-авняйсь! Смирно! — И, выждав, когда атаман со своей «свитой» подошел ближе, командовал:— Сотня, смирно! Для встречи справа... слушай — на кра...ул! Ать, два!

Казаки взметнули вверх обнаженными клинками, замерли, держа их перед собою в положении «на караул». Уваров, четко печатая шаг, пошел навстречу атаману, встал «во фронт».

— Господин поселковый атаман! — рапортовал он, приложив правую руку к папахе.—Казаки поселка Верхние Ключи Заозерской станицы в количестве шестидесяти четырех человек выстроились для парада.

Атаман припоздал на парад не зря, он уже успел отобедать с друзьями и распить не одну бутылку сорокаградусной, поэтому был он порядком навеселе, на ногах держался нетвердо, а единственным глазом смотрел весело и задорно. Вспомнив, что надо делать в таких случаях, он, откозыряв Уварову, приветствовал казаков:

— Здорово, молодцы!

В ответ казаки, как отрубили, грохнули разом:

— Здравия желаем, господин атаман!

— Спасибо за службу! Поздравляю вас с праздником!

— Ура-а-а! Ура-а-а-а! Ура-а-а-а! —трижды гаркнули казаки.

После команды «шашки в ножны» атаман обратился к казакам с речью. Речь эту три дня тому назад написал ему писарь. Атаман, будучи неграмотным, знал только одно: приложить печать к тому, что пишет писарь, поэтому он заставил прочи-

тать написанное вслух несколько раз до тех пор, пока не запомнил речь наизусть.

— Господа казаки! — начал он чуть хрипловатым с перепоя голосом.— Сегодни мы, значитца, праздуем наш войсковой казачий праздник. Как мы, значитца, есть главная опора его императорского величества, то мы, значитца, должны... это... как ее...— И тут атаман, забыв заученные слова, сбился. В полной растерянности оглянулся он па писаря, но тот, как назло, отошел в сторону и о чем-то разговаривал там с богачом Лыковым. Будь атаман потрезвее, он бы, возможно, и нашелся сказать что-нибудь подходящее к данному моменту, но хмель кружил ему голову, и он, лишь бы не молчать, крикнул с досады и понес несуразно: — Оно, конечно, как я есть среди вас самый главный, и вы, значитца, должны мне подчиняться!.. Так и далее. А что у нас творится? Ежели хотите знать — сплошная страма! Недоимки за нашим поселком накопилось жуткое дело! Из станицы пишут, а такие обормоты, вон как преподобный Козырь, ему хоть кол на голове теши!..

От речи атамана даже молодежь на бугре покатывалась со смеху, смеялись деды, казаки задней шеренги хохотали, уткнувшись в спины передних, а те, еле сдерживая хохот, отворачивались, прыскали в бороды. Уваров, яростно округлив глаза, грозил им кулаком из-за спины атамана. А тот продолжал все в том же духе и уже заговорил о ремонте поскотины, когда спохватившийся писарь подбежал к нему и, тронув сзади за рукав, зашептал на ухо:

— О присяге скажи: мол, отцы наши, деды...

— Отцы наши и деды...— нимало не смутившись, атаман с поскотины сразу перешел на военные дела,— и мы, значитца, должны помнить воинскую присягу и, значитца, сполнять, терпеливо переносить голод, и холод, и все нужды казачие.— Проговорив заученные слова, атаман вспомнил, что речь надо закончить призывом к исполнению воинского долга.— Ну, а ежели произойдет война, то мы, значитца, наточим шашки, заседлаем добрых наших коней и — марш защищать отечеству нашу. Ура!

Обрадованные окончанием речи атамана, казаки ответили громким троекратным ура.

Началось парадное шествие... Под восторженные возгласы собравшихся казаки сдвоенными рядами, по четыре в ряд, трижды прошли мимо школы.

Кончился парад, и, едва Уваров скомандовал «вольно», сразу же сломался строй, казаки, как горох из мешка, сыпанули

¹ Бухта Де Кастри на Охотском побережье.

к школе, в момент окружили и принялись качать стариков, начав с атамана.

По опыту прошлых лет старики знали, что после парада их будут качать, а поэтому все они запаслись деньжонками. Каждый из них хранил в рукавице кто четвертачок, кто полтинник, а кто и желтую рублевую бумажку. Серебряный рубль держал в кулаке богатый, но скупой Тит Лыков, но, к великой его досаде, на этот раз ему пришлось раскошелиться не на один рубль. Чтобы подзадорить богачей, хитрый Уваров, заранее сговорившись с казаками, дал заимообразно Анциферову трехрублевку и научил, что с нею сделать, после чего тот немедленно передал ее деду Ереме. И случилось невероятное: после почетного судьи казаки, вопреки обычаю, качнули не богача Лыкова, а самого беднейшего из стариков, деда Ерему.

— Шпашибо, ребятушки, шпашибо! — шамкал дед, очутившись на ногах и рукавом шубы вытирая выступившие от радости слезы. — Вот вам, детушки, на водку жа оказанную чешть, — и дед кинул казачью трехрублевку в волчью папаху Анциферова.

Ахнула толпа, увидев, как щедро расплатился с казаками престарелый бедняк. Лыков так и затрясся, побледнел от злости.

— Ай да дед Ерема! — густым басом рокотал Анциферов, размахивая радужной трехрублевкой. — Видали, какую сумму отвалил? Вот как наши делают! А ну, ребятки, за такое дело качнем его еще разок!

И, подхваченный десятком рук, дед Ерема вторично несколько раз плавно взлетел на воздух.

Задетый за живое, Лыков, проклиная в душе деда Ерему, извлек из-за пазухи кисет, и, когда качнули его казаки, в папаху Анциферова вместе с рублем полетела новенькая пятирублевка.

Пришлось порастрасти свои кошельки и другим богачам — никому не хотелось ударить в грязь лицом перед обществом, и, когда перекачали всех стариков, в папаше Анциферова собралась порядочная сумма. Деньги пересчитывали втроем: Анциферов, Козырь и Дремин.

— Двадцать восемь рублей пятьдесят копеек! — радостно объявил Анциферов, укладывая деньги в боковой карман шинели. — Живем, братцы, дня на два хватит гулять всем!

Толпа ответила радостным гулом, и тут же договорились всем скопом отправиться к торговщице водкой Ермиловне. Молодые казаки откололись от стариков, выторговав себе

отступные — на орехи пять рублей. Они смешались с толпой парней и девок. Идти с казаками отказался и Уваров. Взяв у Анциферова свою трехрублевку, он присоединился к богачам и отправился с ними догуливать к атаману. Остальные человек сорок казаков под командой Дремина строем двинулись к Ермиловне. За ними потянулось с десяток дедов и любопытные до всего ребяташки.

— Ать, два, три, с левой! — звонко подсчитывал топающий рядом Дремин. — А ну-ка, шаг под песню ре... же, ать, два! Сорокин! Запевай.

Козырь подкрутил усы, прокашлялся. Советуясь, какую запеть, он повернулся к идущим в задних рядах, сбился с ног, но быстро исправился, ловко хлопнув правым сапогом о левый, снова «взял ногу», запел:

Уж ты, зи-и-и-мушка, зима,
Эх, да холодна очень была!

Казак, шагающий рядом с Козырем, заложил два пальца в рот и, как только запевала кончил, лихо, пронзительно свистнул. Все хором грянули припев:

Э-э-э-эй, э-э-э-эй,
Эха-ха-хо-эх, да
Холодна очень была!

Заморо-о-о-зила меня,—

запевал Козырь,—

Эх, да казаченьку бравого...

И снова хор подхватил, понес как на крыльях разудалый припев:

Э-э-э-эй, э-э-э-эй,
Эха-ха-хо-эх, да
Казаченьку бравого.

Казаченьку бравого,
Русого, кудрявого.

Э-э-э-эй, э-э-э-эй,
Эха-ха-хо-эх, да
Русого, кудрявого.

От середины улицы широкий переулок. Тут уж рукой подать до Ермиловны, по нему и отправились деды, но казаки решили хоть и сделать препорядочный крюк, но пройти по

двум улицам до конца. Парад бывает раз в год, к тому же отовсюду из оград, из окон домов на них любуются сельчане, бабы. И не беда, что полуденное солнце растопило снег, повсюду лужи, ручьи, а они месят грязь серединой улицы и в такт песне так топают ногами, что талый, пропитанный водой снег ошметками разлетается по сторонам, грязнит полы шинелей.

Песни хватило до конца улицы. На вторую, минуя огороды, кучи навоза, переходили молча — берегли голос. В начале улицы Дремин выровнял ряды и, подсчитывая шаг, предложил спеть что-нибудь повеселее.

— Валяй, Игнат, про Аннушку, — пробасил Анциферов. — Веселая песня.

— «Аннушку», «Аннушку» запевай! — кричали отовсюду.

— Ладно, — согласился Козырь, разглаживая усы. Будучи большим выдумщиком, он озорства ради ввернул в текст песни вместо Аннушки Ермиловну.

На окраине села
Там Ермиловна жила.

Хохот покрыл последние слова запевки.

— Хо-хо-хо, с-с-сукин сын!

— Ох и черт, холера тебя заberi!

А Козырь, выждав, когда хохот пошел на убыль, продолжал:

Свет, Ермиловна, душа,
До него ж ты хороша!

Снова хохот. Козырь, оглядываясь на задних, деланно сердитым голосом прикрикнул:

— Чего заирысали, жеребцы, язвило бы вас! Я что, вам для смеху запеваю? Давайте припевать, а то и начинать не буду!

О-о-на думала-гадала,
Полюбить кого, не знала.

На этот раз все дружно, с уханьем и залихватским присвистом подхватили:

Ай люли, люли, люли,
Полюбить кого, не знала.

Этой песни также хватило на всю улицу. В ней говорилось о том, как девушка выбирала, кого ей лучше полюбить — барина, купца, поповского сына или офицера? Но все они ока-

зывались неподходящими, с пороками, и уже на виду избы Ермиловны песню закончили советом полюбить простого казака.

Полюби ты казака
Из Аргунского полка.
Он богатства не имеет,
Да горячо любить умеет.
С казаком тебе, душа,
Жизня будет хороша.

Вдова Ермиловна жила на краю села. Хозяйства она никакого не имела и кормилась тем, что поторговывала контрабандным спиртом, делая из него водку, а в ее старой, но очень просторной избе парни устраивали вечерки.

Деды уже сидели на скамьях в переднем углу, когда в избу ввалилась шумная, говорливая толпа казаков.

— Здравствуй, Ермиловна! Здравствуй! — на разные лады приветствовали они хозяйку.

— Здорово, кума!

— Здоровенькую видеть!

— Доброго здоровьица, Ермиловна, принимай гостей!

— Здравствуйте, гостюшки дорогие, проходите, с праздником вас, — любезно раскланивалась с гостями хозяйка, толстая, но очень подвижная казачка в пестром ситцевом сарафане и в розовом с голубыми цветочками платке. К празднику она подготовилась неплохо: на столе вмиг появилось целое ведро водки, миски с вареной картошкой, с квашеной капустой и полное решето пшеничных калачей.

Казаки, не снимая ни шашек, ни шинелей, усаживались на скамьи, на ящики и доски, положенные на табуретки.

Дремин ковшиком разливал водку по стаканам, Ермиловна проворно ставила их на поднос, обносила гостей, приглашая к столу, закусить, чем бог послал. Анциферов, приняв на себя роль кассира-эконома, писал прямо на стене осиновым углем: «Расхот взято ведро вотки 4 рубля, хлеба и прочево на 1 рупь 50 коп., а всиво на 5 рублей 50 коп.»

После первого стакана заговорили, после второго разговоры усилились, слились в такой разноголосый гул, что понять, кто и что говорит, стало невозможно. После третьего стакана кто-то из стариков затянул песню:

Поехал казак на чужби-и-ну дале-с-ко
На добро-ом ко-оне он своим вороно-ом...

И все разом подхватили:

0-о-он свою родину навеки поки-и-нул,
Ему не верну-у-ться в отеческий дом.
Напрасно казачка его молодая
И утром и вечером вдаль все глядит,
Все ждет, поджидает с далекого края,
Когда же к ней милый казак прилетит.

Пели все: казаки, деды, высоким тенором заливался Козырь, в лад басил Анциферов, тоненько подтягивала, подперев рукою щеку, Ермиловна.

После того как спели еще одну старинную песню, Дремин завел плясовую, на мотив украинского гопака:

Я в лесу дрова рубил,
Рукавицы позабыл...

И все хором подхватили:

Топор и рукавицы,
Рукавицы и топор,
Рукавицы-вицы-вицы,
Жена мужа не боится,
То...пор и рукавицы,
Рукавицы и топор.

В такт песне притопывали сапогами, хлопали ладонями. Один из казаков постукивал концом шашки по пустому ведру. Анциферов тузил кулаком печную заслонку, а Дремин тремя ложками чудесно выбивал дробь.

Как и следовало ожидать, первым пустился в пляс мастер на все руки Козырь. Ермиловна тоже не утерпела: сложив под пышной грудью руки, слегка покачивая полным станом, она плавно, лебедушкой пошла по кругу. Козырь ухнул и, держа левой рукой шашку, чтоб не мешала, пустился вприсядку. Плясал он с таким заражающим задором, что все вокруг задвигались, заулыбались и в круг, сменяя один другого, выскакивали новые плясуны. Лицо Козыря покрылось крупными каплями пота, даже воротник шинели взмок, а он плясал и плясал не переставая, наконец широкоплечий казачина Усачев облапил его сзади и, оттащив от круга, усадил на скамью.

Солнце склонилось низко над горизонтом, наступал вечер, а гулянка в избе Ермиловны становилась все более широкой разухабистой. На стене появилась уже третья запись Анцифорова: «Ишо взято ведро вотки и на рупь калачиков, а всиво

забору" *4 рублей 15 коп.». Многие так набрались, что еле держались на ногах, кто-то крепко спал под скамьей, чьи-то ноги торчали из-под стола. Дед Ерема, положив плешивую голову на край стола, тоненько похрапывал. Три деда медленно, по стенке пробирались к дверям. Очутившись в ограде, все трое обнялись и, еле двигая отяжелевшими погами, тронулись со двора восвояси.

Пожалуй, и все разошлись бы мирно, если бы двое казаков не заспорили между собой из-за какой-то пашни. Только их растащили, не допустив до драки, как дюжий, чернобородый казак Силантий Дюков вздумал помериться силой с Усачевым. Оба уселись на полу и, упершись ногами — один в ноги другому,— тянулись палкой. Перетянул Усачев. Чернобородого задело за живое.

— Давай биться через черту! — запальчиво воскликнул он, вскакивая на ноги.

— Брось, Силантий, не дури! — попробовал отговориться Усачев.

— Ага, сперло! — злорадно выкрикнул Силантий.— Дрейфит ваша фамилия! Сослабило!

— Наша дрейфит? — загорячился и Усачев.— Ну тогда становись, я т-тебе покажу, как она дрейфит! А ну, ребята, дайте кругу!

Казаки расступились, подались к стенкам, освободив середину избы для боя. Противники сняли с себя шашки, положили их вместо черты поперек пола, встали друг против друга. Силантий сложил руки ладонями вместе, приложил их к левой щеке.

— Бей! — предложил он Усачеву, отставляя правую ногу назад, левой становясь на шашку-черту.

— Нет, уж ты бей сначала,— также становясь в позу, ответил Усачев.— А то ежели я первый-то стукну, так тебе и ударить не придется.

— Ах, та-ак! — взревел еще более разозлившийся Силантий, и едва успел Усачев приложить ладони к виску, как получил такую затрещину, что у него потемнело в глазах. Качнувшись всем телом, он еле устоял на ногах.

— Ну, теперь держись... сам выпросил.— Усачев размахнулся, и в тот же миг Силантий как сноп плюхнулся на пол, из носа его на черную бороду тоненькой струйкой ударила кровь.

— Бей его, гада! — кидаясь на Усачева, завопил двоюродный брат Силантия, но, встреченный кулаком Усачева, отлетел

к стенке, спиной раздвигая казаков. За него вступился зять, за Усачева — Дремин и еще один казак, на которого с кулаками накинудся Козырь, и началась такая драка, каких давно не бывало в Верхних Ключах. Из избы, один за другим, повыскакивали в ограду, и вскоре все, кто еще держался на ногах, включившись в драку, слились в один большой, клокочущий и ревущий клубок.

К счастью для драчунов, у казаков с давних времен существует неписанный закон: не употреблять во время драки ножей и какого бы то ни было оружия. Вот и теперь, несмотря на то, что все они были вооружены, никто не обнажил шашки, дрались честно, по-казачьи, на кулаки. В сером месиве шинелей мелькали погоны, лампасы, кулаки и красные от возбуждения лица.

Только Анциферов не принимал участия в драке. Обладая большой физической силой, был он на редкость миролюбив. На ногах Анциферов держался крепко, хотя выпил не менее других, и, как всегда, он принялся разнимать дерущихся. Расталкивая драчунов, он, как нож в масло, врезался в самую их гущу, прошел ее насквозь, но разнятые противники за его спиной снова схватывались, лупили один другого. Так бы и не разнять их Анциферову, если бы не увидел он торчащую в сугробе широкую деревянную лопату. В момент сообразив, что делать, он схватил лопату, подцепил ею с полпуда снегу и швырнул его в толпу, на головы драчунов. Это подействовало, как вода на огонь, в ту же минуту от толпы, фырка и отряхиваясь, отбежали несколько человек. Драка пошла на убыль. Анциферов не торопясь, по-хозяйски пошвыривал снежком в разрозненные кучки бойцов, пока, как пожар, не погасил всей драки. Обсыпанные снегом с головы до ног драчуны обметали друг друга папахами, выхлопывали снег из бород, выскребали его из-за воротников и подолами шинелей вытирали мокрые лица. Гнев их постепенно остыл, и вскоре все они группами и по двое, по трое, в одиночку разошлись по домам. На поле боя остались уткнувшийся головой в сугроб Козырь да чернобородый, с подбитым глазом Силантий. Вскоре Силантия подняли и увели под руки брат с зятем. Козыря Анциферов занес к Ермиловне.

К сумеркам в ограде Ермиловны наступила тишина, только истолченный, перемешанный с грязью и обрызганный кровью снег, да оторванный погон с трафаретом 1-го Читинского полка в втопанная в грязь чья-то бронзовая медаль свидетельствовали о недавнем побоище.

Яркий, солнечный день мая. Сегодня праздник троица, а поэтому на улицах многолюдно и весело. В окнах, куда ни глянь, масса цветов, лиловых букетов багульника, а фасады домов украшены зеленью молодых деревьев. С давних лет бытует в Забайкалье обычай: ради праздника троицы срубать в лесу молодые деревья и украшать ими дома. Через два-три дня эти деревья засохнут, пойдут на топливо, зато в троицу на поселки и станицы любо-дорого посмотреть. Вот и сегодня улицы украсились зеленью молодых деревьев. Воткнутые в землю ярко-зеленые кудрявые березки даже старой, покосившейся избушке вдовы Ушаковой придают нарядный, праздничный вид.

Широкие песчаные улицы пестреют народом, множество людей собралось посередине одной из улиц. Разделившись на две половины, молодые, пожилые казаки и даже седобородые деды толпятся по сторонам чисто разметенной дороги: идет азартная игра — катают бабки. На кону — черта поперек дороги — тускло поблескивают медяки, белеют серебрушки и даже, придавленная двумя пятаками, лежит трехрублевая бумажка.

Главным игроком, как всегда, Козырь. Сегодня его партнером заезжий приискатель — смуглолицый, похожий на цыгана Микула Петелин. На Микуле черная, с лакированным козырьком фуражка, алая кумачовая рубаша подпоясана толстым сатиновым кушаком, а широченные плисовые штаны заправлены в новенькие ичиги.

В игре принимали участие и Сафрой Анциферов, и Дремин, и Усачев, и еще многие со стороны. Одни ставили свои пятаки и гривны за Козыря, другие за Микулу.

Козырь только что катнул, поставил три сака и, улыбаясь в рыжие усы, поправил на голове батарейскую, с красным околышем и синим верхом, фуражку и присел на корточки против кона.

Микула не торопясь собрал бабки, на ходу укладывая их на широкую мозолистую ладонь, медленно • прошел между зрителями. На минуту все притихли, но едва он, став левой ногой на мету, а правую отставив назад, приготовился метнуть, толпа ожила, разноголосно загудела.

— Го-о-оль! — громко орали сторонники Козыря.

— Четыре! — так же дружно вопили те, что ставили за Микулу.

— Голь! Дунька!
— Четыре-е-е!
— Го-о-оль!

Плавным взмахом Микула метнул, и шесть бабок, веером перелетев черту, стукнулись о твердый грунт, покатались, перевертываясь, по гладкой дороге: один сак, второй, третий, четвертый...

— Четыре! — радостно восклицали микулинцы.
— Наша берет!
— Молодец, Микула.
— Забил, холера, — недовольно ворчали сторонники Козыря.

— Черт широкоштаный!
— Да уж мы вас сегодня обдерем как миленьких!
— Обдирала ваша бабушка нашего дедушку!
— Ванька, дай гривну взаймы!
— Здорово, паря! Дурака нашел — с кону взаймы давать.

Возле кона давка, игроки и их сторонники сгрудились там, рассчитываются, получают выигрыши. Но вот расчеты закончены, на кону новые ставки, и все повторяется сначала.

Среди участников игры был и Егор. Ставил он за Козыря — сначала по копейке, по две, а затем и по пятаку. Начало было удачное. Козырь забивал бабки противника, Егор ликовал, пятаки сами шли к нему в карман. Уже больше полтинника выиграл Егор, когда счастье изменило Козыря. После того как Козырь «прокатил» четыре раза подряд, Егор забеспокоился, пересчитал свою наличность, выигрышных денег осталось тридцать копеек.

«Штоб ему пусто было! — мысленно ругнул он Микулу. — Придется кончать, поставлю еще пятак. "Ежели проиграю, значит, хватит, ну их к черту, лучше к девкам пойду на игрища».

Поставил. Козырь катнул, и, к великой радости его друзей, из шести бабок только одна легла набок.

— Пять! — радостно воскликнул Егор.
— Пять! Пя-я-ять! — ликовали сторонники Козыря.
— Видали наших?
— Гони монету, золотарь!

Сияющий Козырь подошел к кону, весело улыбаясь, разгладил усы, поманил к себе пальцем Микулу, считая, что тот не будет и сопротивляться, так как все полагали, что забить пять саков невозможно. Однако Микула, не удостоив противника и взглядом, молча собрал бабки и все той же неторопливой походкой прошел к мете.

— Тю-ю-ю, дурной! — кричали ему вслед дружки Козыря.
— Уж не забить ли хочешь пятерик-то?
— Кишка тонка, золотарь!
— Не волынй понапрасну, а лучше раскошеливайся живее да ставь по новой.

Микула молчал. Внешне он был спокоен, только смуглое лицо его еще более побурело на скулах. Хмуро двигая бровями, он жестом попросил «почтенную публику» раздаться по сторонам, катнул — и толпа ахнула от изумления: одна бабка, упав около самого кона, перевернулась раза три через голову и прочно встала стоймя на-попа.

— Поп! — истощным голосом крикнул кто-то из толпы.
— По-о-оп! Поп! — радостно орали друзья Микулы.
— Вот это здо-орово!
— Ну, как? — торжествуя воскликнул приискатель, скаля в улыбке дожелта прокуренные зубы. — Видали? И пять ваших не пляшут.

Толпа зашумела, задвигалась, участники игры сгрудились вокруг кона, куда подходил улыбающийся Микула. **Меняясь** в лице, Козырь сердито плюнул с досады, яростно матюгаясь, полез в карман за кисетом.

Боясь спустить весь выигрыш, Егор решил больше не ставить и, поправив взбитый на фуражку светло-русый кучерявый чуб, отправился разыскивать молодежь.

По случаю праздника Егор принарядился как мог. На нем голубая, полинявшая от частой стирки рубаша, подпоясанная наборчатым казачьим ремнем, на голове новая фуражка с кокардой, а на ногах синие диагональные штаны с лампасами. Сапог он еще не нашивал, зато ичиги, с ременными подвязками ниже колен, хорошо промазаны тарбаганьим жиром, медные колечки подвязок так натеоты кирпичом, что сияют, как золотые.

Уже почти два месяца, как Егор устроился работать в депо учеником слесаря. Послушный, прилежный и очень смывленный парень поправился мастеру, новое дело пришлось ему по душе, и, что особенно радовало Егора, зарабатывать стал он гораздо больше, чем в батраках. В первый же месяц он послал матери восемь рублей чистоганом, а сегодня, отпросившись на два дня праздника, привез ей девять рублей пятьдесят копеек.

Сколько радости испытал Егор, передавая матери три новенькие хрустящие трехрублевки и пять серебрушек! Платоновна даже всплакнула от радости.

Высокая, статная Платоновна еще и теперь не утратила былой красоты, только темно-русые волосы густо припудрены

сединой, а большие голубые глаза ее смотрят всегда задумчиво, грустно. Егор никогда не слышал, как она поет, а говорят, в молодости она была лучшей певуньей в поселке. Многие сватали Платоновну, когда она овдовела, было среди них немало и хороших людей, с достатком, но ни за кого не пошла Платоновна, вдоволь натерпелась горя и ную¹ды, но своему Матвею не изменила даже после его смерти. Зная, что скоро потребуется сыну обмундировка, она из скудных заработков, что добывали они вдвоем с Егором, ухитрялась экономить по два-три рублика в месяц и вот за полтора года скопила тридцать шесть рублей. Сегодня эта сумма сразу возросла до сорока пяти.

«Сорок пять рублей — оно и порядочно, а все-таки мало, ох как мало! Ведь одно седло стоит семьдесят пять рублей!» — горестно размышляла Платоновна, укладывая деньги в чулок и пряча их на дне обитого жестью сундука. — Коня надо, да разных там шинелей, мундиров, сапогов да еще всякого добра — не меньше чем на полторы сотни».

— А насчет мундировки, мама, не беспокойся, — словно угадав мысли матери, говорил Егор. — Ежели и дальше так пойдет, то я ее года за два, за два с половиной отработаю и Мишке помогу обмундироваться.

Это утро для Егора было самым счастливым в его жизни... Еще не остыла первая радость, как на смену ей пришла вторая и третья: мать подарила ему новую казачью фуражку с кокардой да еще и двадцать копеек деньгами, а теперь, благодаря выигрышу, эта сумма увеличилась втрое. Иметь столько денег в личном распоряжении Егору еще не приходилось ни разу в жизни, так как весь свой заработок он всегда полностью отдавал матери.

«Шестьдесят копеек — это, брат, не шутка! Сроду у меня не бывало таких капиталов, — сам с собою разговаривал ликующий Егор, с удовольствием перебирая в левом кармане штанов целую горсть монет. — Теперь мне платить за вечерки до самой осени хватит».

Девчат в улице Егор не нашел, от играющих в бабки ребятишек узнал, что они в сопровождении парней ушли на Ингоду «купать березу», и, не раздумывая долго, поспешил туда же.

Работая в депо, Егор в эту весну еще не был на Ингоде, хотя пристрастился любоваться ею, особенно по утрам. Но сегодня вид на реку показался ему особенно хорош, поэтому,

прежде чем присоединиться к молодежи, веселящейся на прибрежной полянке, он пошел левее, прямо к реке, на ходу разделся и, искупавшись, долго сидел на берегу, смотрел на стремительную быстрину посередине реки, на тихую заводь на той стороне иод кустами, где приходилось ему удить карасей.

Низменное левобережье Ингоды зеленело широкими лугами, по правому берегу далеко — к затянутому сизой дымкой горизонту — тянулась зубчатая линия гор. Ниже села эти горы на целую версту чернели голыми громадами утесов, круто поднимаясь прямо из Ингоды. Гора, что напротив села, поверху густо ошетилилась лесом, зеленый склон ее пестрел большими лиловыми пятнами — это в зарослях зеленого вереска цвел багульник. Подножие горы до самой воды покрыто светло-зеленым тальником вперемежку с белыми, как в снегу, кустами цветущей черемухи. И все это, ярко освещенное майским солнцем, как в зеркале, отражалось на гладкой поверхности Ингоды.

Солнце, приближаясь к полудню, жгло все сильнее, но от реки приятно веяло прохладой, а с голубого поднебесья доносились нежные, переливчатые трели не видимых глазом жаворонков.

«Красота-то, красота какая!.. — восклицал Егор про себя, чувствуя, как сердце его замирает от восторга. — Вот бы всю эту прелесть да на картину срисовать, вот так бы хорошо, как оно есть теперь, — глаз бы от нее не оторвал. Да-а-а, лучше нашей местности нету, однако, по всему белому свету».

Когда Егор пришел к молоденш на полянку, там уже купали березу, побросали в реку венки, и теперь начались игры, танцы, хороводы, играли в кошку и мышку. Особенно весело было на самом берегу, на ровной, дочерна утрамбованной каблуками площадке. На верхнем краю ее лежал перевернутый вверх дном старый дырявый бот, на нем сидели десятка два девушек, парней и среди них гармонист Митька Черногривцев. Закинув за плечо ремень, широко разводя малиновые меха «тальянки», он лихо, с переливами выводил «Подгорную». Танцевали ее несколько пар, под коваными каблуками танцоров гудела, содрогалась земля, мелькали лица, лампасы, веером раздувались широкие юбки девчат.

Выше по реке, в полуверсте от игрища, беспрерывно взад и вперед ходит паром. Старый паромщик, дед Евлампий, перевозит на нем идущих и едущих отовсюду сельчан. В пылу веселья никто и не заметил, как к ним от парома направился тарантас, запряженный парой гнедых лошадей.

¹ Форменное казачье седло было намного дороже лошади.

— Ребята, кажись, атаман сюда едет станичный! — испуганно крикнул Алешка Голобоков, первый увидев едущего в тарантасе атамана.

Второе трехлетие дослуживал вахмистр Фалилеев станичным атаманом. Управлял он станицей неплохо, заботился о казаках и о том, чтобы школы там, где они имеются, были отремонтированы, и чтобы недоимок за казаками не накапливался, и чтобы молодые казаки хорошо обучались военному делу, своевременно заводили обмундирование, — не его вина, что от этого казаки разорялись, беднели. Уважали его более всего за то, что людей он не притеснял понапрасну. Но в пьяном виде — а это случалось с ним довольно часто — атаман словно перерождался, становился придирчив, любил показать свою власть и нередко избивал не угодивших ему казаков. Молодежь боялась его как огня, поэтому сразу же прекратились игры, танцы, смолкла гармошка. Все притихли, притаились и, глаз не сводя с грозного атамана, тихонько переговаривались между собою:

— Куда же его черт несет?

— Искупаться, наверное, вздумал.

— Берегись, братва, пьяный, наверно!

— Да уж это ясно как божий день.

— Ты, Микиха, бойчей всех, ты и командуй, да смотри не ошибись в чем, а то и тебе попадет и нам достанется на орехи.

На атамана, как всегда, голубовато-серый китель с желтыми петлицами на отворотах, на форменной фуражке большая белозубчатая офицерская кокарда. Кирпично-красное лицо его лоснится от жира и пота, концы серо-пепельных усов закручены кверху. Лошадьми правил сидящий рядом с атаманом незнакомый длиннородый человек в соломенной шляпе и белой чесучовой рубашке.

Парни подтянулись, приготовились к встрече. Рослый Никифор, как только тарантас атамана поравнялся с толпой, зычно скомандовал:

— Встать! Смирно-о-о! — вытянувшись во фронт, Никифор приложил правую руку, как положено по уставу, — локоть вровень с плечом, рука согнута под прямым углом к козырьку фуражки.

— Здорово, молодцы! — хриловатым баском поздоровался атаман и, тяжело подняв правую руку, коснулся пальцами фуражки.

— Здраим желаим, господин станичный атаман! — дружно гаркнули парни.

Молодцеватая выправка Никифора и дружное ответное приветствие «молодцов», очевидно, понравились атаману. Тронув рукой усы, он милостиво улыбнулся и тут заметил среди парней Егора.

Три года прошло с тех пор, как батрачил Егор вместе с матерью у атамана, и хотя вырос за это время, возмужал, узнал его атаман и, кивнув головой, поманил к себе пальцем. Егор подошел, встал во фронт.

— Ты вдовы Ушачихи сынок, Егорка?

— Так точно, господин станичный атаман!

— В повинность нынче попал?

— Так точно, господин атаман!

— Ага-а... А скажи-ка мне, братец, — в минуты благодушия атаман любил подражать своему полковому командиру, называвшему казаков «братцами», — что должен иметь при себе казак, когда призвут его на военную службу?

Обладая хорошей памятью, Егор, хотя и был неграмотный, словесность запомнил с чужих слов назубок, поэтому ответил без запинки:

— Казак должен иметь собственную строевую лошадь с седлом, шашку и полный комплект форменного обмундирования и снаряжения.

— Та-а-ак, а что у тебя имеется?

Зардевшись от смущения, Егор смолчал, поник головой.

— Ну? Что же ты, братец, молчишь? Стало быть, гол как сокол, так, что ли?

Чувствуя на себе взгляды стоящих позади парней и девок, Егор еще более стушевался, лицо его, уши стали цвета спелой вишни. Он хотел объяснить, что заработает и приобретет все, что нужно, но сказать ничего не смог. Не смея поднять глаза на атамана, готовый от стыда и обиды провалиться сквозь землю, он лишь судорожно глотнул слюну и с видом крайне виноватого человека лишь молча переступил с ноги на ногу.

— Где работаешь? — допытывался атаман.

Егор кашлянул, с трудом, чуть слышно выдохнул:

— В депо... в Крутояровском депо... помощником слесаря.

— В депо-о? Слесарем? — страшно округлив маленькие серые глазки, воскликнул атаман. — Да как же это так? Казак — и в депо, вместе с рабочими, со всякой там рванью! Кто это тебе разрешил? Ну не-ет, брат, шалишь, не дозволю! — Атаман пристукнул кулаком по грядке тарантаса, повысил пят... Д...олю, слышишь? Немедленно получи в депо расчет, А работать будешь в Антоновке, вот у господина Пан-2*

гелеева, вплоть до службы, пока не заработаешь коня с седлом и всю обмундировку, понял?

— Понял,— одними губами прошептал Егор, с лица его медленно сходила краска.

— То-то же! Да не вешай головы-то, казак, едрена мышь! Цену Савва Саввич даст хорошую.— И уж более мягко закончил: — Тебе же, дураку, лучше делаю, отдаю к хорошему человеку. Только слушайся его, работай, не ленись! Заработок твой, конечно, он будет пересылать в станицу, на седло и обмундировку, а коня подберет тебе из своих.

Так неожиданно изменилась судьба Егора, мигом отлетели все радости, и день словно помрачнел, и окружающая природа поблекла, потускнела. Как сквозь сон видел он отъезжающий тарантас, широкую спину атамана, соломенную шляпу своего будущего хозяина.

Молодежь, очень довольная тем, что атаман больше ни к кому не придирался и так скоро уехал, возобновила веселье, только Егор, казалось, ничего уже не видел и не слышал. Молча отделился он от толпы и, шатаясь как пьяный, медленно побрел вниз берегом Ингоды.

О том, что атаманы имеют право и часто отдают несостоятельных казаков без их согласия в батраки за обмундировку, Егор знал и раньше, но как-то не придавал этому большого значения. Но вот сегодня ему пришлось испытать это на себе, и как оно показалось тяжело и обидно!

За дальним пригорком Егор опустился на землю, лег ничком, уткнувшись головой под куст боярышника, заплакал от пережитого стыда и обиды на атаманский произвол.

Он не слышал, как подошел и сел с ним рядом Алешка Голобоков, только когда Алешка тронул его за плечо, очнувшись, поднял голову.

— Брось, Егорша, не расстраивайся,— успокаивал Алексей друга.— Не ты первый, не ты и последний. Что ж поде-лаешь, раз так уж оно повелось спокон веков.

— Тебе-то хорошо... рассуждать.

— Чего же хорошего-то? Тоже скажешь! Сам знаешь, что и мне такое же дело предстоит, тоже надо закабалиться к кому-то до самой службы.

— Так ты хоть подряжаться-то сам пойдешь, а меня он, сволочь, мало того что острамил при всем народе, да еще и запродад, как скотину какую бессловесную.

Егор замолк и затосковавшими глазами смотрел на Ингоду. Молчал и Алексей. А вокруг все цвело, благоухало, радуясь

весне, где-то совсем близко в траве стрекотал кузнечик, сверху от игрища до слуха друзей доносились звуки песен, залихватские трели гармошки.

— Вот она, жизнь наша каторжная!..— с глубоким вздохом проговорил Егор после долгого молчания.— В депо-то и робить легче, чем в работах, и скорее бы на мундировку заработал, так вот, пойдешь ты, нельзя. Так вот оно и идет, все детство! а теперь и молодость пройдет по чужим людям да на службе! Да будь оно трижды проклято и казачество это самое, черт ему рад!

— Что ты, Егор! — Алексей удивленно, с укоризной посмотрел на друга.— Чепуху какую мелешь! Что ж, по-твоему, хресьянином лучше быть?

— Конечно, лучше! Будь бы я мужичьего звания, меня бы и на службу, может, не взяли, а ежели и взяли, так на всем готовеньком. Никакой заботы о мундировке не было бы, работал бы на себя до самой службы.

— Не-е-ет, Егор, что ни говори, а в казаках лучше.

— Оборони бог! Чем же лучше-то?

— Да уж одно слово «казак» чего стоит! А как едет он по улице при всей форме, так на него, на любушку, смотреть-то радостно. Не-е-ет, брат, я хоть пять лет проработаю за обмундировку, а все-таки служить пойду казаком, а не какой-то пехтурой несчастной. А потом казакам и земли больше дают, и вобще...

— Земли в наших местах и у мужиков хватает, а у меня вон ее числится полно, а толк-то от нее какой? Кто-то пользуется моей землей, а я наравне с мужиками, которые бедняки, ворочаю на чужого дядю.

Танцы на берегу закончились, молодежь с песнями пова-лила домой, а друзья, поспорив о казачестве, снова замолчали и долго сидели, словно пришибленные неожиданной бедой. Оба проголодались, но Егор боялся идти домой, зная, как огорчится мать, узнав о случившемся, и все придумывал, что бы сказать ей такое, чтобы скрасить печальную весть.

Домой они двинулись, когда солнце склонилось низко над сопками, тени от них все удлинялись, с луга в село гнали стадо коров. Вечерним холодком потянуло с реки, а в заболоченном логу ниже села дружно заквакали лягушки.

— Ты, Егорша, все-таки шибко-то не унывай,— как мог утешал Алексей друга по дороге к дому.— Оно, конечно, оидно, но что я; сделаешь? Ты же не по своей воле.— И, огля-вшись вокруг, словно здесь их могут подслушать, понизил

голос.— А мы ему, атаманишке-то этому, отомстим, подожди еще! Вот как пойдем на службу, поймем его в узком переулке и навтыкаем фонарей на его гадскую морду, пусть носит. Я уж насолил ему, гаду. Не рассказывал, как огородничали мы у него с Мишкой Анциферовым, нет? Так вот слушай. В прошлом году он ни за что избил пьяный дядю Антона. Я, как узнал, обозлился на него, оборони бог как! Ну и вот, подговорил я Мишку — он тоже злой был на него из-за брата,— заседлали мы с ним коней да в ночь и махнули в Заозерскую. Приехали туда уже перед утром. Коней спрятали в кустах около посекотины — и пеши в станицу. Сначала-то боязно было — в улицах пусто, только кое-где быки лежат на песке да собаки сызредка тявкают, а потом приобыкли, осмелели. Разыскали мы атаманскую усадьбу, с задов через дворы пробрались в огород — и что там было насажено: огурцы, капусту, лук, горох,— все начисто вырвали и в борозды покидали. Вот тебе, гад, не мытьем, так катаньем, а все-таки досадили, знай наших!

Егор в ответ только горестно вздохнул и до самого дома не проронил ни единого слова.

Так и попал Егор в Антоновку батраком к Савве Саввичу Пантелееву.

Г Л А В А I V

Из дому Егор вышел ранним утром. На востоке ширился, гасил розовую зарю рассвет, по селу перекликались петухи, кое-где дымок поднимался над крышею. Слышались бряцание ведер, скрип ворот — это бабы шли доить коров. От Ингоды на поселок надвигался туман.

К перевозу Егор подошел в тот момент", когда паромщик дед Евлампий только что осмотрел поставленные с вечера перемыты и босой, с ведрком в руке, поднимался от реки к шалашу. В ведре у него трепыхалось несколько серебристо-белых чебаков, большой краснопер и два сазана. По случаю хорошего улова дед был в преотличном настроении, не ругал Егора за то, что так рано пришел на перевоз, а только спросил, уже отвязывая паром от причала:

— Это куда ж понесло тебя в такую спозарань?

— В Антоновку, дедушка, в работники поступать.

— А-а-а...

На этом разговор закончился. Оттолкнувшись от причала, дед, перебирая руками канат, что тянулся через реку, по-

гнал скрипучий паром к противоположному берегу. Егор усердно помогал ему, упираясь в дно реки длинным шестом.

Уплатив деду за перевоз пятак, Егор попрощался с ним, зашагал по торной проселочной дороге.

Идти по утреннему холодку было легко. Мимо потянулись отяжелевшие от росы кусты тальника, ольхи, отцветающей черемухи, зеленые полянки со множеством ярко-желтых одуванчиков и сиреновой кашки.

Поднявшись на горный перевал, Егор остановился и долго смотрел на родной поселок, освещенный первыми лучами восходящего солнца. Улицы села пестрели скотом, который гнали на пастбище, над избами курчавились сизые дымки. Туман рассеялся, и на зеркальной глади Ингоды отражались прибрежные кусты, горы, проплывающие над рекой, белые, как вата, сблака и обгоняющий их треугольник журавлей.

«А что, ежели взять да и вернуться обратно? — на минуту мелькнуло в сознании Егора.— Наняться к кому-нибудь из наших богачей...— Но он тут же и отогнал от себя эту мысль.— Не-е-ет, ничего не выйдет, разве можно пойти супротив атамана? Он тогда со свету сживет, и мне попадет, и маме достанется ни за что. Нет уж, видно, судьба моя такая разнесчастная». И, подавив в себе желание вернуться домой, он, не оглядываясь больше, быстро зашагал вниз под гору.

Солнце давно уже перевалило за полдень, клонилось к западу, когда Егор подходил к Антоновке, отмахав за день более сорока верст. Последнюю часть пути он шел босиком, связанные за голенища ичиги болтались у него за спиной на палке, перекинутой через плечо. На небольшой горе, у подножия которой раскинулась Антоновка, Егор сел на придорожный камень, чтобы отдохнуть, обуться. Отсюда ему хорошо было видно обрамленный сопками поселок, станцию и линию железной дороги, уходящую долиной к лесистому хребту. Небольшая горная речка, протекающая серединой села, делила его надвое. Егор еще дома от стариков слышал, что население Антоновки смешанное: ю одну сторону, ближе к станции, живут крестьяне и железнодорожные рабочие, по другую сторону речки — казаки Заиграевской станицы.

Большой, под цинковой крышей дом Саввы Саввича Пантелеева находился на самой середине казачьей половины села. Из числа антоновских казаков Пантелеев был самым богатым, но старожилы помнят, что происходил он из бедняков соседнего села и в Антоновке молодым парнем жил в рабочих у своего будущего тестя, богача Антипина. Пробатра-

чив несколько лет, он женился на хозяйской дочке и после смерти тестя завладел всем его хозяйством, сам стал держать работников.

Расчетливым, прижимистым хозяином оказался бывший батрак: знал он, когда, где и что нужно посеять, какие пашни бросить под залежь, чтобы впоследствии косить на них сено. Работники его ежегодно распахивали новые пашни из целины — залог, как называют их в Забайкалье, потому и урожаи снимал хорошие. Дешевых рабочих рук у него было всегда достаточно, так как всю сельскую бедноту он закабалил, ссужая ее в голодное время хлебом. Поэтому богатство его с каждым годом росло и ширилось, и теперь Савва Пантелеев стал самым богатым казакон не только в их селе, но и в станице.

Из трех сыновей при Савве Саввиче находился один, средний, Семен, служивший сельским писарем. Старший, женатый, Трофим, уже жил в отделе, имел свое хозяйство. Младший, Иннокентий, учился в читинской гимназии. Из сыновей старик больше всех любил и жалел Семена, страстно хотел женить его, но, несмотря на большие старания, не мог подыскать подходящую невесту. Болезненный, некрасивый Семен был к тому же горбатым — в детстве упал в открытое подполье и повредил себе позвоночник. Поэтому охотник пойти за него замуж было очень мало, а те, что соглашались, позарившись на богатство, пойти за урода, не нравились то отцу, то матери. Старики не хотели замечать уродства своего любимца, видели в нем чуть ли не красавца и считали, что в таком положении — писарь, не шуточное дело — и при их богатстве первая в село красавица должна полагать за счастье быть женой их Семена. Так и жил горбун холостым, хотя шел ему уже двадцать девятый год.

По цинковой крыше Егор быстро разыскал дом своего хозяина. Большой, на высоком фундаменте, он показался Егору очень красивым, особенно окна с массой розовых, красных, желтых и белых цветов на подоконниках, а также свежестроенные, отливающие синевой ставни и узорчатые наличники.

Полюбовавшись домом, Егор прошел к воротам, звякнув щеколдой, открыл калитку и очутился в ограде, обнесенной высоким бревенчатым забором. Внутри ограду с трех сторон обступили сараи, завозни и большие амбары с громадными замками на массивных дверях. От одного из них, загремев цепью, поднялся здоровенный серый кобель и глухо, как в пустую бочку, залаял на незнакомого человека.

«Вот это зверюга! — опасливо поглядывая на ценника,

подумал Егор. — Должно быть, из породы волкодавов, здоровяк! Попадись такому черту в лапы, так, пожалуй, небото с овчинку покажется».

Завернув за угол, Егор прошел мимо телеги с бочкой и в застекленной веранде увидел хозяев. Они сидели за чаем. На столе, покрытом розовой клеенкой, стоял пузатый, блестящий, как зеркало, самовар, горка пшеничных калачей, шанег с кружным подливом, кувшин с молоком и стеклянная ваза с малиновым вареньем.

Только теперь Егор рассмотрел как следует своего хозяина. Это был высокий, благообразный старик. Худошавое лицо его обрамляла светло-каштановая борода. Наполовину седая, она опускалась на грудь, постепенно сужаясь наподобие клина. Розовая лысина блестела от пота, а маленькие серые глазки смотрели на Егора пристально и, как показалось ему, доброжелательно. Рядом с хозяином сидела его жена, толстая пожилая женщина с круглым лицом, одетая в темное платье, голова повязана коричневым платком.

— Что скажешь? — ответил на приветствие Егора, спросил старик, как видно не забыв его при первой встрече.

— Як вам из Верхних Ключей.

— А-а-а, ты, значить, тово... в работники. •

— Так точно.

— Ага, ну что ж, проходи к столу, садись. Макарьевна, это работник, про которого я сказывал. Ты, значить, тово, наливай-ко ему чайку... Тебя как звать-то?

— Егором.

— Та-ак. Ну ты, Егор, тово, не стесняйся, ешь.

Проголодавшийся Егор не заставил себя упрашивать. Подлив в чай молока, он ухватил самый большой калач и принялся уплетать его за обе щеки. Хозяйка, покончив с чаепитием, молча вязала чулок, хозяин, также не досаждая Егору расспросами, пил чай.

«Люди-то они, видать, добрые, — мысленно определил Егор. — Мне еще и не приходилось у таких робить. Наши-то богачи вон какие зверюги».

После чая Савва Саввич повел Егора показывать хозяйство: сарай, где стояли телеги, висели хомуты и прочая сбруя, и помещение для жилья — зимовье с нарами и земляным полом.

нарах — ^УГ ^{вот и}Р ^{располагаясь} — показал он Егору место на с ним ^{Сего}Д ^{ня} с пашни придет Ермоха-работник, завтра ^{Дешь} на пахоту, быков будешь погонять. Умеешь?

— Умею, много лет был погонщиком.

— Вот и хорошо.

Из зимовья пошли во дворы, заполненные скотом, только что пригнанным с пастбища.

— Ачка-ач-ач! — помахивая палочкой, хозяин ласково покрикивал на лениво расступавшихся перед ним коров и молодых, нерабочих быков. — Ишь ты какая, тово, сердитая ачка! Эта пеструшка-то семинтайской породы, хоро-ошая будет коровка. А этих вот бычков-то можно бы запрягать нынче, да что-то, тово, жалко стало. Пусть уж, Христос с ними, погуляют ненешнее лето.

Из общих скотных дворов перешли во двор, обнесенный частоколом, где помещались одни дойные коровы и рядом с ними телята. Солнце уже закатилось, па западе багрянцем полыхала заря, пахло прелым навозом и парным молоком. Скуластая, похожая на бурятку скотница Матрена и две молодые поденщицы доили коров, ведрами носили молоко на освещенную лампой веранду, откуда доносилось ровное гудение еще не виданного Егором сепаратора.

В сумерки с пашни приехал Ермоха, пожилой, но еще довольно крепкий, кряжистый бородач, одетый в синюю, заплатанную на локтях рубаху и холстинные штаны, измазанные дегтем, на голове старенькая, похожая на блин казачья фуражка.

Хозяин первый поздоровался с Ермохой, заговорил отменно ласково:

— Как порабатывается, Ермошенька?

— Робим, как все,— сердито буркнул Ермоха и, не глядя на хозяина, принялся распрягать лошадь.

— Бычки, тово, не худеют?

— Чего им худеть?

— Жара вить стоит, Ермоша, гнус донимает. Ты уж, Ермоша, утречком-то, тово, пораньше вставай, холодку прихватывай.

— Знаю, не маленький.— Ермоха отнес хомут в сарай, повел лошадей во двор. Егору показалось странным, почему это батрак так непочтительно, даже грубо вел себя, отвечая на вопросы такого добродушного хозяина.

Ужинали батраки в зимовье. После жирных шей та же скотница Матрена поставила на стол горшок гречневой каши, миску молока и крынку простокваши. При свете керосиновой лампы Ермоха показался Егору не таким уж сердитым, как в разговоре с хозяином, и темно-русая, в густой проседи боро-

да — не очень косматой, а глаза, с сеткой мелких морщинок **00** углам, смотрели из-под кустистых бровей даже добродушно. И, словно в подтверждение этого, Ермоха, отодвинув от себя пустую миску, заговорил с Егором самым дружелюбным тоном: — Надолго закабалился?

— Надолго,— со вздохом ответил Егор,— атаман запродал до самой службы.

— А-а, из казаков, значит.

— Казак, с Верхних Ключей, Заозерской станицы.

Егор посмелел и, после ухода Матрены, когда стали укладываться спать, сам заговорил с Ермохой.

— А хозяин-то, каяшсь, ничего, хороший человек?

— Хоро-о-ош, пока спит, а проснется — хуже его не найдешь по всему свету.

— Неужели? — не веря своим ушам, изумился Егор.— А на вид, смотри, какой добрый, и характером вроде мягкий.

— Э-э-э, брат, он мягко стелет, да жестко спит. С виду — прямо-таки ангел, а душа хуже черта. Ты бы посмотрел, сколько у него хлеба в амбарах! Великие тыщи пудов, а приди купить — ни за что не продаст.

— Это почему же? — еще более удивился Егор.

— Цена не та, какую ему надо, вот он и ждет неурожайных годов, чтобы за этот хлебец драть с бедноты последнюю шкуру, вот каков он гусь! Не зря же его Шакалом прозвали.

— Шакалом?

— Ну да, оно и правильно, уж я-то изучил его доподлинно, пятый год на него чертомелю. Вот посмотришь, сколько он в сенокос, в страду поденщиков нагонит,— жуть, и все за долги, вся деревенская беднота в долгу у него, как в шелку. И что же: у добрых людей в горячую-то пору поденщики по пуду пшеницы зарабатывают в день, а у него за пуд-то по пять, а то и по восемь ден работают.

Ермоха набил табаком-зеленухой трубку, прикурив от лампы, погасил ее и, улегшись рядом с Егором, продолжал, попыхивая трубкой:

— Худой он человек, оборони бог, худой! Богомол, ни одной обедни, ни вечерни не пропустит, посты блюдет, всякое дело начнет и закончит с молитвой. Пить вино, курить почитает за великий грех, а ограбить человека, заставить его робить на себя почти задаром — это ничего, не грех. А либо узнает, у какого человека несчастье: недоимки много накопилось ли казака на службу справлять надо — он уж тут как тут. дъедет на сивке — пеши ходить не любит — и начнет коляски

подкатывать: «Коровку али там бычка, тово, не продашь?» И до тех пор будет ездить, пока не купит за полцены. Вот каков, он, Шакал. Я так думаю: попадись ему в ловком месте человек, да узнает, что он при деньгах,— зарежет, глазом не моргнет, зарежет, захоронит и свечку в церкви поставит «за упокой души убиенного раба божьего».

Ермоха, глубоко вздохнув, выколотил об нары трубку, сунул ее под подушку.

— Порассказал бы я тебе про этого жулика еще немало, да спать надо — он, Шакал-то, подымет нас до свету, он уж не проспит, не-е-ет!

Большинство пашен Саввы Саввича находилось в десяти верстах от села, в вершине пади Березовой. Здесь, у подножия каменистой сопки, разросся колок из зарослей тальника, боярышника и ольхи, а из-под сопки бил студеный и чистый, как детская слеза, родник. Ручей от родника, петляя между кочками, бежал через колок и давал начало речке, что протекала серединой пади.

Тут и обосновал Савва Саввич за^ку: построил зимовье, дворы, станы для скота, гумно и даже амбар для хлеба, где до весны хранилось семенное зерно.

Большое оживление было на заимке летом, особенно в страдное время, когда хозяин нагонял сюда десятки своих должников. Тогда на еланях вокруг заимки кипела, спорилась работа: с утра и до позднего вечера стрекотала жнейка, поденщики вязали за нею снопы, на других пашнях жали ручную, серпами, рядом шла пахота, работники двоили пары, боронили залого, а сам Савва верхом на таком же старом, как и сам, сивке ездил от пашни к пашне, наблюдал за работой. Все шло у него по разведенному порядку. В дождливое время, когда нельзя работать на жнитве, его люди косили гречу, поправляли дворы, ремонтировали телеги. Сразу же после страды начинали возить, скирдовать снопы, молотить гречу, и на заимку пригоняли скот. В то время как коровенки сельчан начинали худеть от пастбы на вытравленных, истоптанных за лето пастбищах, скот Саввы Саввича жирел на сочной, подросшей после сенокоса отаве. А затем его пастухи-подростки до глубокой осени пасли скот на освободившихся от хлеба, никем не потравленных еланях. После пастбы люди Саввы Саввича зимовали с его скотом на заимке до самой весны.

Теперь здесь работали на пахоте работники Ермоха и Егор.

Чуть брезжил рассвет, когда Ермоха с Егором почавали, накормили быков, погнали их на пашню. Их соседи по ста-

у — хлеборобы-середняки — еще спали в телегах и палатках, ранние пташки щебетали в колке, пади и распадки покрыты были сумеречной мглой, и лишь кое-где на полевых станах поблескивают огоньки — раноставы-хлеборобы варят чай, дым от их костров, как туман, стелется понизу. Все более светлеет долинах, бледнеет темно-синее небо, а на востоке разгорается, кумачом рдеет заря. Окрашенные ею легкие белые облака на горизонте стали розовыми, а нижние края их уже позолотило солнце.

Когда пантелеевские батраки запрягли, начали первую борозду, на их стане, у Шакаловой заимки — так прозвали заимку Саввы Саввича — проснулись пахари, задымил костер.

— Цоб, Мишка, цо-о-об! — крутя над головой погон — длинным, свитым вдвое ремнем на таком же длинном черне, звонко покрикивал Егор, и четыре пары больших сытых быков легко тянули железный, единственный в селе американский плуг «Эмиль Липгарт». В мокрых от росы ичигах Егор то шагал сбоку быков по загону, то, приотстав от них, разговаривал с Ермохой.

— Хорошо идет, дядя Ермоха? Я говорю, плуг-то хорошо идет?

— Плуг-то? Идет — лучше некуда. — Ермоха, улыбаясь в курчавую бороду, одобрительно качает головой. — Додумались же ученые люди: и пашет лучше, глубже, и вести его легче, чем нашу рогальху, а идет-то! Только для славы подерживаешь его, и ни пырей ему, никакая холера нипочем. Да-а-а, умственная, брат, штука...

— И насчет машин он, Шакал-то наш, опередил всех в поселке. Смотри, сколько машин ггозавел! Молоко на сметану перегонять и то машина, как ее зовут-то?

— Этот... как его... тьфу ты, холера! Забыл.

— Ну, словом, машина. Хлеб жать — и то машина. А теперь и плуг железный, значит, и об нас он позаботился, чтобы не мучились мы с деревянной сохой.

— Пожалел волк кобылу — оставил хвост да гриву! Не-ет, Егорша, это он для того купил такой плуг, чтобы мы больше спаживали, хитрущий Шакал!

До межи оставалось недалеко, и Егор поспешил на свое место в середине упряжки. И снова погон в его руках начал описывать над быками круги, подстегивать нерадивых. Много лет кряду приходилось работать Егору на быках, поэтому погонять их он научился мастерски, быки слушались его, тянули дружно, не виляли, не выскакивали из борозды, и.

забыл. Вы, детушки милые, тово... пообедайте, отдохните малость, да к вечеру-то надо будет овес проветять. Ветерок сегодня подувает хороший, чего же овес-то оставлять в вороху на праздник.

— Овес проветять? — сурово сдвинув брови, переспросил Ермоха. — Вот тебе фунт изюму! Мы-то что же, по-твоему, двужильные, что ли?

— Ничего, ничего, Ермошенька, сегодня хоть и поробите, тово... чуток лишнего, зато завтра отдохнете. Чего же с энтой поры баклуши бить?

— Да, да, — сердито отозвался Ермоха. — Мы сегодня с полночи баклуши-то бьем.

— Кто рано встает, тому бог подает, Ермоша. Сегодня поработаете, а завтра и послезавтра отдыхать будете, а я на-кажу Матрене, чтобы она к ужину щец сварила пожирней да баньку истопила пожарче, вот оно и, тово, хорошо будет. Идите, детушки, обедайте, да и, тово... за дело принимайтесь.

Работали дотемна, после ужина попарились в бане и потом долго сидели в своем зимовье за столом, пили из самовара чай.

— У нас новости, — сообщила сидевшая на скамье у печки Матрена. — Давеча хотела вам рассказать, да Савва Саввич зашел, помешал. Сын у него женится.

— Неужто Сенька? — удивленно воскликнул Ермоха. — Вот это здорово! Нашлась-таки какая-то дура.

— Совсем не дура, а девушка такая, что люблю.

— Кто же все-таки?

— В Сосновке Федора Чмутина дочь, Настя.

— Поди, врут еще?

— Ничего не врут, сама вчера видела — ездила туда вместе с Семеном и Марфой Дидючихой. Я и к сестре своей Пелагее сходила, она мне и рассказала, как Марфа-то всю осень ездила в Сосновку, сговаривала Настю. А потом я и сама видела Настю.

— Дидючиха, она, конечно... кого хошь уговорит. — Ермоха, почему-то осердившись, с шумом отодвинул от себя стакан. — Эта ведьма у попа теленка выпросит.

Ермоха вылез из-за стола, кушаком вытер вспотевшее лицо и, закулив трубку, сел около стола на пол. В зимовье пахло свежеспеченным хлебом, было очень жарко. Поэтому и Егор, выйдя из-за стола, лег на пол. Сегодня он устал больше обычного и теперь, растянувшись на мягкой соломе, с удовольствием ощущал, как холодок, что тянет от двери по полу, освежает босые, натруженные за день ноги и по всему телу разливается приятная истома. А Матрена, убирая со стола и

перемывая посуду, не переставала говорить об одном и том же — о предстоящей свадьбе.

— Теперь уж все. Вчера Семен-то и невесту посмотрел. Радехонек! Пондравилась. Да и как ему не радоваться, красавицы лучше и не сыскать. Лицо белое и как жар горит, румяное, волосья как смоль черные, коса до пояса. Глаза большие, карие, а брови — как нарисованы, прямо-таки как картинка, залюбуешься. И молода еще, с зимнего Миколы восемнадцатый год идет. Задаток привезли от нее — полушалок люстриновый.

— Господи ты боже мой! — хмуря брови, сокрушался Ермоха. — Неужели ей мог понравиться это чучело огородное?

— А чего не пондравиться-то? Я как посмотрела вчера на Семена, когда он сидел там за столом в переднем углу, так чем он не жених? Рубашка на нем голубая, шелковая, при часах, чубчик ему Марфа подладила, а чтоб повыше-то он казался, она под него две подушки подложила. Тут как раз и Настя зашла в избу — не знаю, разглядела она Семена или нет — и того же разу обратно. Мы с Марфой не сробели, за ней в сени, взяли ее на притуган. Она было и так и сяк. И «подумать надо», и все такое, да разве против Марфы устоишь? Все обошлось как надо, скрутили девку, дала слово, чтобы на второй день рождества приезжали за нею, и задаток отдала.

Ермоха сердито крикнул, плюнул на пол и молча, ожесточенно принялся выколачивать трубку об ножку стола.

— Эх, тетка Матрена! — горестно вздохнув, заговорил молчаливый до этого Егор. — Нехорошо вы поступили, обманули девушку, из-за вас теперь будет она, бедняга, всю жизнь мучиться с этим уродом.

— Ну, за то, что он мал ростом да горбатый, нельзя винить человека, такое со всяким может случиться, — возразил Егору Ермоха. — У нас в станице был Кырсантий Нилыч Федореев, такой же маленький, горбатый, а что про него скажешь плохого? Хороший был человек. Мастер на все руки — и столяр, и слесарь, и все, что угодно. Обходительный был, уважительный. Все его уважали, даже и за глаза величали Кырсантием Нилычем. Так что тут дело-то не в уродстве, а в том, что душа у нашего Сеньки кривая, паскудный он человек, ехидна. Взять хотя бы нас, к примеру: видим мы его в полгода раз, а встретишься с ним — он и рожу в сторону, никогда не поздравствуется. А все потому, что нашего брата, бедноту, и за людей не считает. Хватит с ним горя какая-то дура...

— Какое же ей горе? — взъерилась Матрена. — Да ей, если хочешь знать, за Семеном-то не жизнь будет, а одно удовольствие. Она у отца-то свету белого не видела, мачеха у нее такая злющая, что от нее никакого житья не было. А тут еще, как назло, беда приключилась: третьего дня вон какой мороз на дворе, а мачеха заставила одежду проветрить. Настя вынесла ее в ограду, развесила на изгородь, да и недоглядела, соседский боров зашел в ограду, стащил мачехино платье кашемировое и все вмель порвал, будь он проклятый! Теперь Настино дело — хоть в избу не заходи из-за этого платья. Ну, а Семен что же, не такой уж он безобразный, как про него говорят разные завистники, мужчина, как и все. Мужинская красота, известно: на черта не походит — то и красавец. Да оно, ежели разобраться, то вить красоту-то не лизать, лишь бы жилось хорошо. — И, подперев щеку рукою, закончила, завистливо вздыхая: — А уж она-то заживет теперь — что твоя барыня, чего шло ей надо? Дом — полная чаша, всего полно, всего довольно, ни в чем не будет знать нужды, не наше горе.

* * *

Ехать за невестой решили с утра. Хозяин распорядился запрячь в большую кошеву тройку лучших лошадей. Пока Егор с Ермохой подбирали сбрую, запрягали, подвязывали коням хвосты, в доме наряжали жениха.

Савва Саввич еще с вечера сказал Егору, чтобы он готовился ехать кучером, поэтому Егор с утра нарядился по-праздничному: из обмундирования, за которое работает, суконную, недавно полученную из станицы гимнастерку подпоясал наборчатым кавказским ремнем, надел брюки с лампасами, форменный, опушенный на груди и карманах серой мерлушкой полусубок и черную с желтым верхом папаху. Когда запрягли, приготовили к выезду тройку, Егор, поручив лошадей Ермохе, пошел в дом доложить хозяину о своей готовности.

А в доме и хозяева и Матрена с Марфой все еще помогали одеваться жениху. На нем уже надеты брюки из темно-синего сукна без лампасов — Семен их никогда не носил, — новые черные валенки. Шелковая рубашка подпоясана шнурком с кистями. Никак не клеилось дело с пиджаком: без него коротенькое туловище жениха выглядело до смешного неприглядным, а пиджак, плотно облекая горб и плечи, топорщился над тонкими ногами, болтался, как на вешалке, его снимали, что-то там подметывали, ушивали, снова надевали и опять снимали.

А жених стоял перед большим зеркалом, оглядывая себя, довольно улыбался, поминутно причесывая напмаженные я-гидкие рыжие волосенки.

Егору редко приходилось видеть молодого хозяина. Работая писарем, Семен никогда не заходил к батракам и не разговаривал с ними. Однако, по рассказам сельчан, особенно своего напарника Ермохи, Егор знал, что характером и поведением хозяйский сынок вылитый отец. Такой же набожный, тихий, ласковый с виду, Семен в душе презирал простых людей, бедняков считал лентяями и помогал отцу закабалить их, был его первым советчиком в делах купли-продажи, вел долговые записи.

В новом наряде Семен показался Егору еще более жалким, некрасивым, чем в обычном своем сером сюртучке с беличьим воротником. И тыквообразная голова его, казалось, еще глубже осела в плечах, и тонкий, прямой нос стал еще длиннее, а маленькие синие глазки под белыми ресницами походили на поросычьи.

«И за эту уродину с чернильной душой девушка, да еще, говорят, красавица, замуж выходит! — со злобой думал Егор, глядя на принаряженного жениха и на хлопотавшую около него Марфу. — А все вот эта жаба толстозадая подстроила, небось заработала немало на чужой-то беде?»

Наконец с одеванием было покончено. Савва Саввич затеплил перед образами свечи, все уже в шубах и дохах помолились, на минутку присели и, громко разговаривая, вышли в ограду. Продолжая давать советы, наставления, старик усадил сына со свахой в кошеву, заботливо укрыл им ноги меховым одеялом. Сидевший впереди Егор разобрал вожжи, столбом плетенный махорчатый кнут заткнул за пояс. Мороз стоял крепкий, поэтому Егор, как и жених со свахой, сверху полусубка надел Доху.

— Езжайте, детушки, с богом! — Савва Саввич снял лисью шапку, обнажив розовую лысину, перекрестился. Сопутствуемый его благословениями, Ермоха, держа лошадей под уздцы, повел тройку из ограды.

— Смотри, Егор, аккуратнее, не разнесли бы! — уже на улице предупредил Ермоха.

— Ничего, дядя Ермолай, не впервые, отпускай!

Все три лошади были нерабочие, хозяин держал их про запас, как выездных, хотя овсом их кормили наравне с рабочими, и они, ничего не делая, жирели, играли, резвились, когда гнали их на водопой, короткая, гладкая шерсть на них

лоснилась, как атласная. В кореню — рысак, темно-карий жеребец Ястреб, правой пристяжной шла вороная нежеребь-кобылица, на левой пристяжке гнедой белоногий бегутщ-четырехлеток.

Все они сразу же загорячились, рванулись вперед, и Егор, с трудом сдерживая их порыв, как струны натянул ременные вожжи. Коренной, потряхивая длинной волнистой гривой, грыз удила и шел играючи легкой рысцой. Пристяжные, горячась, взбрыкивали, правая то и дело становилась боком поперек дороги и, словно танцуя, перебирала стройными ногами.

Над селом клубился морозный туман, сквозь него тускло светило зимнее солнце. Выпавший ночью снежок на улице уже притоптали, притерли полозьями, по укатанной дороге кони звонко цокали подковами, скрипела мерзлая сбруя, и грузная кошева жалобно повизгивала железными подрезями.

Так проехали через все село. За околицей молодой снежок был еще не прикатан, и кошева по нему катилась, как по маслу. Миновав поскотину, Егор приослабил вожжи, и коренной так прибавил рыси, что пристяжные помчались галопом.

— Легче, Егорушка, легче, миленок! О господи! — упрашивала струхнувшая Марфа. — Держи их крепче... Вон они какие дикие!..

«Ага... Это тебе не девок обманывать, боишься? — злорадствовал про себя Егор. — Так тебе, ведьме, и надо, у меня еще не то запоешь».

И тут он дал коням воли. Коренной рванул, пошел в полную рысь, пристяжные дружно подхватили, и вся тройка стрелой помчалась вперед, клубами снежной пыли засыпая сидящих в кошеве.

— Ой, батюшки мои, ой, матушки, смертушка наша! — запричитала Марфа. — Держи их... Миколай угодник... Царица небесная, спаси и помилуй нас, грешных!..

— В сторону, Егор, в сторону вороти... в снег! — визгливым голосом вторил не менее Марфы испуганный Семен. — В сторону... слышишь?

Егор только посмотрел на снежную равнину, что тянулась по обеим сторонам дороги. В кустарниках и некошеной траве бугрились наструганные, прилизанные пургой большие сугробы. Егор и сам понимал, что, если свернуть лошадей в эти сугробы, они сразу присмирят, пойдут тихо, но он знал и то, что в земле еще с осени образовались трещины, невидимые под снегом. Попадет в такую трещину лошадь ногой — и пиши

пропало. Не-ет, уж на это он не пойдет, а потому на жалобные просьбы Семена ответил с нескрываемой злобой:

— Самый раз придумал... в сторону! Чтоб коня в щель засадить... Сидите там, не скулите!

Быстрая езда несколько не страшила Егора, а то, что его седоки орали с перепугу, как недорезанные поросята, его даже радовало. Добродушный по натуре, он жалел молодую, как видно доверчивую, девушку, которую обманом вовлекают в неравный брак. Из-за этого Егор злился на Семена, но еще больше на Марфу, считая ее главной виновницей в этом деле. И теперь радовался, что хотя таким образом смог досадить зловредной свахе. Он и не пытался сдерживать разошедшуюся тройку и только правил, чтобы мчались они, не сбиваясь с дороги.

«Орите там, орите хорошенько! Делать-то вам нечего, — тихонько, про себя, отвечал он на плач и крики своих пассажиров. — Хорошо бы вытряхнуть вас из кошевы-то к чертовой матери где-нибудь на ухабе, воткнуть бы обоих головами-то в сует¹».

И в ту же минуту он почувствовал, как кошева, очевидно на повороте ударившись обо что-то правым боком, накренилась, потащилась на одном полозе. Егор едва удержался на своем сиденье.

— Карау-у-ул! Уби-и-ли! — еще отчаяннее завопила Марфа. К ней присоединился Семен. Оба они не вывалились в снег лишь потому, что успели ухватиться за облучину кошевы. Егор не растерялся: навалившись всем телом на левый борт, он быстро выправил, поставил на оба полоза кошеву и тут заметил, как слева от них промелькнула черная скалистая громадина.

«Ого, Черный утес проехали! Каково, брат, восемь верст уже отмахали! — удивился Егор, сожалея, что бешеной скачке близится конец. — К Сорочьему хребту подъезжаем, придется вам, голубчики, сбавить прыти-то, хребет-то вам не свой брат».

И в самом деле, когда дорога пошла в гору, бегуны утихомирились, пристяжные перешли на рысь.

— Ой, батюшки светы!.. Ой!.. Это что же такое, — бормотала мокрая от слез и растаявшего на лице снега, насмерть перепуганная сваха. — Останови их... Будь добрый... Я слежу... Я... я лучше пешком...

¹ Сует — сугроб.

— Сиди, тетка, не рыпайся! — скаля в улыбке белые, как свежий снег, зубы, потешался Егор над страхами свахи. — Теперь и бояться-то нечего! Кони-то уж вон шагом идут.

От взмыленных лошадей валил пар, крупы их все более покрывались куржаком. На снег из-под шлеи коренного хлопьями падала желтоватая пена.

— Ой, нет, нет!.. Оборони меня, матушка... Казанская... божья матеря, — часто всхлипывая, причитала Марфа. — Останови их... слышишь, ты?.. Душегуб окаянный... останови, говорят... Я... пешком пойду...

— Нельзя пешком, тетка! Замерзнешь на дороге, а отвечать-то за тебя, как за добрую, придется, — не унимался, зло шутил Егор в ответ на слезные просьбы Марфы. — Сиди крепче! А ежели вылетишь на ухабе, держись за землю!

Но под гору он, сдерживая лошадей, съехал шагом. Видя это, Марфа начала успокаиваться, охая, стала вытирать концом шали мокрое лицо. Под хребтом Егор, оглянувшись на сваху, лукаво улыбнулся, вытянул из-за пояса кнут, тряхнул вожжами.

— Эй вы, голуби-и! — лихо выкрикнул он, играя кнутом. — Шевелись живее! А то тетка Марфа что-то приуныла, не слышать ее речей¹. Э-э-эх! Вы, милыя-я-я!

И снова тройка, хотя уже не так стремительно, как вначале, но довольно быстро помчалась по запорошенной снегом зимней дороге. Опять заголосила Марфа, так и вопила она, проклиная Егора, до самой Сосновки.

Только по улице поселка поехал Егор тише, на рысях, в раскрытые ворота указанной Семеном усадьбы заехал шагом. Здесь жил давнишний знакомый и сослуживец Саввы Саввича, богатый казак Максим Овчинников.

Встречать гостей вышел сам хозяин, пожилой, седобородый человек в черном полушубке и в шапке из лисьих лап.

— Здравствуйте, гостюшки дорогие, здравствуйте! — радужно приветствовал он Семена и Марфу, здороваясь с ними за руку. С помощью хозяина гости выбрались из кошевы, выхлопали занесенную снегом одежду. Егор распрягал лошадей.

— Чуть не убил он нас, мошенник этот, — пласивым голо-

¹ Куржак — иней.

² Егор приводит слова старинной русской песни:
Что ж ты, мила, приуныла,
Не слышать твоих речей?

сом жаловалась Марфа хозяину. — Кони-то — вон они какие звери — как подхватили да понесли, отцы небесные! Я уж думала, конец нашей жизни пришел, а ему, непутевому, хоть бы что, он ишо и зубы скалит. Вот вить народ-то ноне какой пошел, Максим Прокопьевич. Не-ет, я уж с ним больше не поеду, мне ишо жизнь не надоела. Уж ты меня, сват Максим, отправь со своим, с надежным человеком.

— Уладим, сватья, все уладим, только бы нам главное-то дело хорошо устроить.

Забрав одеяло и дохи гостей, хозяин первым вошел в дом, за ним двинулись Семен и Марфа с корзинкой гостинцев в руках. Из корзинки аппетитно выглядывала желтоватая круглая спинка да чуть подгоревшее ухо поросенка-сосунка и горлышко завернутой в тряпочку бутылки со спиртом.

ГЛАВА VI

Все время, как приехали в Сосновку, Егор, жалея Настю, думал о том, как бы сообщить этой девушке, что ее бессовестно обманывают. Просто пойти разыскать Настю и поговорить с ней считал неудобным, да и что можно сказать ей при мачехе? И, поразмыслив хорошенько, Егор решил рассказать обо всем кому-нибудь из местных парней. Он хорошо знал, как не любят парни, когда девушек из их села увозят посторонние женихи. Егор помнил не один случай, когда незадачливый жених возвращался домой из чужого села не только без невесты, но и со свежим синяком под глазом или с коротко обрезанными хвостами у лошадей.

Покормив лошадей, Егор, сидя верхом на Ястребе, повел их на водопой. Уже на окраине села увидел он шагающего навстречу парня. Рослый, черноглазый, в сивой папахе и форменном полушубке, парень гнал с водопоя трех разномастных коней. Поравнявшись с парнем, Егор придержал Ястреба.

— Здорово живем! — приветствовал он парня.

— Здорово! — Парень, подняв разлтые брови, недоумевающе посмотрел на незнакомца.

— Ты здешний? Поговорить с тобой хочу. — Егор чуть склонился с коня, заговорил тише: — Ты Настю Чмутину знаешь?

— Настю? А на что тебе? — хмуря черные брови, посуровел парень. — Уж не сватать ли ее пришелся?

— Не сватать, а воровать ее приехали.

— Воровать, ого! Смотри, паря, не опереди Миколу, а то и рождество не встретишь. — Карие глаза парня гневно сузились, нервно дрогнули тонкие ноздри, а смуглое лицо его медленно наливалось багрянцем. — Мы т-тебе так украдем... что и своих не вспомнишь!

— Да ты разберись сначала, не играй бровями-то! Не я ее ворую, чудак! — Жеребец под Егором горячился, рвал из рук поводья, мешая говорить седоку. — Ежели бы я... тпру ты, черт!.. Я бы воровал — так разве стал бы тебе докладывать?.. Да я сам против того... чтобы ее украли... вот и хотел, чтобы ты... сказал ей, предупредил.

— Предупредить? Подожди, как это? Тпру ты, бешеный! Дай-кося, я его придержу. — Парень подошел ближе, взял Ястреба под уздцы, и тут Егор рассказал ему о том, как Настю обманом уговорили выйти за богатого урода и сегодня уже приехали за нею.

— Ну, спасибо тебе, браток, спасибо! — Парень, дружелюбно улыбаясь, снял рукавицу, протянул Егору жесткую, в твердых мозолях руку. — А я-то, дурак, еще окрысился на тебя. Ты уж извиняй меня, сгоряча это я. Тебя как звать-то?

— Егор Ушаков, Заозерской станицы.

— Значит, друзьями будем, Егорша! Меня Степаном зовут, Швалов по фамилии. Ты какого года службы?

— Одиннадцатого, на будущий год к выходу.

— А я, браток, десятого, нынче на выход. В прошлые годы молодые-то об эту пору уж в полках находились, до рождества их всегда призывали, а нынче наш год все-то еще дома. Но, наверное, вот-вот и нас подернут. Нас нынче из Сосновки шестнадцать казаков пойдут! Одного в гвардию взяли, двоих в батарею, остальных, как и меня, — в сотню.

— В каком полку-то будешь?

— В Первом Аргунском, наверно, наша станица к четвертому военному отделу относится, а ваша?

— Наша третьего отдела.

— А-а-а, значит, ты в Первом Нерчинском будешь! Жалко, что не в одном полку служить придется. Хотя кто его знает, часто бывает в отделе перекомнлект и посылают молодых в другие полки. Из нашей станицы служили и в Нерчинском, и в Читинском, и в Верхнеудинском полках.

— Это бывает. Ну что ж, Степан, прощай покедова!

— До свиданья, Егор, спасибо, что сказал про Настю.

— Не стоит, только смотри не проворонь ее.

— Не-ет, что ты! Я постараюсь увидеть сегодня Настю и расскажу ей все, а потом караулить ее будем и коней заседаем. В случае чего — ночи месяганные, догоним, отберем по дороге.

— То-то же! Ну, я поехал.

— Езжай!

Тронув жеребца ногой, Егор зарысил к водопою. Обернувшись, увидел, что Степан, рупором приставив ко рту рукавицы, кричит что-то. Егор не расслышал, помахал в ответ рукой.

* * #

После смерти матери все женские работы по хозяйству справляла Настя, с детства приученная к труду. Но вот в доме появилась мачеха, и для Насти наступили черные дни. Мачеха привела с собой двух детей от первого брака, работы для Насти прибавилось, но теперь, как ни старалась, она ни в чем не могла угодить злой, взбалмошной бабе, сразу невзлюбившей падчерицу. И чем дальше, тем невыносимее становилась для девушки жизнь в родительском доме. Настя уже стала подумывать, как ей избавиться от злой мачехи: уйти из дому, наняться в работницы. Но куда? Как это сделать? И вот в этот момент в Сосновке появилась Марфа, которая стала сговаривать Настю выйти замуж за богатого и очень хорошего, по словам Марфы, парня из Антоновки — Семена Пантелеева.

Первый раз Настя убежала от Марфы, даже не выслушав ее до конца, но мысль выйти замуж и таким образом избавиться от мачехи зародилась и крепла в голове девушки.

С той поры зачастила Марфа в Сосновку, настойчиво уговаривая Настю выйти замуж за Семена. Старалась Марфа не зря. Она теперь стала самой желанной гостьей в доме Саввы Саввича, он щедро платил за ее хлопоты по сватовству и, кроме того, обещал — в случае удачи — подарить ей породистую телку-двухлетку. Поэтому Марфа, как только удавалось ей залучить к себе Настю, не жалела слов, расхваливала жениха, красочно описывая будущую счастливую жизнь Насти с Семеном. По словам Марфы выходило так, что Семен — единственный сын богатого отца — был самым красивым, самым умным парнем в Антоновке, девушки льнут к нему как мухи на мед, а ему никого, кроме Насти, не надо, влюбился в нее, два раза повидав ее, когда приезжал в Сосновку. При этом Марфа божила, крестясь на икону, и девушка поверила. Богатство

не особенно прельщало Настю, она бы с радостью пошла за небогатого Степана Швалова. Он ухаживал за Настей, нравился ей, но беда в том, что Степан готовился к выходу на службу. До женитьбы ли тут, когда он и так нанес немалый ущерб в хозяйстве отца, приобретая обмундирование, и теперь уходит на четыре года.

А Марфа торопила: «Не упусти своего счастья». И Настя согласилась, с условием посмотреть жениха лично. Как ни уговаривала Марфа не делать этого, наглядеться на Семена после свадьбы, Настя упорно стояла на своем, и Марфе пришлось согласиться.

По счастливой — для Семена и Марфы — случайности, приезд их в Сосновку совпал с тем моментом, когда с Настей случилась беда — боров порвал мачехино платье. В этот день обозленная мачеха даже избила ни в чем не повинную девушку. Оскорбленная до глубины души несправедливыми нападками мачехи, Настя в сумерках — Марфа умышленно зазвала ее в такое время и даже не зажгла в доме лампы — как следует не рассмотрела сидящего за столом в переднем углу Семена, не обмолвилась с ним ни одним словом. Она сразу же вышла в сени. Марфа — за нею, и Настя, полагаясь на клятвенные заверения свахи, дала согласие, назначив день, чтобы приехали за нею и увезли в Антоновку «убегом», так как «добром» ее не отдадут.

В те времена существовал в Забайкалье старинный обычай двоякого сватовства невесты: «добром» и кражей невесты — «убегом».

В первом случае к родителям невесты от жениха засылали сватов, невеста выходила замуж с ведома и согласия родителей, оставаясь в отчем доме до самой свадьбы.

Второй способ практиковали, когда жених и невеста изъявляли желание пожениться, но знали, что родители невесты не согласятся отдать ее жениху «добром». Тогда жених «воровал» невесту, то есть увозил ее тайком от родителей к себе, и дело оставалось лишь за тем, чтобы получить от отца невесты «бумагу» — письменное согласие на данный брак, так как без такой бумаги в церкви не будут венчать. Не раз случалось, когда заупрямившийся отец долгое время куражился, «не давал бумагу», бывало, что из-за этого расстраивалась свадьба и отец уводил невесту обратно к себе домой. Но такие случаи происходили очень редко. Обычно дело с получением «бумаги» улаживалось при помощи водки, и новые сваты устраивали попойку, сутками «гуляли па бумаге».

* * *

Настя только что задала коровам сена и стала чистить в стойке, когда к ней прибежала ее подруга и сверстница Катя.

— Приехали, Настька! — только и смогла сказать запыхавшаяся от быстрого бега Катя.

— Кто приехал? — Настя выпрямилась, выпустила из рук корзину.

— Будто не знаешь? За тобой приехали, сейчас их видела, к Максиму Прокопичу проехали.

— А может быть... не они еще? — Настя, сама назначившая, чтобы за нею приехали в этот день, теперь почувствовала, как у нее болезненно сжалось сердце, и ей стало страшно покидать родительский дом. Обхватив рукою столб и прижавшись к нему, Настя как сквозь сон слушала, что говорила ей Катя.

— Оне, Настька, я ведь Марфу-то знаю, видала ее у Максима. А что, ежели мне сходить сейчас туда, к ним? Разузнаю, как и что. Сходить?

— Сходи,— чуть слышно проговорила Настя, все так же держась одной рукой за столб.

— Ты что, заболела, что ли?

— Не-ет, так... Угорела я сегодня.

— Ну, я пошла.

— Иди... Или нет, подожди ты! Катя, это... Ну да ладно уж... Ступай!

И долго еще после ухода подруги стояла Настя, прикинув горячим лбом к холодному столбу.

«Вот как оно получается! Самое бы теперь время погулять, покрасоваться в девках, а тут... Эх, кабы жива была маменька родимая!.. — Слезы душили Настю, и перед мысленным взором девушки в этот момент промелькнула вся ее еще короткая жизнь, такая счастливая в детстве и такая горькая в последнее время.— Вот и замужество подошло, а как оно обернется? Что, ежели еще хуже получится, не попасть бы из огня да в полымя,— со страхом думала Настя, но она тут же и гнала от себя мрачные мысли, успокаивала себя: — Не-ет, не может этого быть, ведь Марфа-то вон как божилась, хвалила жениха, перед иконой клялась! Неужто она, пожилой человек, врать будет перед богом? Может, это и в самом деле бог-то счастье мне посылает за сиротство мое горькое?»

Вернулась Катя не скоро. С нетерпением ожидавшая подругу Настя встретила ее в ограде, провела на сеновал и

уже там, около запорошенного снегом омета сена, спросила:

— Ну, как там?

— Вечером, как стемнеет, мы с тобой будто на вечерку, а сами к Максиму Прокопичу, там уж все будет готово.

— С кем разговаривала-то?

— С Марфой и жениха твоего посмотрела.

— Понравился?

— Еще бы, парень куда с добром! Я сначала-то думала, что он в горнице, а там, должно быть, отец его с Максимом сидят, разговаривают, должно быть, выпивают, закусывают, слышно — посуда гремит. Дверь-то в горницу закрыта, я уж не посмела туда зайти, посидела в прихожей, дождала Марфу, с ней и договорились обо всем — и сюда. Только я вышла на крыльцо, и жених тут как тут, стоит на ступеньках, снег веником обметает с унтов. Глянул он на меня, поздравствовался, хотел сказать что-то, да тут Марфу черт пригнал на крыльцо, помешала, проклятая баба. До ворот она меня проводила, я у ней все-таки спросила: «Этот, спрашиваю, жених-то?» — «Он самый», — говорит. Ну, я больше и расспрашивать не стала, сразу же сюда. Ох, и счастливая ты, Настя, какого молодца заполонила. Я уж рассмотрела-то его не по-твоему. Ростом высокий, глаза голубые, усов ишо нету, а чуб из-под папахи русый из кольца в кольцо. С этим можно горе мыкать.

Настя слушала, и сердце ее замирало от радости.

— Только вот в чем беда еще, — продолжала Катя. — Парни наши про это дело как-то узнали. Иду я сейчас, а Степка, ухажер твой, навстречу. «Верно, спрашивает, что за Настей приехали из Антоновки?» Я забожилась, что не знаю ничего, а он говорит: «Все равно у них ничего не получится, отберем ее, не дадим увезти Настю какому-то мужику задрипанному». А он и не мужик вовсе, штаны на нем с лампасами, да и так-то видно, что казак, чего уж там зря!

— Марфа тоже сказывала, что казак, еще и писарем в станции служит, грамотный.

— А Степка-то потом и говорит мне: «Пусть сегодня вечером забежит на минутку к тетке Акулине. Я ей что-то скажу». А ты, Настя, не ходи, ну его, будет еще чего-нибудь наговаривать на жениха, расстраивать начнет — известно, как бывает на свадьбах, только стань слушать.

— Нет, Катя, не пойду я к Степану, теперь уж ни к чему, раз дело решенное, стало быть, судьба моя такая. Только вот как у нас получится теперь? Ведь они, парни-то наши,

караулить будут, чтоб не отпустить меня в чужой поселок, знаешь, какой Степка отчаянный!

— А мы их перехитрим! Придумаем что-нибудь.

Посоветовавшись, девушки «придумали». План их был очень прост: вечером не им идти к Максиму Прокопичу, а пусть жених со своими людьми подъедет к дому Насти, только не с улицы, а на задворки. Поэтому вечером, когда взойдет луна, они должны выехать из Сосновки, объехать ее по задворью и около гумна чмутинской усадьбы ждать Настю. Замысел этот понравился обеим девушкам, и Катя вновь отправилась к Максиму — сообщить Марфе о происках парней и о новом плане.

Наступил вечер, мириадами звезд заискрилось темно-синее небо, в доме Максима Прокопича приготовились к проводам гостей. Жених и сваха, одетые по-дорожному, сидели в горнице, разговаривали с хозяевами. Егор в прихожей курил и, изредка посматривая в горницу, усмехался про себя. Кони уже запряжены, привязаны у столба, а невесты нет. Егор уверен, что Степан повстречался с Настей и она теперь не придет.

Но вот взошла полная, чуть ущербная луна, и в доме зашумелись. Хозяин вышел в прихожую.

— Давай, молодец, готовься, — обратился он к Егору, снимая с вешалки полшубок. — Сейчас поедem.

Егор бросил в угол недокурную самокрутку, недоумевающе поглядел на Максима и, не сказав ни одного слова, пошел к выходу.

«Что такое? — думал он, выходя на крыльцо. — Невеста не пришла, а они и в ус не дуют, и не беспокоятся даже, уезжать собираются? Что за диковина, никак не пойму?»

Он подошел к воротам, широко раскрыл их, посмотрел на улицу. Луна чуть приподнялась над сопками, в улицах светло, как днем, и по-праздничному оживленно. Слышится говор, смех молодежи, спешившей на вечерку, под сапогами парней хрустит снег, балагурят, хохочут подростки. Где-то далеко чуть слышно пиликает гармошка, а рядом, в соседней улице, высокий девичий голос с нежной грустью выводит:

Погасло со-о-олице за-а гор-о-о-ою,
Сиди-ит каза-а-ачка у дворе-е-ей...

И хор девичьих голосов слаженно и стройно подхватывает напев:

И вдаль гляд-и-ит она-а с тоскою,
И слезы лью-ю-юются и-и-из очей...

Из дому в сопровождении Максима выходили Семен и Марфа, и, не дослушав песню до конца, Егор поспешил к лошадям.

Усадив гостей в кошеву, Максим, тоже тепло одетый, кряхтя взмолился и сел рядом с Егором на переднее сиденье. Егору он приказал:

— Езжай!

Ничего не понимая, Егор тронул со двора. По указанию Максима, выехав на улицу, повернул влево и тут заметил, что от соседнего дома впереди отделился человек, пошел навстречу тройке. Оглянувшись, увидел, что второй догоняет кошеву сзади. По полушубку и сивой папахе Егор узнал в догонявшем Степана. Придержав лошадей, поехал тише. Степан догнал, ухватившись за заднюю грядку, встал ногами на концы полозьев, оглядел сидящих в кошеве, к нему присоединился и тот, что шел навстречу.

— Что-то изменилось...— громко, чтобы слышали парни, сказал Егор, а уже тише добавил: — Погода-то...

— Чего? — спросил Максим.

— Я говорю, погода-то переменялась.

— Ничего она не изменилась, еще холоднее стало. Шевели их веселее!

Парни отстали. За околицей Максим, сам взявшись за вожжи, повернул вправо. Объехали крайнюю усадьбу, опять повернули направо. Поехали задом, миновали кузницу, до самой крыши занесенную снегом, объехали несколько огородов, кучи навоза и, подъехав к чьему-то гумну, остановились. На гумне виднелась расчатая клада пшеницы, большой ворох мякины, торчала воткнутая чернем в сугроб метла, освещенный луной, блестел гладкий лед на разметанном току. Только теперь Егор догадался, что подъехали к Настиней усадьбе.

Остановив лошадей, Максим огляделся вокруг, прислушался. Насти не было.

— Где же она, сват? — тихонько спросила Марфа.

— Я-то почему знаю? Не пришла еще, стало быть.

Прошло минут пять, десять и больше. Со стороны чмутинского дома никакого звука.

— Это оно что же такое? — теряя терпение, сердился Максим Прокопич.— Где же она запропастилась? Тьфу ты, прах тебя возьми! Нечего сказать, хорошенькое дело!

А время шло, вот уж и лошади беспокоились, не стоят на месте, скрипят сбруей, коренной мотает головой, яростно бьет копытом по снегу.

— Тпру ты, холера тебя забери, не стойте тебе, волко-едина! — дергая вожжами, горячился Максим и, когда лошади

немного успокоились, повернулся к гостям: — Что же делать-то нам, Семен Саввич? Ить не до утра же торчать здесь! За ночь-то нас так высушит морозом, что и невеста не потребуется, пасквозь промерзнем. Я думаю, вернуться домой, а завтра видно будет.

— Подождем еще, Максим Прокопич,— жалобным голосом попросил Семен.— Ведь сама же она велела сюда приехать, придет, значит.

— Покель она придет, у нас не то што руки, ноги — языки в роте промерзнут.

— А ежели сходить бы туда, в ограду к Федору,— посоветовала Марфа.— Может, вызвать ее как-нибудь да поторопить.

— Хм... Попробуем,— согласился Максим и, подумав, повернулся к Егору: — Придется тебе, Егорша. Сходи, будь добрый. Может, в окно али еще как знак ей подашь, чтоб поспешила поскорее, а то меня уж в дрожь бросило, никакого терпения нету.

— Что ж, попытаюсь,— скрывая охватившую его радость, Егор говорил деланно равнодушным тоном, не торопясь слезая с сиденья.— Мне сходить не трудно, хоть ноги, разогрею.

— Только не долго, Егор! Как увидишь — торопи ее, халяву. А доху-то дай-ка сюда, я ее на плечи накинута. В избе-то у нас жарко было, я вспотел, а теперь боюсь, не прохватило бы с поту-то, распаленье бы не схватить.

Егор в одном полушубке, не заметив ведущего к дому маленького проулка, шел через гумно и дворы, легко перепрыгивая через изгородь. «Сейчас увижу **Настю**,— думал он, радуясь удобному случаю,— расскажу ей все, и останется горбач с носом».

Из последнего двора он вышел, открыв скрипучие ворота, и сразу остановился, привалившись к куче кольев, что торчком стояли, приваленные к забору. На него, гремя цепью, залаяла собака — цепник, привязанный к амбару. Стоя в тени кольев, Егор притих, придумывая, что делать дальше, как вызвать Настю. Он уже хотел подойти поближе, посмотреть в окно, но в это время в избе хлопнула дверь, звякнула щеколда в сенях, послышались легкие шаги на крыльце и через ограду ко двору направилась стройная женская фигура в черной куртке и серой шали. Идет она быстро и так легко, что даже снег не скрипит под мягкими подошвами унтов.

«Она!» — уверенно подумал Егор, выходя из тени ей навстречу.

— Ой! — испуганно воскликнула, останавливаясь, девушка.— Кто это?

— Не бойся! — Егор быстро подошел к ней вплотную.— Это мы за тобой, из Антоновки, значит. Только ты обожди-ка, я тебя упредить хочу.— Он уже намеревался рассказать Насте, что ее обманывают, рассказать всю правду про Семена, но тут при свете полной луны увидел расцвеченное румянцем лицо девушки, а под тонкими полудужьями бровей — ее большие темные глаза. Он столкнулся с нею взглядом и впервые в жизни почувствовал, как взгляд этих глаз словно пронзил, кольнул в сердце и сразу же покорило его. Все перепуталось в голове Егора, он мгновенно забыл, что хотел сказать ей, забыл про Семена, про все на свете. «Красавица-то какая писаная!» — дивился он про себя, не в силах оторвать от Насти очарованного взгляда.

— Чего же замолчал-то? — удивленно спросила Настя.

— Да я... это самое... — замялся Егор, не зная что сказать, и неожиданно для себя взял ее за руки выше локтей, хотел привлечь к себе, поцеловать.

— Не надо, Семен, не надо!.. — с мольбой в голосе упрашивала Настя и, упираясь руками в грудь Егора, откинулась головой назад.

— Настюша!.. — клонясь к ней, шептал Егор и даже при лунном свете разглядел, как густо покраснела она, опаленная девичьим стыдом.

— Хватит! — резко воскликнула она, вырываясь из рук Егора.— Ты, Семен, смотри не лапай, а то я живо поверну оглобли.

— Эх, Настюша, ну да ладно уж, не буду, какая ты, право!..

— Уж какая есть, вся тут.— Настя оглянулась на дом, заговорила тише: — Ты вот что, у меня одежда спрятана в сеннике, подожди меня здесь, я скоро.— И, быстро отбежав от Егора, она скрипнула воротами, скрылась в сеновале.

«Вот это девушка, аж в сердце защемило!.. — ошалело думал Егор, стоя посреди двора. Несмотря на мороз, ему стало жарко, а дышал он глубоко и прерывисто, как запаленный конь.— И вот эту красавицу горбач запленивать хочет, обманом ее захватить? Ну уж не-ет, не будет по-вашему. Только как это сделать-то? Рассказать ей?.. Ах, мать честная, как оно получается, ведь она меня за жениха приняла! Семеном назвала ведь, вот оно что-о! И по всему видать, что я по душе пришелся ей, согласна бежать-то,— от радости у Егора захватило дух,— со мной бежать, за одежей пошла... Теперь ежели открыть ей

сю правду, что же получится? Нет уж, лучше помолчу, в Антоновке разберемся.— Он шумно вздохнул и в отчаянной решимости даже скрипнул зубами.— Моя Настя — и никаких гвоздей. Вот Степана жалковато, да и неловко вроде. Ну, да ведь он же на ней все равно не женится, на службу нынче пойдет».

Мысли Егора путались, невольно возникали вопросы. А даст ли Настин отец «бумагу»? А как быть с отработкой за обмундирование? Отдаст ли хозяин уже почти заработанного коня? Но он гнал от себя эти мысли, твердо решив увезти Настю сначала в Антоновку, сейчас другого выхода нет, а затем домой, жениться, а там будь что будет.

В доме стукнула дверь, на крыльце скрипнула половица. Вздвогнув от неожиданности, Егор отбежал к стайке, притаился за углом.

— Настя! — услышал он хриловатый мужской басок с крыльца, а затем скрипучие по снегу шаги в ограде. Подойдя к забору, человек — наверное, отец Насти, Федор, подумал Егор,— остановился, справил малую нужду, еще раз покликнул: — Настя! — И, помолчав, заговорил ворчливым тоном: — Это куда же унесло ее на ночь-то глядя? Опять к Катке? Эка непоседа какая, прости господи, как ни ругай — ей все ни-почем.

Бормоча еще что-то, Федор громко зевнул, пошел обратно. Только за ним захлопнулась дверь, из сеновала с узелком в руках появилась Настя, подбежала к Егору.

— Ох, как набоялась я, Семен! Думала, искать пойдет он. А ты небось заждался меня? Идем живее! Да не туда! — Она вновь ухватила Егора за руку, вывела в ограду и оттуда в узенький проулок, что тянулся до самого гумна. В проулке Егор подхватил Настю под руку и шел, не чувствуя под собою ног.

— Тут платья мои да всякая там ерунда на первое время,— передавая Егору узел, Настя говорила громким шепотом.— Спрятала еще днем в сене и палочку-примету воткнула в то место, а ее кто-то выдернул, должно быть, отец. Насилу разыскала сейчас.

А за гумном около тройки творилось несусветное: продрогший от холода Максим Прокопич держал под уздцы не стоящих на месте, горячившихся лошадей, а сам, не переставая ругаться, приплясывал, чтобы согреть стынущие в унтах ноги. Сдерлшивать лошадей ему помогал Семен, для этого он забрался на переднее сиденье, тянул изо всей силенки за вожжи.

Бросив узел под сиденье, Егор помог Марфе потеплее одеть Настю и, усадив в кошеву, укрыл ей ноги одеялом. А затем, не слушая, что говорил ему Максим, надел доху, сел рядом с Семеном.

— Отпускай! — крикнул он Максиму, принимая от Семена вожжи. — Ничего, ничего, старина, не бойся!

— Сейчас, сейчас, подожди! — Отпустив лошадей, Максим отпрянул в сторону и еле успел ухватиться за грядку кошевы, встать на запятки.

— Тише ты, дурной! Тише! — кричал он Егору. — Вправо ворота! А теперь мимо бани. Легче... легче!.. За угол-то... О господи ты бож-же мой! Ну, сватья Марфа, не зря ты его ругала.

Наконец объехали поселок кругом, и впереди Егор различил знакомую дорогу, что вела в Антоновку.

«Только бы Степан не догнал нас со своей оравой, — беспокоился Егор. — Дернуло же меня за язык рассказать ему! Теперь нажимать придется на коней, на них вся надежда».

Повинуясь его голосу, понукающему движению вожжей, лошади мчались все быстрее, а выскочив на укатанный проселок, до предела развили стремительный бег. В передок кошевы дробно застучали копыта снега из-под копыт, седоков окутало снежной пылью, сбоку мимо них быстро замелькали кусты, пригорки, придорожные вехи.

Вновь заголосила Марфа, Семен, еще более съежившись, обеими руками ухватился за передок кошевы.

Максим еще при повороте на проселок просил Егора остановиться.

Егор не ответил.

А тройка мчалась все быстрее. Пока Максим, чуть не плача от злости, упрашивал Егора, они умчались от Сосновки версты за две. Видя, что ни просьбы, ни отчаянная ругань не помогают, Максим решился... Еще раз ругнул Егора и прыгнул. Сажень пять бежал юн по инерции за кошевой и, споткнувшись, с разбега бухнулся в придорожный сугроб, да так, что воткнулся в него головой по самые плечи.

Ничего этого не видел Егор. Не видел он и того, как Максим сначала выбрался сам из сугроба, затем вытащил оттуда шапку. Выколов из шапки снег, он долго выхлопывал его из головы, из бороды, из-под шарфа, потом вытер взмокшее лицо полнейшей полутьмы и, яростно погрозив вслед Егору кулаком, побрел обратно в село.

Егор уже был далеко. Он спешил, понукал лошадей и успо-

коился лишь верстах в десяти от Сосновки. Погони не было видно, поэтому при подъеме на небольшой пологий хребтик Егор придерживал лошадей, чтобы дать им отдохнуть. Лошади шумно фыркали и, часто поводя вспотевшими боками, охотно перешли на шаг.

Луна поднялась высоко, матовым светом заливая снежную равнину. Егор часто оглядывался и вот, уже поднявшись на хребтик, заметил далеко позади, на белом фоне долины, черные точки. Сначала он подумал, что это кусты, которые мог не заметить, проезжая мимо, но вскоре убедился, что точки движутся, постепенно увеличиваясь в размере.

«Они! — сожалеюще вздохнув, подумал Егор. — Степан с друзьями жмет. Ну, теперь-то уж не так страшно, опередили мы их на много. Наша взяла!»

— Но, но, милые! — заторопил он лошадей. Оглянувшись на Марфу, сурово посоветовал ей: — Ты, тетка, не ори, не тяни за душу, там вон погоня за нами.

— Какая погоня?

— Парни сосновские догоняют.

— Верно, Семен? — испуганно спросила Настя.

Семен вздрогнул и, оглянувшись назад, что-то хотел сказать. Егор опередил, заявил уверенно-спокойным тоном:

— Не бойся... не догонят! Нам только бы на Сорочий хребет вперед их выскочить, а уж там никакие... — он чуть не сказал «Степаны», но, вовремя спохватившись, поправился: — никакие бегуны за нами не удержатся.

Услыхав про погоню, Марфа притихла, уже не упрашивала Егора ехать тише, а только охала да бормотала про себя молитвы.

На Сорочий хребет поднимались шагом. Егор, передавая вожжи Семену, прыгнул с сиденья, шел рядом с кошевой, где сидела Настя. Держась рукой за облучину, Егор украдкой, чтобы не заметила Марфа, заглядывал на Настю. Сердце его радостно колотилось, когда глаза их встречались и Настя приветливо улыбалась в ответ. Ему очень хотелось сказать ей несколько слов, но как это сделать, когда рядом сидит ненавистная Марфа?

А погоня близилась, с хребта Егору было хорошо видно, как пятеро всадников, растянувшись цепочкой, мчались полным галопом. И все-таки он продолжал шагать рядом с кошевой: во-первых, чтобы дать лошадям отдохнуть, а главное — чтобы подольше побыть около Насти.

«Уж до хребта не догнали, а теперь-то черта с два»,— думал он, меряя глазами расстояние между погоней и тройкой. По встревоженному взгляду Егора Настя догадалась, в чем дело, спросила:

— Догоняют?

— Гонятся,— спокойно ответил Егор.— Только не-ет, где уж им! Не с ихним носом горох клевать.

— Я знаю, кто это,— пояснила Настя.— Сказали мне — Степан Швалов это!

— Я тоя^е знаю,— подмигнул Егор. Настя удивленно подняла брови. В это время уже поднялись на хребет, Егору надо было спешить к лошадям, дорога подходила к спуску. Марфа что-то заворочалась, закашляла, и в этот момент он успел шепнуть Насте: — Не бойся ничего, выручу, завтра расскажу.— И в ту же минуту вскочил на сиденье, взял у Семена вожжи — начинался спуск.

Спускаясь под хребет, Егор сдерживал лошадей, не давая им разбежаться, хотя почти в половине спуска вновь увидел погоню. Выскочив на хребет, парни спешились и под гору, с лошадьми в поводу, бегом продолжали погоню.

«Правильно делают! — глядя на парней, одобрительно подумал Егор.— И спины коням не собьют и отдохнуть им дадут».

Под хребтом парни на бегу вскочили в седла, погнали коней во весь опор. Расстояние между ними и тройкой сокращалось с каждой минутой. Но это потому, что Егор не дал еще тройке полного разбега. Только когда передний всадник — на вороном с прозвездью коне — уже настигал кошеву, Егор ослабил вожжи.

— Грабя-я-ят! — пронзительно диким голосом крикнул он, подражая барышнику цыгану Проньке, и тройка понеслась как вихрь по степи.

Егор уже не сидел, а, чуть склонясь, стоял в передке кошевы, вытянутыми вперед руками держа вожжи. Ветер бил ему в лицо, полы дохи трепыхались за спиной, как крылья большой птицы.

Он знал, что парни далеко отстали, но лошадей не сдерживал, а даже понукал их и ликовал, охваченный азартом быстрой езды.

И казалось Егору, что Ястреб, широко раскидывая задние ноги, все еще не в полную силу развил свою стремительную рысь, хотя пристяжные вытянулись в струнку и, быстро работая ногами в бешеной скачке, еле поспевали, чтобы не отстать от коренного. А Егору все еще казалось мало.

А ну еще, еще... жми!..— чуть слышно, одним лишь духом понукал он, склонившись над передком кошевы, и сердце его трепыхало от восторга.

Опомнился Егор, лишь когда мимо промелькнули ворота поскутины. Откинувшись назад, натянул вожжи, по улице вплоть до дома ехал шагом.

ГЛАВА VII

В доме Пантелеевых еще не спали. Савва Саввич, принарядившийся в черную сатиновую рубашу и штаны с лампасами, встретил Настю в коридоре.

— Здравствуйте, мои дорогие, здравствуйте! — медовым голосом приветствовал он невесту и Семена с Марфой.— С приездом вас, все ли в добром здравьице?

Приветливо улыбаясь, Савва Саввич так и сыпал словами: расспрашивал о здоровье, хорошо ли было ехать, не холодно ли было? Он сам помог Насте снять доху и черную, из романовских овчин, шубейку.

В коридоре появилась Макаровна.

— Вот она, наша невестушка-то! — И лунообразное, рыхлое лицо Макаровны расплылось в довольной улыбке.

— Это мамаша будет твоя,— Савва Саввич легонько подтолкнул Настю навстречу Макаровне.— Прошу любить да жаловать.

— Здравствуй, милая! — Макаровна трижды поцеловала Настю, взяла ее за руку и в сопровождении Марфы повела в горницу.

А в это время раздевшийся последним Семен прошел в свою комнату. То ли от быстрой езды, то ли напуганный погоней, он почувствовал себя плохо, на вопросительный взгляд отца ответил:

— Устал, отдохну немного.

Обширная горница, куда Макаровна привела Настю, была приготовлена для встречи дорогих гостей. Большой круглый стол посредине комнаты обильно заставлен тарелками с холодной закуской, паром курилась фарфоровая миска с пельменями, на широком подносе горкой наложены шаньги, крупитчатые калачи, пышные оладьи и слоеные пироги. Рядком выстроились четыре бутылки с водкой, запеканкой, рябиновой и вишневой наливками.

Ярко освещенная висючей лампой-«молнией», горница представляла собою большую квадратную комнату с четырьмя

окнами и печью-голландкой. Насте редко приходилось бывать в домах зажиточных людей, поэтому она с любопытством рассматривала богатую обстановку: отливающие лаком столы на гнутых ножках, венские стулья, буфет со стеклянными дверками. «А посуды-то там какое множество!» — подивилась про себя Настя и перевела взгляд на большое, во весь угол, зеркало в раме с вычурной резьбой. Ничего не ускользнуло от любопытных глаз Насти: ни кружевные занавески на окнах, ни фотографии на стенах в черных и коричневых рамках, ни блестящие позолотой иконы на божнице. Но больше всего понравились ей громадные, во весь простенок, часы с медными гириями и круглым маятником величиною с блюдо. В верхней части часы походили на домик с чердачным оконцем под крышей. Оттуда, когда часы отбивали время, выглядывала и, как живая, куковала кукушка.

Все это — богатый дом, любезное обхождение стариков и особенно красавец жених — нравилось Насте, и в душе ее теплилась радость.

«Хорошо получилось, слава тебе, господи! — думала она, с благодарностью глядя на улыбающуюся ей Марфу. — Мало того, что богатые, да еще и добрые, видать, люди-то, особенно сам старик, как родной отец. Да и мать-то вон какая приветливая, не то что моя мачеха. Вот и Семен не только пригожий собой да статный, а, наверное, и ласковый такой же. Конечно, в кого же ему плохим-то быть? Но где же он, неужто коней распрягает так долго? А это что за человек ехал с нами, коротышка такой горбатенький, брат, что ли, Семену? А похож-то на него, как воробей на сокола».

— Кушай, моя голубушка, кушай,— усердно угощала Настю Макаровна.— Вот пельмени горячие, поешь, скорее согреешься.

Савва Саввич, благодушно улыбаясь, принялся наполнять водкой рюмки. Насте налил красной, тягучей, как мед, запеканки.

— Так вот и живем, невестушка наша желанная. На жизнь мы, тово... не жалуемся. Хватает всего, слава всевышнему.

— Вот и я ей то же самое сказывала,— согласно кивая головой, поддакивала Марфа и, обращаясь к Насте, добавила: — Теперь сама видишь, милая, что сущую правду тебе говорила. Уж заживешь, моя милушка, в добре да в довольстве, как сыр в масле кататься будешь.

— Полной хозяйкой станешь,— в тон Марфе вторил Савва.— Нам-то, старикам, много ли надо теперь? Все это ваше

будет с Семеном — знай распоряжайся да умеи хозяйничать.— И, полуобернувшись к двери, крикнул: — Семен! Чего ты там, подходи к столу!

— Сейчас! — донеслось из комнаты напротив, и в дверях показался тот невзрачный человек, который ехал с ними из Сосновки.

Настя с недоумением посмотрела на него, подумала: «Что такое? Два, что ли, у них Семена-то?»

А он, приглаживая рукой рыжеватые волосики на тыквообразной головке и как-то виновато улыбаясь, подошел к столу, сел рядом с Настей. Савва Саввич расставил перед всеми наполненные рюмки, чокнулся.

— Ну, сынок, с удачей тебя, с невестой красавицей! — И, подняв свою рюмку, закончил: — Дай вам бог любовь да совет.

Кровь бросилась Насте в голову, застучало в висках. Меняясь в лице, откинулась она на спинку стула.

— Бож-же ты мой! — с ужасом прошептала она, только теперь поняв, как обманули ее Марфа и тот высокий чубатый парень, которого приняла за жениха. Мельком взглянув на тщедушную фигурку Семена, Настя перевела взгляд на Марфу, и в душе ее закипела обида, спазма схватила горло, туман застал глаза. Не помня себя, вскочила она со стула и, чуть не бегом ринувшись в соседнюю комнату, ничком повалилась на диван.

Марфа поспешила за нею следом.

— Что это ты, моя милушка, господь-то с тобой! — зачестила она скороговоркой, опускаясь на диван рядом с Настей.

— Уйди, проклятая! — приподнявшись на локте, Настя обожгла сваху ненавидящим взглядом.— Ты за кого меня сманила, обманщица? Уйди лучше, пока я глаза твои бесстыжие не выцарапала! — И снова, рыдая*, уткнулась головой в диван.

Марфа вернулась в горницу, старикам пояснила:

— Девичье дело, известно, своя сторона на ум пала, вот и всплакнула. Ничего-о-о, пройдет, девичьи слезы — что роса в поле: взойдет красно солнышко — и нет ее.

Много пролила слез Настя в эту памятную ей ночь. Уже несколько раз из горницы доносился хрипловатый звон часов с кукованием чудесной птицы... Вот опять четыре раза кряду прокуковала кукушка, а Настя все еще не спала, так и не прикоснувшись к подушке и одеялу, заботливо подложенным Марфой. Раза два в комнату заходила Макаровна, пыталась утешить, и все напрасно.

«Что же мне делать теперь, что делать?— в который раз спрашивала себя Настя.— Домой бежать никак нельзя, ма- чеха сживет со свету, и от людей стыд, а выйти за этого... еще хуже. Боже ты мой, одно остается: петлю на шею либо в про- рубь головой.— И снова слезы, а наплакавшись, опять думала о том же самом, при этом часто вспоминала и Егора. Кто он, этот бессовестный парень? Его, этого подлеца, убить мало за такой обман.— Ох, заказать бы Степану, может, придет, возьмет меня к себе, вызовет из беды?» Мысль о Степане при- несла Насте хотя небольшое, но все-таки утешение, в душе ее затеплилась маленькая надежда, и с этой мыслью она заснула перед самым рассветом.

Проснувшись Настя, когда в комнате, где она лежала, стало совсем светло. Заледеневшие окна порозовели, куржак на стек- лах искрился в лучах восходящего солнца. В доме тихо, лишь слышно, как на кухне кто-то, вероятно Макаровна, ходит ти- хонько, побрякивая посудой.

Настя поднялась с дивана, увидев в коридоре на вешалке свою шубейку, надела ее, вышла на веранду и вдруг в ограде увидела того парня, которого вчера приняла за Семена.

В этот день Савва Саввич вместе с Семеном чуть свет уехали в Сосновку, к отцу Насти, Федору Чмутину, за бумагой. Рабо- тники не поехали в лес, занялись пилкой дров, что огромным штабелем были сложены в углу ограды.

Егор еще утром рассказал Ермохе о своем намерении от- бить у хозяйского сына невесту. За годы работы Егор подру- жился со старым казаком Ермохой, всегда советовался с ним и поверял старику свои маленькие тайны. На этот раз, выслушав Егора, старик отрицательно покачал головой:

— Не дело затеваешь, Егор, наживешь себе беды.

— Это почему же такое?

— Да потому, что Шакал не позволит, чтобы свой работник да его же сына осрамил. Он тебя за это самое сырого съест. Такую бучу поднимет, что чертям тошно станет. И ты об этом даже не думай.

Егору совет Ермохи не понравился. Впервые за все время дружба разошлась во мнениях.

Сердась один на другого, работали молча, распиливая на чурки толстые, пахнувшие смолой сосновые и лиственничные кряжи. Под умелыми руками их широкая пила, хорошо нато- ченная Ермохой, ходила плавно, с легким звоном вгрызаясь в дерево и целыми пригоршнями выбрасывая по обе стороны желтоватые опилки.

«Так вот где он, подлец-то этот, губитель проклятый!» — о злобой подумала Настя, глядя на работающего Егора, и, -торопливо сбежав по ступенькам крыльца, она прямоком на- правилась к работникам. Увидев Настю, Егор выпрямился, выпустил из рук пилу, пошел было к ней навстречу и остано- вился. Разгоряченное, красное, как кумач, лицо и гневный взгляд Насти не сулили ему ничего хорошего, а в правой руке ее он заметил увесистое, обледенелое на концах коромысло.

— Настасья, я...

— Ты... ты что наделал? — не слушая Егора, зло выкри- кнула Настя, подступая к нему ближе.

— Да ты послушай...

— Смапил меня за урода, обманщик проклятый!

— Настюша...

— Замолчи, продажная душа! Ты что, за деньги жизнь мою загубил, подлечина? — Настя замахнулась, и не успел Егор отпрыгнуть в сторону, как почувствовал, что по шее его будто полоснули ножом. Из раны на полушубок брызнула кровь.

— Ты что же это, Настасья, выслушай хоть! — взмолился Егор, правой рукой зажимая рану. Настя, не слушая его, бросила в сторону коромысло и убежала обратно в дом.

— Ну как, получил по заслугам? Так тебе и надо, жених непутевый, не садись не в свои-то сани,— ругался Ермоха, осматривая небольшую рваную ранку на шее, под левым ухом Егора.— Это она тебя гвоздем зацепила, каким крючок приби- тый. Пойдем в зимовье, перевязать надо, а то на кровь изой- дешься на морозе-то.

И этот и весь следующий день Егор ходил угрюмый, с трудом ворочая шеей, забинтованной тряпками и шерстяным шарфом. Он томился оттого, что в эти дни видел Настю раза два мельком, но не смог поговорить с нею, объяснить ей свой поступок в Сосновке и все, что творится у него на душе. Поговорить с Нас- тей удалось ему лишь на третий день, когда они снова пилили с Ермохой дрова. Настя вышла из дому в такой же легонькой черной шубейке и в пуховом платке. Не глядя на работников, прошла она мимо к поленнице, принялась набирать в беремя дрова. Егор подошел к ней с топором в руках.

— Дай поколю помельче,— сказал он, не зная, с чего начать разговор, и, встретившись с Настей взглядом, увидел на глазах ее слезы.

Обманщик бесстыжий! — со злобой сквозь зубы про- цедила она, еле сдерживаясь от подступающих к горлу рыданий.

— Не обманывал я тебя,— торопливо, полушепотом заговорил Егор.— То есть обман-то был, конечно, только... не так, как ты думаешь... Я хотел сказать, да как увидел тебя, и сам не знаю, что со мной случилось...

— Ничего не пойму.

В это время из дому вышла Макаровна.

Егор заторопился.

— Все расскажу тебе сегодня вечером,— шепнул он, укладывая на руки Насти мелко наколотые полешки, а глазами показал ей на дальний двор.— Как стемнеет, приходи во-он к тому омету.

Настя посмотрела в сторону двора, на мгновение задумалась и, кивнув головой в знак согласия, пошла к дому.

Насилу дождавшись вечера, Егор поспешил к месту свидания. В этот вечер он еще засветло постарался управиться со всеми работами: помог Матрене убрать скотину, напоил лошадей, задал им на ночь корму и, наскоро поужинав, вышел. Ермохе сказал, что идет по делу к одному из заречных парней.

Еще не совсем стемнело, когда Егор пришел к омету. На западе тлела полоска зари, небо заволакивалось темными, мохнатыми тучами, с ингодинской стороны тянуло ветром. Егор, запахнувшийся в козлиную доху, привалился спиной к омету, прислушался. Тишина, лишь кое-где тявкают собаки да слышно, как проедет по улице, скрипя полозьями, запоздалый путник или пройдет шумная ватага парней, и снова тихо кругом, только лошади, фыркая и похрустывая сеном, нарушали ночное безмолвие.

Время от времени Егор заходил сбоку омета и принимался теребить солому, делая в ней углубление, где бы можно было в случае чего спрятаться. Солома вытеребливалась с большим трудом: омет был старый, и она слежалась в нем как спрессованная. Этот омет был заложен еще в то время, когда Егор жил у себя, в Верхних Ключах. Ежегодно к нему приметывалась солома от нового урожая, и теперь он разросся во всю длину большого двора.

Если посмотреть на омет в лоб, со стороны гумна, то он походил на большой гриб. Так подъели его понизу быки и коровы, когда загоняли их сюда во время пурги, что вдоль боков его образовались как бы навесы. Под этими навесами скот спасался и от зимней вьюги и от ранне-весенней непогоды и, вдоволь питаясь соломой, хорошо согревался. Теперь здесь Егор и ожидал Настю.

«Но где же она? Придет или не придет? — думал он, напря-

гая зрение и слух.— Неужели не придет? Не-ет, не может этого быть, придет!» — И он еще более внимательно всматривался в темноту.

Но вот там, где-то около бани или телячьей стойки, скрипнули ворота, и вскоре, присмотревшись к темноте, Егор увидел, что в соседнем дворе метнулась тень.

«Она!» — Сердце у Егора радостно затрепетало. Он подошел к воротам, открыл их и, подхватив Настю под руку, подвел ее к омету, где вырыл углубление, так что можно сесть в него вдвоем.

— Говори живее! — Настя оглянулась вокруг, поправила на голове платок. — Не хватились бы там да не пошли искать!

— Настюшка! — Егор накинул ей на плечи доху, усадил ее в солому, сам сел рядом.— Не пришлось рассказать тебе всего. Слушай теперь. Я не обману тебя, всю правду расскажу. Тогда, как увидел тебя, и от ума отстал, полюбил сразу. Сроду так со мной не бывало. Настюша, бежим со мной!

— Как это бежим? Куда?

— Ко мне домой, в Верхние Ключи, сорок верст отсюда. Там у меня мать, брат моложе меня на три года. Живем мы, прямо скажу, бедно, домишко имеем, огород, корову с теленком, да вот коня я заработал строевика, вот и все наше хозяйство. Сам я в работниках здесь нахожусь. Теперь решай сама, а я с тобой, Настасья, начистоту, без обману: ежели согласна, махнем отсюда, повенчаемся — и все в порядке. А богатство, я так думаю, дело наживное.

— Да черт с ним и с богатством, я на него сроду не зарилась. А уж о том, согласна ли я?... Господи! — Настя, помолчав, глубоко вздохнула.— Ведь я тебя и считала женихом-то! А как увидела, за кого выхожу,— маменька родимая, чуть с ума не сошла! Ведь подумать только, что я наделала? Домой нельзя вернуться, а выходить за этого урода еще страшнее, одно остается — руки наложить на себя. Все эти ночи не спала, плакала и тебя всего прокляла, думала, что ты заодно с ними обманывал меня. А теперь-то я поняла, в чем дело.

— Значит, бежим?

— Хоть завтра, только подальше отсюда.

— Настюша! — Егор привлек к себе девушку, ловил глазами ее взгляд и целовал ее ставшие податливыми губы.

— Хватит! — Настя легонько отстранила Егора.— Ты о деле-то говори, ведь уходить пора.

— Завтра, Настюша, как приедем из лесу, потребую у хозяина коня своего. Скажу, что обучать его надо, к службе ла-

лечь. Ну, а сани, сбрую выпрошу у Архипа Лукьянова и вечером скажу тебе. Ты завтра-то придешь сюда?

— Приду.

Только пораньше, Настюша. Сегодня чуть не насквозь промерз, пока дождал тебя.

— Ладно, а теперь оставайся здесь, я пойду, и так задержалась долго.

Егор проводил ее до ворот, поцеловав на прощанье, долго смотрел ей вслед и, вернувшись к омету, еще посидел на том месте, где только что сидел вдвоем с Настей.

Выбирать коня Егору помогал Ермоха. Это было дня через три после первой встречи Егора и Насти у омета.

На просьбы **Егора** выдать ему заработанного коня хозяин только сегодня дал согласие, очевидно, потому, что работники привезли из лесу на редкость хорошие, сухостойные дрова. Обрадованный Егор сразу же после обеда потянул за собой во двор уставшего от работы Ермоху.

Конский молодец, как всегда, находился особо от рабочих и выездных лошадей. Тут и годовалые жеребята-стригунки, двухлетние и старшие кобылки, и молодые кастрированные жеребчики. Вместе с молодецком находилась и старая хромая кобылица — мать многих молодых и уже рабочих лошадей. Кобылица эта еще в ранней молодости изувечила себе заднюю ногу, она не сгибалась у нее в колене, хромая кобыла гуляла целое лето, да и зимой она не знала хомута, и держал ее хозяин за то, что уж очень хороших жеребят рожала она и выращивала ежегодно.

Как только работники вошли во двор, молодец забеспокоился, шарахаясь по сторонам, жеребята жались к изгороди, грудились по углам и, пугливо озираясь на людей, прядали ушами. Посредине двора осталась лишь хромая кобыла, но и та, перестав хрустеть сеном, настороженно вскинула красивую сухую головку и, всхрапывая, нервно раздувала тонкие ноздри, косилась на вошедших черным, влажно блестящим глазом.

— Я ведь из тех хотел, дядя Ермоха.— Егор кивнул на двор, где находились рабочие лошади.— Серого облюбовал, во-он, какого нынче обучали.

— Серого? — Ермоха изумленно воззрился на Егора.— Да ты, паря, в уме ли? На такую падлу раззарился?

— Чем же он плохой? Ростом два аршина, масти хорошей.

— Ростом? Тебе ведь на нем не собак вешать, а служить придется! А рази это строевик? Ты на грудь-то посмотри, ведь

она у него, как у чернела¹. Ноги длинны а туша коротка, и шея то же самое, голова, как у быка, толстая, глаза круглые. jje-ет, нет, не подойдет. Ты, я вижу, в конях-то разбираешься, к цыган в библиотеки.

— Смирный он, дядя Ермоха.

— Смирный? А ты казак али баба, которой смирного коня ^{надо} — капусту поливать? Не смирный — обучишь, он в твоих руках будет. Разговариваешь, как дитя малое, ишь, облюбовал строевика! Ты мне про этого серого лучше и не заикайся. Вот ежели хочешь, чтобы у тебя действительно конь строевой был, а не кляча водовозная, как этот серый, так послушай старика, я на худо не скажу. Вот возьми конька, во-он в углу-то стоит, гнедой. Во, видишь, голову поднял, уши наострил. Это конь, я понимаю! Смотри, до чего он длинный и весь впереду, ножки как выточенные, копыта стаканчиком, а голова! Ты на голову-то посмотри, держит-то ее как? Орел, одно слово — орел. Глаза продолговатые, умница. Грудь широкая, а шаг какой, вон он побежал... Да ты смотри, побежка-то, побежка какая? — загорячился Ермоха, хватая Егора за руку. Старик словно переродился, помолодел, бородатое лицо его порозовело, глаза искрились радостью. Очевидно, вспомнил он то время, когда был первым джигитом в сотне, не раз схватывал призы намотрах. И теперь, подогретый этими воспоминаниями, он тормозил Егора, восторженно выкрикивал, следя глазами за гнедым: — Ах ты мать твою за ногу, да на таком коне джигитовать... препятствия брать... господи ты боже мой! Переступь под ним, ей-богу, переступь, вот наплюй мне в глаза, ежели вру! Батюшки вы мои, до чего же приятственный конь!

— А выйдет ли он ростом-то?

— Не городи ерунду! Ты всмотрись хорошенько, он теперь пятнадцати вершков² будет! А вить ему три года, за год-то он смело до двух аршин дотянет, куда ж ишо, в строй пятнадцати с половиной вершков принимают. А потом ты обрати внимание на родоу, вить отец-то у него Ястреб, а мать — вот она, гнедуга хромая, он и мастью в нее пошел. Не-ет, тут, брат, без ошибки, и больше ты ни на какого коня не зарься, лучше этого гнедка и во сне не увидишь.

Егору теперь, когда он внимательно рассмотрел молодого гнедка и выслушал советы Ермохи, конь тоже понравился, но его угнетало другое: нельзя его сразу запрячь и ехать.

¹ Черпел — годовалый жеребенок.

² То есть: один аршин и пятнадцать вершков. Старинная мера — аршин — делилась на шестнадцать вершков.

«Хорош-то он и в самом деле хорош,— думал он, глядя на гнедого,— да вот беда, не смирный, на узде еще не бывал. На сером-то я хоть завтра мог уехать с Настей, а на этом куда же поедешь? Его еще обучать надо с неделю».

— Вот сколько запросит за него Шакал? — приостыв от восторгов, уже спокойно рассуждал Ермоха.— Рублей сорок заворотит, однако. Оно, положим, конь стоящий.— И хотя Егор еще не дал своего согласия, закончил, считая дело решенным: — Ты смотри, как будем рядиться, виду не подавай, что гнедко понравился, а то он, Шакал-то, обдерет тебя, как повар картошку.

Во дворе появился хозяин. В этот день он был в преотличном настроении. Дело со свадьбой шло на лад, отец невесты дал нужную для венчания бумагу, оставалось еще одно препятствие: невесте не хватало трех месяцев до брачного возраста. Но сегодня Савва Саввич уладил и это дело, уплатив попу четвертной билет. По этому случаю хозяин был весел и более, чем всегда, благодушен.

— Ну как, ребяташки? — отменно ласковым голосом спросил он, подходя ближе.— Выбрали?

— Да вот выбирали, выбирали и не знаем, которого взять,— незаметно толкнув Егора кулаком в бок, заговорил Ермоха.— Из рабочих хотели Серка взять, во-он, что возле рыжухи-то стоит, да, думаем, не по карману будет, дорогой! Вот и пришли сюда, а тут тоже нету подходящих. Рази што вон тот, второй-то с краю, гнеденский. Он, конечно, хуже серого намного, но что ж поделаешь, зато подешевле. Ну да ничего, ежели в руки взять, можно и из него сделать конишку.

— А ты, Ермоха, я вижу, тово, хитришь! — Хозяин, улыбаясь, забрал бороду в кулак, лукаво покосился на Ермоху.— Самолучшего коня выбрал и хаешь его. Не-ет, Ермоша, этот гнедко двух серков стоит. Так что он в цене-то, тово, подороже будет.

— Сколько же?

— Да уж дорого не запрошу, не возьму греха па душу. Чтобы Егору не обидно, ну и мне, значит, тово... не убыточно было, пять красеньких возьму.

— Пятьдесят рублей! — меняясь в лице, ахнул Ермоха.— Да ты што, всурьез? Вить это что же... это же грабеж... Ты подумай, с кого берешь-то? Совесть-то надо поиметь.

— Ты пойми, Ермоша, ведь гнедку-то этому цены не будет, как он, значит, тово... в года-то войдет.

— Эх, хозяин! — голос Ермохи дрожал от обиды.— Грех

тебе так обижать человека. Вот ты сказал, что твоему гнедку цены не будет, а ему? — Ермоха ткнул рукою в грудь молча стоявшего рядом Егора и, наливаясь злобой, повысил голос:— Ему какая цена будет? Не гнедку твоему, а вот ему цены-то не будет! Только ты не ценишь этого, а вот уйдет Егор на службу, попробуй найти другого такого-то! Совесть в тебе, прямо скажу, па вершок нету. Я не поп, молчать не буду.

— Ну зачем же такие слова, Ермоша? Нехорошо это. Сердиться тоже не надо, и зря ты говоришь, что я не ценю Егора. Очень даже ценю. Кому другому так гнедка-то я бы, значит, тово, и за три четвертных не отдал, а вот Егору за две отдаю.

Егор не принимал в торге никакого участия, молча наблюдал, как за него с хозяином рядился Ермоха, спорил, ругался, словно Егор был ему родным сыном. Но как он ни старался, Савва Саввич упорно стоял на своем, и обозленный Ермоха, поняв, что хозяина не пронять никакими словами, плюнул с досады и, махнув рукой, согласился.

Если бы кто посмотрел на спорщиков со стороны и послушал их, он крайне удивился бы, как дерзко ведет себя Ермоха, разговаривая с хозяином как с равным, без всякого почтения спорит с ним и даже ругается, нисколько не стесняясь в выражениях. А терпел все это Савва Саввич потому, что был Ермоха на редкость добросовестным и трудолюбивым работником. Пробыть без работы хотя бы один день было для Ермохи сущим наказанием. Такой день казался ему утомительно длинным, и он скучал, изнывая от безделья, не зная, куда девать свои охочие к работе руки. А такие дни бывали в дождливое время И на пахоте, когда нельзя работать на быках, чтобы не попортить им шеи, и в сенокос, когда и хозяева и работники, радуясь отдыху, похрапывали в балаганах. Ермоха же и во время дождя находил себе работу: то он таскал из колка дрова, делая запас, чтобы не бегать за ними в горячую пору, то принимался строгать вилы или мастерил из бересты туюски и другую совершенно ненужную ему посуду. До Ермохи Савва Саввич в зимнее время сам поднимался задолго до света, чтобы разбудить батраков и вовремя отправить их в лес. С появлением в хозяйстве Ермохи эта необходимость отпала, он не нуждался в понуканиях, никогда не просыпал и в лес выезжал всегда раньше других. Вот почему и терпел Савва Саввич этого трудолюбивого, бесхитростного батрака и делал вид, что не обращает внимания на его ругань и упреки, которые частенько высказывал ему в лицо грубоватый, прямолинейный Ермоха.

И у себя в зимовье весь этот вечер старик проклинал хозяина, ругал его самыми последними словами. Поужинали, Ермоха вышел из-за стола, извлек из кармана кисет.

— Гад бессовестный! — вновь принялся он костерить хозяина, набивая табаком трубку. — Целую десятку схватил лишку, чтоб ему подавиться, Шакалу проклятому!

— Черт с ним, дядя Ермоха, — утешал старика Егор. — Ему уж не привыкать мошенничать, пусть хватает себе на гроб, может, и верно подавится.

— О-о, я бы тогда рублевую свечу поставил Миколаю-угоднику ото всей бедности. Только не-ет, где уж там, не дойдет до бога наша молитва. Да-а, вот, брат, как ценят нашу работу, им хоть в лепешку разбейся — и все ни во што. Только и есть утешения: хоть переплатили, но уж есть за што, уж конь-то, ко-онь!

И после того как Егор ушел на свидание с Настей, Ермоха еще долго сидел, курил и то, горестно вздыхая, жалел Егора, то вновь принимался ругать хозяина.

— Жалко мне Егора, — сетовал он, обращаясь к Матрене. — Хороший он парень, и работник отменный, и душа добрѣцкая, обидел его Шакал, чтоб ему подохнуть. Жалко, што не умею я делать во вред, а то бы навредил ему за Егора, уж я бы насолил Шакалу!

— Не знаю, дядя Ермоха, — засмеялась Матрена, — што-то даже не верится, чтобы ты мог насолить ему.

— То-то што карахтер у меня ни к черту не годный, душа не поднимается худо сделать. Да и как его сделать-то, чтобы досадить Шакалу? Веза поменьше налаживать, когда по дрова или по сено поедом? Оно бы неплохо — и нам полегче и Шакалу убыточнее, так ведь от людей будет совестно с маленькими возами ехать. Засмеют. То же самое и на другой работе. Не-ет, девка, не способен я на такие дела. Вот разве когда напьюсь да нафитилю ему, гаду паршивому, как следует, только на это и надежа. Уж пьяный-то я на нем отыграюсь. Трезвый-то хоть и ругаю его, да, должно быть, не так здорово, а пьяного он меня даже боится.

— Ты и пить-то, дядя Ермоха, вроде перестал.

— Оно хоть все-то и не перестал, а так, можно сказать, остепенился. Да ежели и запью, то ненадолго — денька два-три, много неделю погуляю, нагоняю Шакалу страху, да и опять за работу. А раньше-то, бывало, по месяцу пил, одежду с себя пропивал...

В этот вечер Ермоха разговорился больше обычного: он

знал, что когда поспорит с кем-либо, поволнуется, то ему долго не уснуть, и, чтобы успокоиться, он отводил душу в разговорах. Кстати, Матрене сегодня нельзя уходить домой, она уже две ночи, не раздеваясь, чутко дремала на лавке и часто ходила в стайку, где должна отелиться хозяйская корова. После ужина Матрена понаведалась к корове и теперь, чтоб не дремать, вязала пестрый чулок, охотно поддерживая разговор с Ермохой.

— Смотрю я на тебя, дядя Ермоха, и прямо-таки диву даюсь. — Быстро мелькая спицами, Матрена пытливо посмотрела на Ермоху. — Робишь ты, робишь всю жизнь, а ни на тебе, ни перед тобой ничего не видно. Куда же ты деньги-то кладешь? Ты их, однако, столько накопил...

— ...што черт на крышу не забросит, — вынув трубку из рта, подсказал Ермоха, и впервые за весь вечер лицо его озарила улыбка.

— А што, и верно, ты же один как перст. Вот и пить, говоришь, перестал, так што никаких расходов не производишь. Поди, хочешь подкопить да сразу на хозяйство стать?

— Какое уж там хозяйство! — Ермоха безнадежно махнул рукой. — Моложе-то был — пробовал. Так же вот жил-жил в работниках, да и надумал хозяйством обзаводиться. Старуха ишо жива была, избенка своя, корову завел, кобылу... «Ну, думаю, теперь заживу — сам себе хозяин». А как до дела-то дошло — и пшик из меня получился.

— Как же так?

— А так, што привык я сызмалолетства в больших хозяйствах робить, а в маленьком-то у меня ничего не получилось. Весной сеять надо, а што я на одной кобыленке сделаю? Ничего. Спарились мы такие три архаровца вместе, набрали коней на соху, начали сеять, ну и какая же это работа? Слезы. Вспомню, как у богача-то: заложишь пары три-четыре быков в соху и воротишь чуть не в колено глубли, сразу же и сев идет и бороньба на свежую пахоту. А мы што же? Пашем мелконько, а пока до бороньбы дело дойдет — на этих же конишках, — пахота-то уж вся просохнет. Ну, известно, какой урожай может получиться от такой пахоты? Да и много ли мы можем спяхать на три хозяйства в одну-то соху? Вот и много ее, земли-то, а што толку? Время подошло пары пахать, богачи залогии из целины поднимают, а мы все на старых, пыреем заросших пашнях копаемся. Откуда же ему, урожаю-то, быть у нас? А сенокос подошел — еще хуже получилось. Тоска задавила: как вспомню, когда у Волгиных работал, так сердце и защежит. Там нас выезжало на покос-то человек восемь-девять, вот шла ра-

бота — действительно! Оно, конечно, нам, работникам-то, от этого пользы как от быка молока, но я к тому говорю, што веселее да вроде и легче робить па народе-то, потому как привык я все время на людях. А как очутился один-то... Вот поди ж ты: и на своей работе, а затосковал. Известное дело — один в поле не воин.

Ермоха замолчал, поникнув головой, долго смотрел в дальний угол зимовья.

— Что же дальше-то было? — спросила Матрена.

— Дальше? — Старик вынул изо рта трубку, мундштуком ее разгладил усы. — А то и было. Промаялся я все лето. А зима подошла — тут и вовсе. В ту зиму понял я всю эту арифметику, что никак нашему брату-работнику не выбиться из нужды. Ну сама подумай. Вот теперь мы ездим в лес-то двое на восьми лошадях, шуточное дело! Из лесу выедешь — не то што рубаха, шапка смокнет от поту, всю силенку выжимает из нас Шакал кажин день, а платит гроши. Кабы вот так же я смог в своем хозяйстве поработать! Так опять не на чем. И что же я, взрослый, здоровый человек, отправляюсь в лес на одной лошаденке, аж стыд по улице ехать, дела не делаю и от дела не бегаю. Так вот всю зиму и проволынил, пень колотил да день проводил, вот оно в чем дело-то.

И вот опять весна подходит. «Ну, думаю, с посевом у меня не получается дело, надо что-то другое придумывать». Посоветовался со старухой да и решил на прииска податься. Долгая история рассказывать про эти прииска, словом, там-то я и вовсе разбогател: туда-то я уехал на кобыле, а оттуда прибыл осенью к старухе пешком, без единого гроша в кармане и голоднее церковной мыши. Хорошо еще, што должность мне вскоре подвернулась, в ледяные начальники произвели — проруби чистить на водопое, зиму-то кое-как прокормился на них со старухой, а к весне снова в работники откомандировался. Вот какой он получился из меня хозяин, как из собачьего хвоста сито. Не-ет, девка, насмотрелся я на эти примеры, так што уж отведи бог морокком такое удовольствие.

— Так и будешь всю жизнь в работниках?

— Не-ет, где же там! Я-то бы и рад жить, так кому же я нужен буду нахлебником-то? Тот же Шакал наш, пока работаю он ласковый со мной, даже когда ругаю его — не сердится, как увидит, что остарел, не пригож стал к работе, сразу же за ушко да па солнышко. Уж я-то его, гада ползучего, знаю, изучил досконально, он меня дня лишнего не прокормит, это уж как бог свят.

Худо дело, девка, самое страшное для нашего брата, одинокого, старость! А у меня она вот-вот, не за горами, мне ведь с успенья шестьдесят четвертый идет. Был серко, да изъездился. Пока молодой был да здоровый, и люди во мне нуждались и царю я запонадобился, служить ему заставил, а состарился человек — и никому до него дела нет. А што стоило хотя бы и царю издать такой приказ: дескать, так и так, одиноким старикам, какие мне верой и правдой служили, выдавать из казны каждому ну хотя бы рубля по три в месяц на харчи. Оно бы для царской-то казны не так уж и накладно было бы, много ли нас таких наберется? А ведь денег ему со всей-то матушки Расеи возами небось возят! Нисколько бы он не обеднял от такой помощи, ему это што капля в море, а мы бы радехоньки были и до самой смерти за него бога молили бы. Только он сроду не догадается так сделать, и подтолкнуть его на доброе дело некому. В сенат, где законы-то пишут, нашего брата, из простого народа, за версту не допустят, потому што там князья с графьями заседают. А им-то, ясное дело, што за нужда о каких-то стариках никудышных заботиться, — сыт голодного не разумеет. Они не то што помочь, а ишо такие законы выдумляют, как бы содрать с нашего брата побольше да себе урвать — своя-то рубашка ближе к телу. Так оно и получается, и волей-неволей отправляется раб божий старик со святым кошельком по окаянному миру, а для меня это острый нож. Я лучше с голоду подохну, чем пойду христардничать.

Ермоха опять надолго замолчал. Матрена, отложив в сторону чулок, ушла во двор проведать корову. Когда она вернулась в зимовье, старик уже лежал на нарах. Однако уснуть ему никак не удавалось, он долго ворочался с боку на бок, крихтел и наконец, закулив трубку, сел на постель и снова разговорился с Матреной.

— Тут, в Антоновке, есть у меня знакомец, Филипп Иванович Рудаков, — хор-роший человек. Попервости, как заявился я в Антоновку, у него и жил и харчился больше месяца, а он с меня и копейки не взял. А ведь совсем мне был незнакомый и небогатый человек. Вот оно как: друзья-то, они в беде узнаются. С той поры и подружился я с ним. На праздниках иду к нему как домой. Так у нас и пошло. Пристигла Филиппа нужда: среднего сына Ивана обмундировывать пришлось... Тут я ему помог крепко... И до се помогаю и деньгами и хлебом, какой от присевка получаю. Зато уж как старость подойдет, прогонит меня Шакал, — а оно так и будет, — приду к Филиппу или сыну его Ивану, и знаю, что не прогонят старика, прокормят до смерти и

похоронят, как положено по хрестьянскому обычаю. Вот, девка, куда я заработок-то свой деваю, а хозяйство заводить — где уж нам с суконным рылом да в калашный ряд лезти. Вот она, жизнь-то наша какая,— к ней жмись, а она корчится.

ГЛАВА VIII

В лес, как всегда, Ермоха с Егором выехали задолго до рассвета и, когда солнце подошло к полудню, уже ехали обратно с бревнами. Спустившись с каменистого, заросшего лесом хребта, поехали широкой долиной. По укатанной, глянцец отливающей дороге сани катились бесшумно, лишь бревно глухо постукивали на ухабах и выбоинах, выщербленных копытами лошадей посередине дороги. День, как обычно, ясный и морозный, под солнечными лучами искрится снег на еланях, а в долине сизой дымкой курится туманная изморозь.

Под хребтом Ермоха накинуд поверх полушубка доху и, усевшись на бревно передней подводы, вынул из-за пазухи большой пшеничный калач. Ермоха, так же как и Егор, калач, захваченный из дому, положил за пазуху, где тот оттаял во время работы, и теперь старик принялся за него с великим удовольствием.

Щелкая кнутом, Егор погонял приотставших лошадей и стороной, по колено проваливаясь в нетронутый снег, обгонял их. Поравнявшись с передними санями, пошел дорогой рядом с Ермохой.

— Маловато хлеба взял сегодня,— доев калач, пожалел Ермоха.— Сейчас, кажется, целую ковригу съел бы. И до чего же он вкусный в лесу-то

— Еще бы! Ежели до вечера не поисть, он еще бы вкуснее показался,— рассмеялся Егор и, помолчав, заговорил о другом: — Я сегодня думаю гнедка приняться обучать. Наикрючить¹ его поможешь мне?

— А чего тебе приспичило так рано? Подожди до масленицы, как все люди делают. Тогда и дни подольше и потеплее будет возиться с ним.

— Мне теперь надо, я его хочу в сани позапрягать сначала.

— В са-а-ни! Здорово живем! Ты што, новую моду показать хочешь, служить-то на саних поедешь? То-то оно, джигитовать

¹ И к р ю к — ременная или веревочная петля, которую при помощи длинной палки накидывают на шею дикой лошади. Икрючить — ловить икрюком.

то на них куда способнее.— Ермоха, неодобрительно качая головой, покосился на Егора.— Голова садовая! Добрые люди строевика первым делом под верхом объезжают на масленице, а у тебя все как-то не по-людски! Чудак, право слово, чудак!

— Эх, дядя Ермоха, ничего-то ты не знаешь. Я и сам хорошо понимаю, что его надо бы под седлом сначала объездить, я так и сделаю, время придет. А сейчас мне крайне надо в саних его обучить, чтоб поехать на нем можно было.

— Еще не лучше! Куда ж ты ехать-то на нем собираешься? По дрова аль к теще на блины?

— Тебе все смешки, а мне до зла горя.— И, не глядя на Ермоху, краснея от смущения, признался: — Жениться я задумал, ежели хотишь знать. Настя за горбача выходить не хочет. Вот мы и сговорились уехать с нею ко мне домой, а там поженимся, да и всего делов.

— Ты што, сдурел? — хлопнув себя рукавицами по бедрам, Ермоха уперся в Егора негодующим взглядом.— Ты опять-таки за то же самое? Ах ты, мать твою под курятницу! Ну, Егорка, наскребешь ты на свой хребет! Ты со своей ухваткой таких плетей разживешься, што на спине у тебя репу сеять можно будет.

— Чего же особенного-то? Ты-то чего взъярился? — Обозлившись, Егор осмелел и, взглянув на Ермоху, столкнулся с ним взглядом.— Кабы ты хоть понимал в этих делах чего-нибудь! Любовь у нас с Настей возгорелась, а Сеньку она и через порог видеть не хочет, вот как. И нету таких законов, чтобы силой венчать людей, это дело любовное.

— Ты пойми, дурачина, никто не дозволит сделать так, как ты задумал! Такие законы подберут, што тебе и в тюрьме-то мало места будет.

— Ну уж это ты такого лишку хватил, што ни в какие ворота не лезет. Что же я, человека убил али ограбил кого? Ведь за то, что полюбили друг дружку да поженились, в тюрьму не сядят и не судят даже, хоть кого спроси.

— Поженились? В том-то и дело, дурья голова, что пожениться-то вам не придется, не дозвоят этого.

— Да раз мы оба в согласии, кто же это пам запретит?

— Люди, вот кто не дозволит. Во-первых, отец Настин бумагу не даст на венчание, раз он ее Сеньке Шакалову выдал, а какой же дурак венчать-то вас будет без отцовского согласия? А там, глядишь, мамаша твоя тоже не захочет, чтобы ты с девушкой жил, какую у другого отобрал, да еще и невенчаный. Это вопче не полагается. Так оно и пойдет на колесо. А самое-то

главное, Егорушка,— Шакал. Ты про него-то хоть подумал? Ведь вы с Настей еще доехать не успеете до ваших Ключей Верхних а он уж у станишного атамана гостить будет, чокаться с ним будет, выпивать и про тебя расписывать. Вот как оно получится. Шакал, если потребуется, всю станишную власть на ноги подымет, и Настю отберет, и тебя на суд вытяпет. А мысленное дело тебе с Шакалом судиться? За него все власти горой встанут, а за тебя кто? Настя? Так ее, мил человек, и спрашивать-то не будут, потому што курица не птица, баба не человек. А уж тебя-то так причешут на суде, што ты и внукам закажешь, как чужих невест отбирать! Не зря говорится: с сильным не борись, с богатым не судись. Это, брат, совершенная правда, потому што из жизни взято.

— А правильно это будет? Скажи-ка вот.

— Мало ли што! Нам много чего неправильным кажется, да вот беда-то в том, што нас с тобой не спрашивают, што правильно, а што нет. Так што самое лучшее — выкинь всю эту дурь из головы, спокойнее будет. А то и себе беды наживешь и Настю вконец обесславишь.

В ответ Егор лишь тяжело вздохнул и, потупив голову, молча шагал рядом. Слова Ермохи камнем ложились ему на сердце, и как ни тяжело, а приходилось признавать, что старик прав, что мечтам Егора жениться на Насте не суждено сбыться. И от мысли, что любимая девушка достанется другому, в душе Егора ключом клокотала обида.

А Ермоха уже совсем спокойно продолжал долбить свое:

— И чего она тебе задалась, эта Настя? Скажи на милость, как будто на ней и свет клином сошелся и девок кроме ее не стало. Вот подожди, отслужишь четыре года, возвратишься домой живой-здоровый и такую девушку отхватишь, что еще и получше этой будет. А Настя что же — есть квас, да не про пас, и нечего на нее зариться понапрасну, а забудь про нее, и будто век не видел.— Ермоха оглянулся на лошадей, что далеко поотстали.— Ты и про коней-то позабыл, жених! Иди-ка лучше подгони их, во-о-он они растянулись чуть не на версту.

После разговора с Ермохой Егор весь остаток дня ходил сам не свой, а вечером, едва стемнело, поспешил к омету. Вскоре туда пришла и Настя. За это время она познакомилась с дочерью соседа Пантелеевых, такой же черноглазой, приветливой девушкой Аней, часто стала ходить к ней и, уверившись в дружбе, порядочности новой подруги, поведала ей свою тайну. Аня также частенько стала бывать у Пантелеевых и, уходя домой, приглашала к себе Настю. Поэтому, уходя на свида-

ние к Егору, Настя сначала шла к Ане, от нее обе девушки уходили будто бы еще к какой-то подруге, и только после этого Настя, через проулок, по задам, пробиралась к омету. Действуя так, она могла видаться с Егором каждый вечер и была уверена, что Аня их не выдаст, если Савва Саввич или кто-либо из Пантелеевых вздумает проверить, куда по вечерам ходит Семенова невеста.

Егор, встретив Настю, помог перебраться ей через изгородь, молча крепко поцеловал ее, молча прошел с нею к омету и, усадив на солому, сел рядом, обнял за плечи\

— Ты что это сегодня какой-то вроде печальный? Заболел, что ли? — с тревогой в голосе спросила Настя, заглядывая Егору в глаза и чутьем угадывая недоброе.

— Эх, Настюша, кабы только заболел, так стал бы я так печалиться? А тут оно хуже во сто раз всякой болезни.— Егор тяжело вздохнул, в душе его с новой силой закипела обида, и он повел взволнованный рассказ о сегодняшнем разговоре с Ермохой. И чем дальше, тем глуше говорил он, с трудом выжимая слова, а под конец заговорил хрипловатым прерывистым шепотом: — Вот оно што... как не было мне... с малых лет... счастья... так... кхм... должно быть...— И не закончил, чувствуя, как к горлу его подкатился комок. Он пытался кашлянуть, мял горло левой рукой, а правой прижимал к себе Настю и чувствовал, как все тело ее часто содрогается от рыданий.

Так и сидели они молча, придавленные горем. А ночь сгущала темноту, как холодным незримым саваном одевала, давила морозом. Из-под нависшего края соломы виднелось темно-синее небо, густо усыпанное мерцающими звездами. Слабый холодный ветерок доносил до их слуха приглушенный уличный шум, где вместе смешались и скрип шагов, и людской говор, и шум и грохот работающей конной мельницы. Из всего этого слитого воедино хаоса звуков выделялся одинокий девичий голос, звонко и отчетливо выводивший слова старинной песни.

**Все птички-ка-а-нарейки так жалобно-о поют,
А нам с тобо-ой, друг милый, разлуку-у придают... —**

пела девушка, как видно припозднившаяся на какой-то работе. Она вела песню, не подозревая, что поет как раз о том, что сейчас переживают вот эти двое, сидящие у омета.

— Про нас поют, Гоша, слышишь? — со стоном выдохнула Настя, только что переставшая плакать.— Про разлуку нашу да про любовь разнесчастную. Что же мы теперь делать-то будем?

Егор как мог утешал ее, целовал похолодевшее на морозе лицо, чувствуя на губах соленый привкус слез. Согретая его ласками Настя успокоилась, притихла. Егор прикрыл ее дохой, обнял и, загораясь пламенем, прижался к ней еще теснее. Буйный прилив страсти, охвативший Егора, передался и Насте, губы их слились в поцелуе, они оказались во власти своих чувств, забыли про все...

— Вот и поженились мы с тобой, Настюша,— заговорил Егор.

Настя не ответила и, уткнувшись головой ему в грудь, снова заплакала.

— Уйди, Егор, уйди, прошу тебя!..

— Что ты, милая, чего же плакать-то?

— Ох, Егор, что мы наделали, стыд-то какой!..— И плечи ее содрогались от рыданий.

— Полно, Настюша, никакого стыда тут нету, ведь все равно мы с тобой поженимся, я же тебя не брошу.

— Господи... кабы так-то оно получилось...

— Получится, Настюша, и очень даже просто. Конь у меня есть теперь, завтра же примусь обучать его, сначала под седлом, а потом и в санях. По-своему сделаем, как задумали. Хоть Ермоха говорит там то и другое, но он в этих делах ни черта не смыслит, и нечего слушать его. Когда они свадьбу-то задумали сыграть?

— На третьей неделе мясоеду, ден десять осталось.

— Хватит нам. За это время коня обучу, ты запаси себе одежды, харчей на первое время. Оно бы и деньжонок разжиться надо было, да где их взять? Ну да ладно, обойдемся и без денег, а в случае чего доху продам собачью, я ее прихвачу с собой вместо денег, какие не получил с Шакала. Сани, хомут и все такое тоже возьму хозяйские, и махнем с тобою в Крутоярлову. Согласно так, не побоишься бежать со мной?

— Согласно ли я? Да я с тобой хоть на край света, лишь бы отсюда подальше. Только я не пойму, почему же в Крутоярлову-то?

— Это я схитрить хочу. Они искать-то нас кинутся в Верхние Ключи да в станицу нашу: откуда им знать, что мы у них под боком, в Крутоярловой? А там у меня дядя в депо работает он научит, как нам быть, может быть, еще и документ какой справит. В Монголию подадимся, до ее недалеко. Она хотя и чужая сторона, да ведь добрые-то люди везде есть, и там они найдутся. Приобикнем, заживем не хуже, чем у Шакала-то,

а главное — вместе будем на всю жизнь, вот в чем дело-то. Ну, а на худой конец, ежели, к примеру, догонят нас,— Егор наклонился к Насте, жарко дохнул ей в лицо: — Шашку наточу, возьму с собой. Пока живой — не дамся и тебя не отдам. Только когда через мертвого перешагнут... тогда уж...— И не договаривал, принялся целовать Настю.

РЛ АВА IX

— Не выдумывай, дурной, чего не следует-то,— ругался Ермоха вечером следующего дня, когда Егор стал звать его икрючить Гнедка.— Коня вздумал обучать на ночь-то глядя! И все как-то шиворот-навыворот, белены объелся, надо быть!

— Ничего, ничего, дядя Ермоха, не ругайся. А то, што вечер, не беда! Нам бы только изловить его да заседлать за-светло, и сидеть-то на нем не все ли равно, што днем, то и ночью.

— Да ведь оп в темноте трахнет тебя где-нибудь башкой-то об угол, и дух вон! А либо на льду захлестнетесь оба с конем.

— Не захлестнемся, дядя, не бойся, не перечь ты, помоги, пожалуйста.

— Ох, Егор, Егор, бич по тебе давно плачет! Всыпать бы тебе хорошим порядком, чтоб ума прибавилось в голове...

В этот день работники ездили в лес за дровами. Пока они, сложив дрова, распрягли лошадей, задали им корму и пообедали сами, наступил вечер. Заснеженные вершины сопков розовели в лучах закатного солнца, киноварью окрасились позимнему белесые облака на западе. Уставшему за день Ермохе хотелось посидеть на нарах, отдохнуть, а тут Егор пристал со своим конем. Хмуря мохнатые брови, Ермоха сердито крикнул, нехотя поднялся с нар и, продолжая ругаться, оделся, пошел следом за Егором.

Немало пришлось повозиться с гнедым. После того как его наикрючили, надели недоуздки и вывели в ограду, он показал, каким обладает характером. Даже притянутый к столбу, гнедой продолжал бить задом и передом, хватал людей зубами. С великим трудом удалось Егору взнудать его, накинуть седло, подтянуть подпруги.

Азарт природного наездника охватил Егора. В легоньком полубулке он не чувствовал лютой стужи, даже вспотел, а рукавицы сбросил в снег. Приготовившись к прыжку, он хищно изогнулся, левой рукой прихватил гриву, хрипло выдохнул Ермохе:

— Отпускай!!

И в ту же секунду очутился в седле. Ермоха рванул завязанный петлей повод недоуздка, конец его кинул Егору. Почуввав свободу, гнедой дико всхрапнул, взвился на дыбы и так надал задом, что Егор, качнувшись всем телом, ткнулся головой в гриву. Но в седле он усидел, цепко обхватив ногами бока лошади.

Гнедой словно взбесился. Храпел, крутил головой, делая самые неожиданные прыжки то в одну, то в другую сторону, он без усталости бил задом, вставал на дыбы. Однако сбить с себя паездника ему не удавалось. Егор сидел в седле как пришитый. Левой рукой он туго натягивал поводья, а правой хлестал непокорного коня нагайкой. Он не видел стоящего на крыльце Савву Саввича, не видел и Настю, глаз не сводившую с него из окна кухни.

Ермоха догадался вовремя открыть большие ворота, и взбешенный конь после третьего круга по ограде вынес Егора на улицу.

На дворе темнело, в домах зажигались огни. Гнедой, продолжая сбивать Егора, шел по улице зигзагами, от него шаркались в стороны прохожие, идущие с водопоя лошади. Глядя вслед Егору, Ермоха сокрушенно качал головой:

— До чего же неумный человек! Мыслимое дело — такого дикаря обучать ночью, сроду этого не бывало...

Из дому, накинув шубейку, вышла Настя, подошла к Ермохе.

— Где Егор-то?

— Унесла нелегкая, вон завернул за угол. А конь-то, смотри-ко ты, какой оказался? Прямо-таки зверь. Сколько живу на свете, первый раз такого вижу. Ну да ничего, Егор-то ему обломает вязья. Боюсь, на лед не забежал бы, некованный, убьется, да и дурака этого изувечит, а так ничего-о-о...

На веранде появилась Макаровна, позвала Настю домой. Постояв еще немного у ворот, Ермоха тоже отправился к себе в зимовье.

Но и в зимовье старику не сиделось, в душе его росла тревога за Егора — не наделал бы беды, ночь, не дай бог, выскочит на лед, изувечится. Раз два выходил Ермоха за ворота, прислушивался, но Егор со своим конем как сквозь землю провалился. Над селом опустилась ночь, усилилась стужа, и все вокруг замерло, притихло. Лишь изредка, гремя цепью, забрешет собака, чьи-то шаги проскрипят по снегу, хлопнет дверь — и снова тихо.

Выйдя за ворота в третий раз, Ермоха, ругая Егора, плю-

нул с досады и, как был в полушубке, без опояски и рукавиц, отправился на поиски.

Он дошел до середины улицы и уже хотел свернуть в переулок, намереваясь осмотреть широкое ледяное плато речки, но, услышав какой-то шум, крики, остановился. По улице кто-то бежал. Ермоха поспешил к нему навстречу, угадав одного из низовских парней.

— Федька! Ты чего это?

Узнав старика, парень остановился.

— Дядя Ермоха!.. Там, у Крюковых... в ограде, — запыхавшись от быстрого бега, парень говорил прерывисто, руками и головой показывая в ту сторону, откуда только что прибежал, — Егор ваш... лежит... убится, должно быть... с коня...

Федька еще что-то говорил. Но Ермоха уже не слышал, кинулся бежать по улице.

А в это время в ограде Крюкова толпился народ. Человек пять пожилых казаков качали на потнике бесчувственного Егора, рядом, привязанный к столбу, переступал с ноги на ногу подмерзший, закуржавевший до самых бабок Гнедко.

Когда Ермоха забежал в ограду, Егора перестали качать, опустили на снег. Старик в длинной белой шубе, став на одно колено, приложился ухом к груди Егора.

— Дышит! — обрадованно проговорил дед, распрямляясь, и тут Ермоха увидел, что мерлушковая шапка и правое плечо полушубка Егора залиты кровью.

— Об столб, должно, ударился головой-то, — пояснил Ермохе старик в белой шубе, — а может, и об перекладину. Столбы-то для завозни поставил Таврило, а прошлой весной перекладину положил, качулю ребятишкам устроил, ко греху-то.

— Эх, Егор, Егор!.. — только и сказал Ермоха, опускаясь перед ним на колени, и тут же спохватился: — Братцы, а ведь он без рукавиц! Оздобил руки-то, так и знай! Ах ты грех какой, тащите скорее воды со льдом, да снегом давайте тереть.

При помощи стариков Ермоха оттер окоченевшие, белые как мел руки Егора, а затем его на потнике унесли к Архипу.

Узнав от Ермохи обо всем, что случилось с Егором, Настя сказала Макаровне, что идет к Марфе, и, чуть свет выйдя из дому, направилась к Архипу.

В избе у Архипа жарко топились печь, трепетным светом озаряя переднюю и кутную половину избы, где старики сидели за чаем. В замороженные, опущенные куржаком стекла одинарных окон едва угадывался рассвет.

Егор лежал на кровати, укрытый шубой, на голове его в полумраке смутно белела повязка. От большой потери крови он ослаб, а от долгого лежания в мороз на снегу простудился, к утру на него навалился жар, и он впал в забытие. Архип уже сбегал к Марфе, упросил ее осмотреть, вылечить Егора, за что пообещал ей привезти три воза сухостойных дров. Дока на все руки, Марфа согласилась и теперь сидела со стариками за столом, угощалась горячим чаем с морожеными калачами.

Войдя в избу, Настя перекрестилась на иконы, коротко бросила хозяевам «здравствуйте» — и сразу же метнулась к кровати. Не стесняясь посторонних людей, она заплакала, прижалась головой к груди Егора.

Обернувшись на плач, Марфа узнала Настю и, оставив недопитый стакан с чаем, поспешила к кровати.

— Настасья, ты чего это, милая? Опомнись, Христос с гобой, люди-то вон сторонние что подумают!

Настя подняла заплаканное лицо, в упор посмотрела на Марфу и голосом, полным отчаяния и мольбы, спросила:

— Тетенька, скажи, выживет он?

— Да уж выхожу как-нибудь, выживет. Головой-то оншибко ударился и плечо, должно быть, об бороновый зуб поранил. А тут ишо распадение схватил, кажись, потому и жар такой страшный, турусит¹ все время.

— Лечи его, тетенька родимая, лечи хорошенько! Век за тебя буду бога молить. Колечко у меня есть золотое, шаль кашемировая, все тебе отдам, только вылечи ты его, подыми на ноги.

— Вылечу, милая, вылечу, только ты-то не дури, пожалуйста. Ведь это что же за беда такая, сама подумай, донесется до Саввы Саввича, жених узнает, хорошо будет?

— Жених! — Настю словно стегнули кнутом, она выпрямилась, карие глаза ее заискрились злобой, и совсем по-иному зазвучал голос: — Вот он, мой жених, лежит на мертвой постели, и нету у меня, окромя его, никого на свете нету!

Последнее слово она выкрикнула надрывно и спова со стоном склонилась над Егором.

— Матушка, царица небесная!.. — всплеснула руками Марфа. — Защитница всех скорбящих!.. Это оно что же такое делается? Боже милостивый, да ты в уме ли, моя милая?

К кровати подошли Архип со старухой. Поняв, в чем дело, оба они тоже принялись уговаривать девушку. Настя не слу-

¹ Т у р у с и т — бредит.

шала никого, душили ее злые слезы, она видела одного лишь Егора и, обращаясь к нему, еле внятно шептала:

— Гоша, родненький мой, цветочек мой лазоревый!..

С великим трудом удалось Марфе оттеснить Настю от кровати больного. Хитрая старуха понимала, что такое поведение Насти может расстроить свадьбу и Марфа останется ни с чем да еще попадет в немилость к Савве Саввичу. Поэтому она и старалась направить невесту на путь истинный. Продолжая уговаривать Настю, старуха при помощи Архипа настойчиво выпроваживала ее из избы. Около двери Настя рывком освободилась из цепких рук Марфы, коротко бросила ей:

— Отвяжитесь, не приставайте ко мне! — И уже взявшись за дверную скобу, опомнилась, заговорила мягче: — Лечи его, тетенька, лечи, будь добрая, а не вылечишь... вместе с ним... в одну могилу лягу... — И вышла, хлопнув дверью.

— Вот оно как дело-то повернулось! Бо-же ты мой милостивый!.. — запричитала Марфа, бессильно опускаясь на скамью. — Это за какие же грехи господь-то меня наказывает?

— Да-а... — Архип сочувственно вздохнул, поскреб рукой затылок. — Огонь девка, прямо-таки огонь с дымом. Сразу видать, наших, казачьих, кровей. Ну да ладно, сватья Марфа, бог с ней, подвигайся к столу, а то чай остынет.

— Ой, нет, сват, теперь уж не до чаю. Бежать мне надо туда, к Савве Саввичу. Зарежет она меня, без ножа зарежет, побегу!..

Марфа заторопилась, надела ватную кацавейку, накинула теплую шаль и ушла, не прощаясь с хозяевами.

На дворе совсем рассвело. Над селом, укутанным густым, морозным туманом, стоит тот немолкнущий гуа, который всегда бывает по утрам от слитых воедино звуков: скрипа саней, топота, фыркания лошадей, людских голосов и дробного перестука ручной молотбы. Ничего этого не видела и не слышала Марфа, она даже не зашла к себе домой, а прямоком по улице направилась к Савве Саввичу.

Пантелеевы уже позавтракали, перешли в горницу. Раскрыв большой, обитый жестью ящик, Макаровна принялась что-то перебирать там, перекладывать. Савва Саввич, поскрипывая подшитыми кожей валенками, расхаживал по комнате. Заплаканная Настя сидела на диване в соседней комнате. На ее слезы старики перестали обращать внимание, полагая, что плачет она, тоскуя по дому, по девичьей воле. «Невеста, — думали они, — ей и положено плакать, так оно всегда было, так будет и дальше».

— Придется атамана пригласить станичного,— рассуждал Савва Саввич,— да и от мужиков кое-кого из порядочных людей позвать, старшину их волостного. Все же как-никак, тово... начальство, может, и сгодится при случае.

— Как и усадим их,— сетовала Макаровна,— и так наприглашали, что и в горницу не войдут, однако. Влетит нам эта свадьба в копейчку!

— Ясное дело, влетит. Но что ж поделаешь, раз заварили кашу, так нечего масла жалеть, теперь уж хоть яловый, да телись.

В это время в доме появилась Марфа. Старуха боялась, что Савва Саввич узнал, куда бегала Настя в это утро. Поэтому Марфа впервые в этом доме держалась неуверенно, войдя в коридор, робко оглянулась по сторонам, перекрестилась и прошла в горницу. Успокоилась Марфа лишь тогда, когда убедилась, что старики ничего не знают, и, повеселев, села на стул около буфета и вступила в разговор.

— А невесту куда определим перед свадьбой-то? * начался разговор о том, ради чего и пришла. Савва Саввич остановился перед нею, удивленно посмотрел на сваху.

— Чего же ее определять? Живет у нас — и ладно, пусть живет.

— Что ты, Савва Саввич, господь-то с тобой! Да где же это видано, чтобы невеста до самых венцов у жениха жила? Сроду этого не бывало, засмеют нас люди-то!

— Пусть смеются, кому любо.— Начиная сердиться, Савва вновь заходил по комнате.— Тут и так нелады всякие, с бумагой сколько канители было, года не выходят невесте, попа надо уговаривать, работника черт угораздил изувечиться, слыхала?

— Слыхала, лечить его взялась.

— Во-во, лечи, чтобы поскорее поднялся, а то ведь пролежит самое нужное время, а заместо его двоих надо брать. За лечение сочтемся. Теперь насчет невесты: в доме хлопот полно перед свадьбой, а ты уводить ее хочешь?

— Ничего не сделаешь, Савва Саввич, так уж оно повелось со старины, и нечего нам супротив идти. До свадьбы пять ден осталось, пусть поживет у меня, людей у тебя хватит, нечего бога гневить, а где и я могу приходить помогать, когда требуется.

Понимая, что Марфу не переспоришь, Савва Саввич почесал рукой лысину, сердито хмурясь, махнул рукой, согласился. Марфа увела к себе Настю в тот же день.

* * *

Егор, как и предсказала Марфа, заболел воспалением легких. От него, как от печки, поыхало жаром, душил его кашель. В жару он подолгу терял сознание, метался, раскинувшись по кровати, в горячечном бреду вспоминал Ермоху, а чаще всего Настю. Она часами сидела около его постели, горестно вздыхая, гладила его горячие руки, перебирала пальцами свалившийся чуб, плакала, а когда Егор приходил в сознание, поила его водой из ложки, пыталась кормить молочной кашей. Егор не принимал никакой пищи, в минуты просветления узнавал Настю, и в помутневших глазах его вновь вспыхивали живые огоньки.

— Настюша, милая!..— беззвучно, одними лишь губами шептал он, пытаясь улыбнуться, двигал пальцами, чтобы достать до Насти, и, обессиленный от этих попыток, снова впадал в забытье. »

Настя сутками не отходила бы от Егора, если бы не Марфа. Чтобы не расстроить свадьбу, старуха не давала Насте засиживаться у постели больного, уводила ее к себе и там начинала уговаривать- девушку.

— Ты хоть подумай, что ты вытворяешь-то,— напускалась на нее Марфа.— Ведь ты и себя опозоришь, и Егора в каторгу упекешь. Послушай вон, что люди-то рассказывают. В Маккавеевской станице один так же вот удумал отбить просватанную, ну и хлебнул горячего до слез. Ее обратно к жениху представили, а ему плетей всыпали на сходке, да в кандалы, да на каторгу. То же самое и Егору будет, ежели свои фокусы не бросишь. Ты его хотя пожалей, загубишь парня, ни за грош загубишь.

Слушая Марфу, Настя заливалась слезами. В голове ее двоились мысли, ей не хотелось верить Марфе, о браке с Семеном не хотелось и думать, а в то же время какой-то внутренний голос упрямо твердил ей, что Марфа права, что, если не выйдет Настя за Семена, она погубит Егора. И Настя не знала, что ей делать, она едва прикасалась к еде, похудела, мало спала по ночам, а днем нигде не находила себе места. Окончательно уговорить Настю обвенчаться с Семеном неодащанно помог свахе Ермоха. Старик несколько раз навещал вечерами Егора и от Архипа узнал о поведении Насти. За день до свадьбы Настя пришла к нему в зимовье, когда Ермоха при свете керосиновой лампы сидел за починкой унтов. Обернувшись на стук двери и узнав Настю, он удивленно воскликнул:

— Настасья! Проходи, девушка милая, садись, гостья будешь.

— Здравствуй, дядя Ермолай.

— Здравствуй.

Настя подошла ближе, села на скамью.

— К тебе я, дядя Ермолай. Как ты мне посоветуешь? — Настя покосилась на дверь и, понизив голос, откровенно рассказала старику обо всем: и о том, как собиралась она бежать с Егором, и о том, что наговорила ей Марфа. Ермоха слушал, не отрываясь от работы, начиная сердиться, кричал, хмурил брови.

— Бить вас некому было обоих с Егором,— сурово заговорил он, выслушав Настю, и, чтобы успокоиться, отложил в сторону недопочиненный унт, полез в карман за кистом.— Ишь, чего они затеяли, жениться по новому фасону. В Монголию бежать. А того не подумали, дурьи головы, что бежать-то вам пришлось бы не по пустому месту, а через поселки да станции, а уж там везде о вашем побеге известно было бы. И не дальше как в тот же день сцапали бы вас как миленьких и под охраной, как ресторантов,— обратно. Доставили бы тебя к Шакалам со стыдом-то как с братом, а тому дураку пришлось бы шкурой своей расплачиваться, а то и каторги хлебнул бы за побег от службы. Это уж, милая девушка, бывали рога в торгу, не с одной с тобой случилось. Так что мой совет тебе такой: ежели хочешь уберечь Егора, то нечего куражи наводить, обвенчайся с Семеном — и всего делов.

И, заметив, как побледнела готовая разрыдаться Настя, старик заговорил мягче:

— А ты, Настюша, шибко-то не убивайся. Уж ежели у вас с Егором в самделе такая любовь возгорелась, так он тебя все равно не бросит, у него, брат, слово крепко. Вот посмотри, отслужит он — и наовсе заберет тебя к себе. За четыре-то года мы придумаем, как тебе от Сеньки избавиться.

Настя удивленно взметнула брови:

— Как же от него избавишься?

— Очень даже просто. Сам возьмусь за него, раз такое дело. Я не буду по-вашему тюли-мули разводить да дурости всякие выдумлять, а попадет мне Сенька под пьяную руку — давну его разок за пикульку, и хватит ему. Записывай раба божия Семена в поминальник за упокой.

— Что ты, дядя! — ужаснулась Настя. — Разве можно этак-то? Выдумал тоже, да ведь за такие дела, знаешь...

— Ерунда, дальше солнца не угонят. В тюрьму посадят?

Эка беда, мне и в тюрьме не хуже будет, чем у Шакала-то: кормить, одевать будут, и фатера казенная, чего ишо надо? А умру, тоже поверх земли не бросят, зароят как-нибудь.— Он повернулся к Насте, окинул ее отечески ласковым взглядом и, вздохнув, закончил: — Зато вы заживете с Егором и меня добром помянете.

С чувством глубокой благодарности смотрела Настя на Ермоху, и в душе ее зародилась надежда. Теперь старик этот, с лицом, выдубленным солнцем и морозами, с его мохнатыми бровями и кудлатой, в густой проседи бородой, стал ей таким близким, родным и необыкновенно добрым. Она не сомневалась в искренности слов Ермохи, верила, что ради их счастья он готов пожертвовать собою. Охваченная дочерней любовью, Настя еле удерживалась, чтобы не расцеловать старого добряка, и голосом, дрогнувшим от волнения, сказала:

— Спасибо, дядюшка -родимый, большое тебе спасибо!..

От Ермохи Настя шла, все так же обуреваемая противоречивыми мыслями. Хотя в душе ее и зрела надежда на то, что слова Ермохи сбудутся, что жить она будет с Егором,— в то же время ужасала мысль, что венчаться-то придется с Семеном. И живо представилось ей венчание с немилым, стыд, когда вспомнила она и то, что в первую брачную ночь ее сорочку несут на показ отцу с мачехой в присутствии гостей. Но более всего страшило ее, как известие о свадьбе воспримет Егор.

— Боже мой, боже мой! — вслух вырвалось у нее со стоном, когда она уже подходила к Марфиной избе.— Как он перенесет, болезный мой! Да и вернется ли он ко мне после всего этого? Ох, неужели не поймет он, что ради него же сгублю свою голову...

Так, в слезах и думах, провела она эту ночь и лишь под утро заснула, зарывшись головой в подушку, омоченную слезами.

Она не слыхала, как утром пришли три девушки, принялись помогать Марфе мыть, скоблить, готовиться к девичнику... Когда Настя проснулась, солнечные зайчики играли на стене, девушки закончили работу. Дожелта проскобленный пол застелили свежей соломой, бумалшыми цветами украсили божницу, стол в переднем углу накрыли белой скатертью, а Йутнюю половину избы отгородили ситцевой занавеской.

Из села по двое, по трое начали подходить девушки. Принаряженные ради торжественного случая — девичника, они рассаживались по скамьям, перешептывались между собою и с любопытством разглядывали Настю, курили. Берестяной чуман с табаком-зеленухой и двумя листами тонкой бумаги пере-

ходил из рук в руки. Настя прошла за запавеску, наскоро умылась, надела свою шубейку, платок и, не слушая, что шептала ей Марфа, вышла из избы и торопливо направилась к Архипу, где лежал больной Егор.

В болезни Егора наступил перелом. Еще вчера ему стало лучше, сегодня он даже поел молочного киселя, а когда в дом вошла Настя, слабо улыбнулся ей, прошептал еле внятно:

— Настюша, милая!..

Настя, насили сдерживая себя, чтобы не разрыдаться, подошла ближе, уронила голову ему на грудь, дала волю слезам.

— Гоша, милый мой Гоша, ничего-то ты не знаешь,— шептала она чуть слышно, орошая рубаху Егора слезами. А когда подняла голову, то первое, что увидела она, был шрам на шее Егора. Мысленно прощаясь с милым, она трижды поцеловала этот шрам. Затем в последний раз посмотрела в тоскующие, любовно глядевшие на нее глаза Егора и, крепко поцеловав его в запекшиеся от жара губы, выпрямилась, круто повернулась и пошла к двери.

Когда она подходила к дому Марфы, старуха выбежала к ней навстречу. В доме уже было полно народу. До слуха Насти донеслись шум, веселые голоса, смех, но все это в ушах ее звучало как похоронный звон.

ГЛАВА X

Вечер. На западе медленно угасает бледно-желтая полоска зари. Темнеет. В освещенной фонарями обширной ограде Саввы Саввича необычное оживление, многоголосый шум большого сборища сельчан. Сегодня свадьба, и поглазеть на нее сошлись со всего села и стар и млад. Немало непрошенных посетителей понабило и в комнаты дома, гостеприимно раскрывшего двери на этот раз для всех желающих посмотреть богатую свадьбу, большинство же пришедших толчется в ограде, невзирая на мороз. Как всегда на свадьбах, среди собравшихся не только парни, девки и вездесущая шумливая орава ребятишек, но и женатые пожилые люди и старики, изнывающие в своих избенках от зимней скуки. В серой, уныло однообразной жизни сельчан, в большинстве своем придавленных нуждой и работой, свадьба в селе — большое событие, и мало кто устоит от соблазна пойти па даровое зрелище. Все же какое ни есть развлечение, потому и собрались к Савве Саввичу чуть не поголовно все жители села. Даже в зимовье к батракам забрели погреться, отвести душу в разговорах человек десять стариков. Среди них и Архип

Лукьянов, и Филипп Рудаков, и самый старый в селе, но еще очень крепкий, длиннородый дед Михей. Ермоха на правах «хозяина» пустил по рукам гостей свой кисет с зеленухой, и вскоре дым от дедовских трубок сизой пеленой повис под потолком. Рассказчиком на этот раз оказался Архип, которому посчастливилось в прошлом году видеть граммофон в Кайдаловской станице.

— Приезжаю это я в Кайдалову,— попыхивая трубкой, начал Архип,— кожи отвозил Игнахе Чистякову, одну дубил я ему, другую на сыромять делал. Дело к вечеру было, пришлось заночевать мне там. Поужинали мы, Игнаха и говорит: «Пойдем к Ивану Варламову, к нему Пронька-цыган приехал с маг-уафоном». — «Что это такое?» — «А вот пойдем, увидишь», — пошли. И ладно, что поторопились, кабы попозднее пришли, и не попасть бы нам, народищу набралось... как в бочке огурцов, один другого давит, и все лезут и лезут. Мне подвезло, к самому столу подобрался, все рассмотрел досконально. Диковинная, братцы, штука, прям-таки удивительно! Посмотришь на него — обнаковенный ящик с трубой, во-от такой будет, — Архип развел руками, показывая размер граммофона. — И кружки к нему такие, вроде сковороды. Ну и вот, подошел к нему Пронька, покрутил-покрутил за ручку сбоку и эту самую сковороду сверх ящика положил. Смотрим, завертелась она, как мельничный жернов, зашипела да-а-а как запоеет:

Ехал с ярмонки ухарь купец!
Ухарь купец, удалой молодец!

— Человечьим голосом?

— Человечьим.

— Господи боже мой,— закрестились, заохали старики.—

До чего дожили!

— С нами крестная сила!

— Оказия... мать честная!

— Последние года...

— Омрачение, и больше ничего,— уверенно заявил дед Михей.— Да рази можно поверить, чтобы какая-то сковорода человечьим голосом пела? Он, Пронька-то, небось крутит эту самую Аграфену или как ее там? А цыганы забрались на вышку и поют^ а вам, дуракам, кажется, что это она поет, врт и вся хитрость.

— Э-э, нет, дядя Михей, мы тоже так думали сначала, нашлись ребята — и на вышку слазили, проверили, и на крыше посмотрели, никого там не обнаружили. Даже избу-то окру-

жили народом, чтобы, значит, подвоху какого не произошло. Не-ет, он пел, маграфон, я-то совсем от него близко находился, даже рукой его пощупал. Да-а. И вот пропел это он нам ухаря^ Пронька опять покрутил ручку, перевернул сковороду другой стороной, и как запоет она опять, аж труба гудит. И так это чисто выговаривает «Камаринского». Я даже слова-то разобрал, запомнил:

**Двадцать девять дней бывает в феврале!
В день последний спят Касьяны на земле!**

Жалко, до нас не доехал Пронька, вниз подался, на Шилку, а то бы и вы посмотрели, послушали.

— Только этого и не доставало, смотреть всякую мразь, сатану тешить,— возразил дед Михай.— Что-то уж больно много всяких чудес развелось. Вон летось Данилко-солдат рассказывал, как он в цирку ходил, в городе. И тоже такие диковины нам поведал, господи, твоя воля, как послушаешь его — уши вянут. И на головах-то там стоят один на другом вверх ногами, по проволоке ходят, она сверху натянута сажней пять от земли-то, а он идет по ней, как по доске. И что же, это правда, по-твоему? Ну-ка, попробуй пройди хучь по пряслу! Да тут не то что по жердине, а ежели в зимнее время, то и по бревну не пройдешь, да еще на такой высоте, а то про-о-волока... Омрачили дураков, им и кажется — он там идет, а он небось сидит рядом да над ними же и смеется. Слыхали мы такого звону.

— Про проволоку не знаю, не видал, а уж маграфон-то, это я своими глазами видел и слышал, как он играл.

— Может, черт помогал цыгану-то? — высказал свое предположение один из стариков.

— Это скорее всего,— поддержал Филипп.

— Могло быть и так.

— Насчет черта ничего не могу сказать.— Архип выколоти́л об нары трубку, сунул ее за пазуху.— Знаю только, что Ивана Варламова старики из-за маграфона вызвали на сходку.

— Мало его вызвать,— с горячностью подхватил дед Михай,— а за такие штуки плетей бы ему, сукину сыну, всыпать, чтобы впредь не связывался с цыганами, не вводил в грех добрых людей.

— Плетей ему не всыпали, а молебену отслужить в избе заставили, это я слыхал после, и даже стены святой водой окропили.

Потолковав еще о всяких житейских мелочах, старики выкурили по второй трубке и потянулись в ограду. Там у столба под фонарем веселилась молодежь. Примостившись на чурбане, парень в белой шубе, бараньей шапке и пуховых перчатках мастерски наябрюкает на двухрядке «Барыню». Пляшут ее не менее двадцати пар. Им нипочем лютый мороз — мелькают белые, желтые полушубки, черные ватники, кацавейки, заиндевевшие шапки, папахи, платки... В морозном воздухе от дыхания танцоров клубится пар. Множество ног топают, рассыпают частую дробь, кто-то лихо подсвистывает плясунам, кто-то ловко, в такт музыке, постукивает мерзлыми рукавицами, парень в барсучьей папахе подпевает:

**Барыня, барыня,
Сударыня-барыня...**

Смех, веселый гул голосов не молкнут ни на одну минуту. Из общего гвалта выделяются звонкие выкрики:

— Крой, Ванька!

— Задай перцу зареченским!

— Э-э-эх ты-ы-и!

**Сыпь, Семеновна, подсыпай, Семеновна,
У тебя, Семеновна, пять невест, Семеновна...**

Здоровенный парень с поперечной пилой в руках протиснулся к гармонисту и, держа левой рукой пилу за одну рукоятку, на вторую наступил ногой, достал из-за пазухи подкову.

**Фу ты, ну ты, барыня,
Вот моя сударыня,—**

басом подпевал он и аккомпанировал гармонисту, стуча подковой по пиле:

**Барыня, юбка белая,
Много сахару поела.
Фу ты, ну ты, барыня,
Вот моя сударыня.**

**Барыня, буки-бе,
То-то весело тебе.
Фу ты, ну ты, барыня,
Вот моя сударыня...**

Мелькают, кружатся ^ пары, девушки, притопывая унтами, плавно ходят по кругу, помахивая варежками вместо платков. Парни дробно выбивают чечетку и, стараясь переплясать один другого, выкидывают все новые и новые коленца. Один из

них, подпрыгнув, перевернулся вверх ногами и под дружный хохот пошел по кругу на руках. Толпа одобрительно гудит и, словно снежный ком, растет, густеет. Привлеченные весельем, туда же двинулись и старики.

— Сват Филипп, живого видеть!

— Мое почтение! И ты здесь!

— А как же, ведь любопыттвенно посмотреть-то, на то она и свадьба.

— Свадьба богатая, есть чего посмотреть.

— Никак это Ванька наш! Ах ты, прокурат, язви тебя!

Архип попытался проникнуть поближе к кругу, но в это время у ворот и в улице закричали: «Едут, едут!»

Народ хлынул к воротам, веселье сразу же пошло на убыль, толпа поредела, затихла гармошка, а из дома с крыльца в ограду, как горох из мешка, посыпались люди.

Слитный звон колокольников все ближе, слышнее, вот он уже совсем рядом. Люди расступились, и в широко раскрытые ворота на рысях въехала первая тройка, за нею вторая, третья и четвертая.

Тройки подобраны на славу, лошади в них самые лучшие и одной масти, у всех подвязаны хвосты, гривы украшены лентами, блестит наборчатая сбруя. Но вот передняя тройка остановилась, затихли колокольцы, тысяцкий — старший сын хозяина Трофим — и сваха Марфа под руки вывели из кошевы жениха и невесту. Пред ними почтительно расступилась толпа.

Настя была одета в лисью, крытую сукном шубу и цветастую кашемировую шаль. Похудевшее лицо ее было бледно, словно восковое, а глаза горели лихорадочным блеском. Она не видела никого вокруг себя, шла потупив голову, а мысли ее были там, у постели Егора.

«Милый мой, ненаглядный, а я, что ж я наделала!..» — И, спотыкаясь на ровном месте, она хваталась рукой за Марфу. Рядом с Настей шагал Семен в новой романовской шубке и мерлушчатой папахе. Даже в папахе он не доставал Насте до плеча и, чтобы казаться повыше, тянулся кверху, а тонкие губы его змеились в самодовольной улыбке.

А рядом густая толпа движется, толкается, каждому хочется продвинуться поближе, по рядам шелестит разговор:

— Невеста чегой-то бледная.

— Красивая деваха, а, видать, хвора, ни кровинушки в лице.

— Жених-то супротив ее сморчок.

— Зато богач, писарь.

— Даром что от горшка два вершка.

— Гы-гы-гы...

— Тише вы, черти!

У крыльца, поблескивая обнаженной лысиной, стоял Савва Саввич с иконой в руках. Рядом с ним Макаровна на расшитом петухами полотенце держала большой пшеничный каравай. У ног их на снегу разостлан войлочный коврик. Когда новобрачные подошли ближе, встали на коврик, Марфа шепнула Насте:

— Кланяйся, милушка, ниже кланяйся.

Настя, машинально исполняя все, что говорила ей Марфа, склонилась перед Саввой Саввичем. Он благословил сначала Семена, затем Настю иконой и караваем хлеба.

— Кусай хлеб-то, — шепнула Марфа.

Настя откусила от горбушки мягкого, вкусно пахнущего карава, и подошла под благословение свекрови.

Все так же конвоируемая Марфой, Настя, не замечая шагающего рядом Семена, поднялась на крыльцо; оглянувшись, поискала глазами в толпе, слоено надеясь увидеть там Егора.

— Что "ты, моя милая, как неживая будто! — уже в доме, снимая с Насти шубу, подарок жениха, нашептывала Марфа. — Смелее надо, милая, нехорошо так! Сейчас гости будут усаживаться за столы, а мы пройдем в спальню, приберемся. Я тебе на головушку-то уваль прилажу да веночек. Идем, моя хорошая.

Пока Марфа причесывала, прихорашивала Настю, гости усаживались за длинный ряд столов в ярко освещенной тремя лампами обширной горнице. На столах, как полагается на свадьбах, для начала только холодные закуски. Тут и селедочка с лучком, красные ломти кеты с конопляным маслом, соленые омули с душком — по-сибирски, копченые сиги с огурцами, крупная, красная, как брусника, кетовая икра в стеклянных вазах, на йолыпих блюдах целые окорока говядины, холодная свинина, сыры и колбасы трех сортов. Перед каждым из гостей разложены тарелки, вилки и ножи; перед женщинами — пузатые рюмки, перед мужчинами — чайные стаканы. По самой середине столов, между горками калачей и шанег, чинно в ряд выстроились бутылки с брагой: пей кому сколько угодно. В руках у Саввы Саввича ковш, которым он разливал водку в стаканы и рюмки прямо из ведра. Еще с утра, когда жена его Марья Макаровна посоветовала угощать водкой из маленьких рюмок, Савва Саввич прищипнул на нее, пояснил:

— Много ты понимаешь, дуреха! Наоборот, надо их стаканами оглушить, на голодно-то они скорее опьянеют и, тово... съедят меньше. Э-э-эх, ты-ы! Ничего соображенья-то нету.

Так и поступил он, как задумал. В горницу, сопровождаемый Марфой, вошел жених, за руку ведя к столу Настю. Едва она появилась, как головы всех повернулись к ней. По рядам гостей, как ветер по спелой пшенице, зашелестел одобрителный шепот, сливаясь с гулом голосов посторонних зрителей, что плотной кучей толпились в коридоре и в задней половине горницы, и до слуха Насти доносились отдельные слова, обрывки фраз:

— Картинка!..

— Да уж... конечно...

— Боже ж мой!..

— Подвезло Сеньке.

— Да уж хучь бы человеку досталась...

— Фартовый Шакал, мать его...

— На богатство позарилась...

— Тише вы... услышит Шакал, так он вас...

— А што он нам? Подумаешь... Эта бы туча да к ночи.

— А уж красавица-то, любо посмотреть.

— Чмутинские — они все такие.

В шелковом кремовом платье с белым кружевным воротничком, Настя, хотя и похудевшая за это время, была хороша собой. Бледное лицо ее лишь на скулах розовело слабым румянцем, волнистые черные волосы украшал веночек из белых, розовых и пунцовых цветов, из-под венка на спину опускалась легкая прозрачная вуаль. Хмуря черные брови, она заметно волновалась. Высокая грудь, украшенная алой розой, часто вздымалась, а лучистые карие глаза ее под длинными ресницами смотрели встревоженно и грустно. Чувствуя, что глаза всех устремлены на нее, Настя смутилась, шла она за Марфой потупившись, ни на кого не глядя.

Настю усадили, как положено, в переднем углу, направо от нее Семен, налево — Марфа. Рядом со свахой почетные гости: отец невесты — Федор Чмутин, добродушного вида русобородый человек в сером форменном кителе с желтыми петлицами на отворотах, и мачеха Насти, чернявая, горбоносая, с крутым подбородком и ломкими линиями разлтых бровей; на ней коричневое сатиновое платье, а на голове зеленый клетчатый платок. Справа от Семена сидел тысяцкий, старший брат его Трофим, смуглолицый, чернобородый казачина, совсем непохожий на отца. Много собралось на свадьбу гостей, среди них

и волостной старшина Субботин, и атаман Заиграевской станции Комогорцев — на форменном мундире его блестят серебряные погоны хорунжего, — и начальник станции Жданович, купец Яков Гриф, кражистый бородач Гаврила Крюков и еще несколько человек богатых, казаков и зареченских мужиков. Народ подобрался все зажиточный, солидный — с голью Савва Саввич не якшался, — все пришли с женами, разнаряженными в сатиновые, кашемировые платья, на головах у многих шелковые косынки и полushалки с цветными букетами на полях. Только атаман Комогорцев да волостной старшина пожаловали в одиначку и оба сидели рядом.

Дружкой на свадьбе был мельник Фома Лукич, худошавый, среднего роста, с крючковатым носом, козлиной, пепельного цвета бородкой и маленькими серыми глазками. В селе Лукич пользовался дурной славой колдуна, про него говорили, что он может не только вылечить наговором от какой угодно болезни, но и напустить порчу на человека или скотину. Может испортить — расстроить свадьбу. Поэтому, чтобы не накликать беды, Лукича всегда приглашали на свадьбы в качестве дружки, и хитрый мельник извлекал из этого немалую для себя пользу. Сегодня Лукич из уважения к хозяину, в предчувствии большого барыша, даже не сидел, как положено, рядом с тысяцким, а с бутылкой в руках помогал Савве Саввичу угощать «честной народ».

Наполнив все стаканы и рюмки, Савва Саввич обратился к новобрачным с речью. Все встали, подняли бокалы.

— Милые мои детушки! — торжественно начал Савва Саввич, держа перед собою стакан с водкой. — С законным браком вас! Дай бог вам любовь да совет, чтобы жить вам в согласии, добра наживать и, значит... тово... нас не забывать, стариков. А вас, дорогие гостюшки, — повернувшись к гостям, Савва Саввич склонил голову в поклоне, — прошу не погневаться, не осудить, а угоститься, откусать чего бог послал, да погулять, попеть, повеселиться по' такому случаю.

— А у меня такая речь, — подмигнув гостям, Лукич чокнулся с хозяином: — В старину у нас так говаривали: «Летела сорока, села на гвоздь, как хозяин, так и гость».

Савва Саввич расцвел в улыбке.

— Правильно, Фома Лукич, правильно! — Не этими словами залпом осушил свой стакан. Гости немедленно последовали примеру хозяина, шумно приветствуя его и новобрачных.

— С новобрачными тебя, Савва Саввич! «•

— Bravo-o-o!

— Ура-а-а!
— С законным браком вас!
— Горько!
— Горько, горько-о!
— Целуй, Настюша, целуй! — толкая локтем, шептала Марфа.

Повернувшись к Семену, Настя плотно сжала зубы, склонилась и, зажмурившись, трижды коснулась щекой его тонких влажных губ.

— Bravo, bravo!
— Крепче целуй!
— Горько-о-о!

А Савва Саввич с Лукичом уже вновь наполнили стаканы. Гости, чокаясь, выпивали, закусывали, разговор их, сливаясь со звоном посуды, становился все громче и веселее. Гармонист, тот самый, что играл в ограде, широко разводя малиновый мех двухрядки, играл столовую.

Робко поцеловав невесту, Семен сел. Настя опустилась рядом на стул, сидела неподвижно, уставившись глазами в одну точку, а губы ее беззвучно шептали:

«Гоша, милый мой Гоша, лежишь ты, желанный мой, ничего не знаешь. Ох, простишь ли ты меня, сокол мой ясный?..»

— Што ты, моя милушка, господь-то с тобой! — встревожилась Марфа, придвигая к Насте рюмку с вином. — Накось, выпей маленько да закуси-ка вот холодцом. Ты и к еде не притронулась и сидишь как статуя. Уж не с глазу ли это с тобой, моя милая?

Настя не ответила. Она и не слышала Марфы, голова ее пылала, стучало в висках.

«И за что это господь меня наказывает? — думала она, все так же глядя перед собою. — Уж, видно, и на роду мне написано страдать, не видать в жизни счастья! Эх, судьба ты моя разнесчастная!..»

Все свое горе: то, что стала она женой нелюбимого человека, и свою любовь к Егору, и разлуку с ним — все она приписывала злему року. Настя слепо верила, что судьба каждого человека предназначена ему свыше. Мало ли какие несправедливости встречаются в жизни, к этому Настя привыкла с самого детства, ведь так было всегда, так будет и дальше, у каждого человека своя судьба, все зависит от нее. Так думал и Егор, им обоим и в голову не могло прийти протестовать против несправедливости, заявить во всеуслышание: «Что вы делаете? Ведь мы любим друг друга. Мы

даедем быть мужем и женой, так почему же вы мешаете, разлучаете нас?»

И Настя страдала молча, покорившись злой судьбе, проклиная в душе свою несчастную долю. «Судьба» — единственное слово, что всегда служило утешением для всех страдающих людей. «Судьба, ее ведь и никаким конем не объехать», «Чему быть, того не миновать».

С Семеном Настя сегодня не обмолвилась ни единым словом. Рядом с нею и рослым, широкоплечим Трофимом тщедушный, маленький Семен с тыквообразной головкой походил не на жениха, а на робкого подростка, случайно затесавшегося среди взрослых. Он чувствовал это, видел, что сельчане — те, что вон там, в коридоре и у порога, — откровенно смеются над ним, и злился, нервно теребя под столом бахромку скатерти. Самолюбивый по натуре, он и мысли не допускал, что не достоин Насти, — наоборот, считал, что осчастливил ее, сделав своей женой, вытащил из нужды и что смеются-то над ним многие из зависти. «Завидуют, сволочи, чужому счастью», — злился он и, обращаясь к брату, шипел:

— Долго эти голодранцы толкаться здесь будут? Скажи, чтобы гнали их в шею.

— Чудак! — добродушно усмехнулся Трофим и, выпив только что налитый стакан, понюхал ломоть хлеба, закусил огурцом. — Чего «они тебе, надоели? Пусть поинтересуются, вить свадьба же.

— А чего они зубы-то скалят?

— Ну и беда! Что же им, плакать, что ли? У нас не похороны.

В это время кто-то из гостей запел:

Скака-ал каза-ак яере-ез доли-и...

Трофим, не слушая, что еще бубнил Семен, подхватил вместе со всеми:

Через Маньчжурские-е-е края-я-я,

Скака-а-ал он, вса-а-дник о-о-дино-оки-и-й,

Ко-о-льцо бле-е-стело на-а руке-е-е...

Пели дружно почти все сидящие за столом мужики, бабы, и Марфа, и отец Насти, Федор; солидным баритоном подтягивали атаман с волостным старшиной; склонив голову набок и зажав бороду в кулак, тоненько подвывал Лукич; гэдстым басом рокотал Трофим. Почуял песню и охмелевший раньше всех, клевавший носом Гаврила Крюков. Вскидывая лохматой головой, он всхрапывал, как дикий конь, урчал себе под нос что-то

похожее на песню. Но хмель одолевал Гаврилу, и обессиленная голова его вновь опускалась в тарелку с груздями.

Помня обязанности дружки, Лукич поманил к себе пальцем Марфу. Она вышла из-за стола. Пошептавшись с ним, отправилась в спальню — готовить новобрачным постель. Подождав окончания песни, Лукич начал призывать гостей к порядку.

— Воспода! Любущие гости, внимание! — Напрягая голос, Лукич поднял обе руки вверх. — Воспода, внимания прошу! Минуточку! Воспода, как мы, значитца, выпили, закусили честь честью, а теперича прошу покорно повременить, отдохнуть самую малость, побеседовать по-дружельюбности. А молодых, по нашему русскому обычаю, проводим на подклет, благословясь, дадим им покою.

— Верна-а-а!

— Блюди порядок, Лукич!

— Подожди... ты у меня... смотри!

— Сват Микифор, полно тебе!

— Отвяжись, дай сказать!

Не слушая Никифора, Лукич подошел к новобрачным, в пояс поклонился им, пригласил следовать за собой в спальню. Маковым цветом вспыхнула, зарделась Настя, когда Марфа взяла ее за руку и следом за женихом повела из-за стола.

Дородная Марья Макаровна с помощью прислуживающих ей женщин убирала со столов холодные закуски, посуду. За короткий промежуток времени Марье Макаровне и ее подручным предстояло перемыть посуду, подать на столы вторую очередь кушаний — горячие блюда.

Из спальни вышли Лукич и Марфа, новобрачные остались там одни.

Шум в горнице поутих, гармонист, сунув двухрядку под лавку, смешался с толпой у порога, гости, строго соблюдая старинный обычай, прекратили песни, стараясь не шуметь, разговаривали вполголоса. Только Гаврила Крюков, не поднимая от стола головы, мычал песню.

Стряпухи проворно накрыли столы, подали новую смену кушаний. В больших эмалированных мисках паром курились горячие супы. На фаянсовых блюдах высились груды жареной баранины, как живые, стояли на тарелках желтые, с коричневым подпалом поросята, с игриво завернутыми хвостиками и с луковицами в ощеренных зубах. Янтарем отливали жирные затушенные с гречневой кашей гуси. А широкие, как лопата, сазаны, запеченные в пирогах, обложены белыми кружочками репчатого лука.

И опять на середине столов выстроились бутылки с брагой, а стаканы Савва Саввич наполнил водкой.

Однако никто из гостей не прикоснулся ни к еде, ни к выпивке. Все терпеливо ждали, когда дружка сходит к молодым, принесет от них рубашку невесты и при всем «честном народе» покажет ее родителям. Только после того как дружка, чокнувшись с родителями, выпьет свой бокал, начнется «большой пир» и традиционный бой, лом посуды, каждый из гостей сочтет нужным после выпивки трахнуть свой бокал об пол со словами: «На свадьбе без лому не бывает, а сломал — и слава богу».

И придется на этом пиру Федору Чмутину либо немало погордиться, принимая благодарность сватов, либо краснеть от стыда перед ними, сносить все их насмешки за то, что не углядел за дочерью, что не соблюла она девичью честь. Об этом и думал теперь внешне спокойный Федор. Тревожно у него на душе, а тут еще жена зудит под ухом:

— Подведет она нас под монастырь... Вот увидишь! Отчего-нибудь убежала раньше время за урода этого?

— Хватит тебе, люди-то вон смотрят, — отмахивался Федор, думая про себя: «Может, и верно так, кто ее знает? Молодежь нынче такая... стариков не шибко слушают».

Но вот Лукич ушел в спальню. Все притихли. Федор, заметно бледнея, волновался, похрустывал пальцами. В наступившей тишине было слышно, как, скрипнув, открылась дверь спальни, вышел Лукич и... шепот изумления пополз по рядам гостей: вышел он без рубашки...

Савва Саввич сразу же к нему:

— Ну? Чего там?

Лукич недоуменно развел руками, ответил шепотом:

— Неладно дело! Молодой штой-то... не в порядке... ничего не может.

— Что же теперь делать-то? Люди-то сидят, ждут.

— Не знаю, прям-таки не знаю, сроду так не приходилось на свадьбах.

— Но ты же дружка, Лукич! — жалобно, упрашивал Савва Саввич. — Смыслишь в этом деле, помогай, будь добрый, людей-то пользуешь? А уж я тебя отблагодарю, только выручи. Иди, иди к ним!

— Схожу, Сав Саввич, сделаю что могу, подождем немного.

Но и во второй и в третий раз сходил Лукич, и все безрезультатно.

Савва Саввич, краснея с досады, бегал по горнице, нигде не находя себе места. Ожидая благополучного исхода «брачного

часа», он приготовился к продолжению пирушки с боем посуды, благоразумно убрав со стола дорогостоящие графины, фарфоровые с позолотой чашки, сахарницы и стеклянные вазы. И вот тебе на!.. Рубашки нет и, как видно, не будет. В полной растерянности остановился он перед Лукичом, только что вышедшим из спальни.

— Что же делать-то будем? — нервно пожимая руками, в который раз спрашивал он Лукича. — И позор на всю округу, и как быть с гостями, ума не приложу.

— Ничего, — утешал его Лукич. — Гостям объявим, что молодые нездоровы, попросим их начать «большой пир», и дело в шляпе. А насчет Семена не сумлевайся, вылечу его после свадьбы. — И не замечая, что сам себе противоречит, закончил: — Мне с таким делом не раз приходилось сталкиваться на свадьбах.

Савве Саввичу ничего не оставалось, как согласиться с доводами Лукича. Кое-как успокоившись, он, низко кланяясь гостям, объявил:

— Прошу не осудить, господа честные! Молодым что-то... тово... нездоровится, а раз такое дело, пожелаем им доброго здоровья. И значит, тово... без них откушаем нашего хлеба-соли. Начнем, господа, большой пир, прошу.

Гости только этого и ждали, все сразу же подняли бокалы, чокаясь, дружно выпили, кто-то из гостей даже разбил свой стакан, бросив его на пол, но его примеру никто не последовал, так как пир начался не совсем так, как положено на свадьбах. В остальном все пошло по-старому, вновь застучали ножи, вилки, заиграл гармонист, «большой пир» начался.

Посторонних зрителей Савва Саввич с помощью Лукича выпроводил из дому и со двора, накрепко закрыл за ними ворота. В горнице стало просторнее, хотя шум и гам еще более усилились.

На столах появились третьи, сладкие блюда: кисели молочные с крахмалом, кисели ягодные, овсяные, варенье из голубицы, из клубники и смородины. На больших подносах горками наложено печенье, тут и оладьи, варенные в масле, пышный хворост, вафли, самодельные пряники, сдобные калачи, шанежки, пироги слоеные, пироги с начинкой из сушеной и мелко смолотой черемухи.

Только мало осталось за столами гостей. Многих поборол хмель, и лежали они в горнице, в соседней комнате, в коридоре, лежали на полу, на скамьях. Гаврила Крюков спал под столом, атаман со старшиной дремали, обнявшись, не сходя с

места. А те, что еще не свалились, разделились надвое: одни, сидя за столом, на разные голоса тянули какую-то заунывную старинную песню; остальные грудились посреди комнаты, тешились пляской. Охмелевший, но еще крепко державшийся на ногах Трофим плясал камаринского на пару с женой соседа. Не старая еще, поджарая соседка шла по кругу, виляя подолом длинной юбки. За ней, выкидывая затейливые коленца, по пятам шел вспотевший Трофим и то дробно выстукивал каблуками чечетку, то, подбоченясь, замедлял пляс, припевая:

Ох, тетушка Карповна,
У тебя шуба бархатна,
У меня шапка кожаная,
В кабаке была заложена...

— Э-э-эх ты-ы!.. — И снова медведем идет по кругу за соседкой и так грохочет сапогами, что дрожат стены, а на хмельные головы гостей сыплется известка.

ГЛАВА XI

В тот день, когда Егор услышал о Настинной свадьбе, он чуть с ума не сошел от горя. Болезнь у него усилилась, к ночи появился жар, в бреду он то ругал, проклинал изменницу Настю, то звал ее к себе, говорил ей ласковые, нежные слова.

— Настюша^ милая... ягодка моя!.. — И, замолкнув на минуту, говорил уже по-иному, вплетая в бессвязную речь угрозы и матерную брань, голос его срывался на хриплый, злобный шепот: — Уходи... проклятая, змея подколотная!.. Богачество тебе надо? Дядя Ермоха... Гнедко мой...

Он бредил всю ночь, не дав старикам покоя. Очнулся уже утром. Узнав сидящего возле кровати Архипа, заговорил с ним слабым, чуть слышным голосом:

— Дядя Архип, ты мне... дай-ко стрихнину... Есть он у тебя?

— Что ты, Христос-то с тобой! — встревожился старик. — Не выдумывай чего не следует. Вон какой молодец, а ерунду городишь, жизнь погубить задумал, плетей тебе .всыпать за такие слова.

— Дядя, будь добрый... дай!..

— Сказано — не дам, и не проси лучше. Ишь, чего захотел, смотри у меня! — И, меняя тон на более ласковый, задушевный, продолжал: — Не мешайся умом-то, дурила, не позорь^казачьего звания. Есть из-за чего в отчаянность приходить.

— Убью ее, суку!..

— Не убивать, а начхать на нее, да и всего делов. Что тебе, на ней свет клином сошелся? Да мы за тебя такую кралю выхватим, что еще получше Насти-то будет. Этого добра хоть пруд пруди. Вот лучше выпей молока горячего да выздоравливай поскорее.

Добродушные старики как за родным ухаживали за больным Егором, поочередно дежурили у его постели и как могли уговаривали, успокаивали полюбившегося им парня.

Настя пришла к нему дня через три после свадьбы. Был вечер, на западе за окнами догорал закат. Архипа дома не было, жена его, бабка Василиса, сидела на скамье у окна за прялкой. Исхудавший, с заострившимися скулами на бледном, как извесь, лице, Егор лежал на кровати, уставившись глазами в потолок.

Увидев вошедшую в избу Настю, он болезненно сморщился, отвернулся к стене.

Настя подошла ближе, склонилась над ним:

— Гоша, милый мой!..

— Уйди! — не поворачивая головы, прошептал Егор. — Чего пришла? У тебя теперь... муж.

— Да какой он мне муж, господи, ты послушай сначала! — И тут она рассказала Егору все: и то, что она все так же любит Егора, что, спасая его, согласилась на этот брак, но принадлежит по-прежнему только ему одному.

Егор повернулся к ней лицом, слушал внимательно. Он еще и до этого, — когда проклинал Настю, зарекался видиться с нею, — понимал, что не может выкинуть ее из сердца, что вросла она в него крепко. А теперь, слушая Настю, чувствовал, что от слов ее становится теплее на душе, вновь появляется надежда на лучшие времена. И когда она закончила свой рассказ, он тихонько взял ее за руку.

— Настюша! — сказал Егор, и Настя поняла, что простил ее Егор, что он любит ее по-прежнему.

После выздоровления Егор снова пришел к Савве Саввичу, принялся за работу.

Хороша в Забайкалье весна, а в этом году она была еще и ранней. За неделю до вешнего Никола выпал хороший дождь, а затем установилось ведро. Дни стояли ясные, теплые, и вскоре

же еще недавно черные пашни ошетинились яркой зеленью всходов молодой пшеницы. Зеленым разнотравьем покрылись луга, елани и сопки, а в воздухе запахло ароматом полей. В колке возле Шакаловой заимки, где по утрам залиvisto высвистывают сибирские соловьи, стрекочут перепела, чудесно пахнет облитая белым цветом дикая яблоня. А поднимись на елань — там другие цветы, другие запахи: то нанесет ветерком пряный запах чабреца — в Забайкалье его называют богородской травой, — то еще более приятный душок голубых духовиков.

Раньше обычного появились в этом году цветы. Еще совсем недавно каменистая россыпь в вершине Березовой была лиловой от массы распустившегося там багульника, а сегодня она зеленеет молодой листвой. На еланиях весна щедро рассыпала желтые одуванчики, малиновые лютики, голубые, как майское небо, кукушкины башмачки и кумачово-алые саранки.

Но весна эта была еще краше в глазах Егора, потому что и в душе казака наступила весна, а неприкаянная любовь его с Настей зацвела горькой травой дурманом.

Хоть и простил Егор Настю, но в душе его долго был какой-то осадок горечи... И когда приходилось ему видеть Семена, темнел Егор лицом, а пальцы его сами собою сжимались в кулаки. Но со временем прошло и это. Любовь его с Настей все более крепла, и они по-прежнему, хотя и реже, встречались у заветного места.

В воскресенье неспрадные дни Егор, как и раньше, похаживал на заречную сторону села, бывал там на вечерках, дружил с парнями, любезничал, хороводился с девушками, но лучшими вечерами для него были те, которые удавалось проводить вдвоем с Настей. Иногда, условившись с нею, приезжал он по ночам и с пашни, с Шакаловой заимки, хотя от села до нее было более десятка «верст. Егор хорошо объездил своего Гнедка, научил его брать препятствия: перескакивать канавы, речки, изгородь, горящий костер, зная, что все это пригодится не только на военной службе, но и теперь, для свиданий с Настей.

Коротки майские ночи, но еще короче они кажутся влюбленным. Вот и сегодня ночь пролетела, как один миг. На востоке бледнеет небосклон, гаснут звезды, вот уже и здесь редет темнота, стало видно привязанного к дальнему пряслу Гнедка.

— Пора, Гоша, пора, уезжай пораньше, — заторопилась Настя, вставая с соломенного ложа.

Егор поднялся следом за нею, сладко зевнув, протер глаза, поспеял к коню. Застоявшийся Гнедко загорячился,

затоптался на месте. Егор подтянул подпруги, взнуздal своего строевика, ведя его в поводу, вернулся к Насте и, поцеловав ее на прощанье, вскочил в седло.

— Когда приедешь? — держась за стремя, Настя снизу вверх смотрела на Егора.

— В субботу, Настюша. — С трудом сдерживая просившего повод коня, Егор наклонился к Насте, еще раз поцеловал ее. — Как приедем вечером, приходи сюда. До свидания! — И с места в карьер пустил гнедого прямо на изгородь. Легкий толчок ногами, упор в стремяна, и Гнедко легко перенес его через невысокое прясло. За двором оглянулся, помахал Насте рукой и зарысил по задам, между двумя улицами, стараясь не шуметь, не тревожить собак. Выехав за околицу, Егор свернул с дороги влево и напрямик, бездорожно, через елани, сопки во весь опор помчался в направлении пади Березовой, туда, где находилась Шакалова заимка.

Мимо замелькали знакомые места, пашни, овраги, колки. Путь Егора лежал вблизи водяной мельницы. Вот и она. Тускло блестит обрамленное кустами тальника широкое плесо пруда, шумит водяное колесо, с глухим перестуком гудят жернова, и, верно, сладко спит на заре мельник Лукич. В весеннюю пору, когда расцветает черемуха, любит Лукич заночевать на мельнице под немолчный шум ее жерновов, а утречком, на восходе солнца, порывачить в пруду, где развелось множество карасей. Но больше всего Лукич любит охотиться по утрам на гусей и уток — для этого и держит на мельнице старинный дробовик-кремневу.

Егор взял левее, ниже мельницы, с разбегу перемахнул саженную ширину речки, и вот уже далеко позади мельница, а неутомимый Гнедко, не сбавляя стремительного бега, мчит все дальше и дальше. Как и предсказал Ермоха, хорошим конем оказался Гнедко. Без малого двух аршин ростом, выглядел он теперь еще более длинным, подбористым, с красивой посадкой головы, широкой грудью и сильными в беге, стройными, как на заказ выточенными, ногами. Больше всего любил Егор своего Гнедка за его хороший ход. У него был податливый, с переступью шаг, размашистая плавная рысь, а в быстроте бега он мог поспорить с любым из бегунцов Саввы Саввича.

Легко на душе у Егора. Всю эту весну он жил помыслами о Насте и, согретый ее любовью, забыл все свои печали и горести, чувствовал себя счастливым. Вот и сегодня его радует все: и быстроногий Гнедко и свежесть раннего утра. Встреч-

ный ветерок охлаждает лицо, будоражит кровь. А сердце млеет от воспоминаний минувшей ночи.

«Эх, Настя, Настя!.. — счастливо улыбаясь, думал Егор. — Закружила ты мне голову. Так вот какая она бывает, любовь-то, аж сердце ноет, готов за Настю теперь и в огонь и в воду».

Вымахнув на последний перевал, Егор сдержал Гнедка, через елань поехал шагом. Рассвело, по долине внизу вставали сизые дымки полевых станов, на Шакаловой заимке ярко полыхал костер. Здесь в этот раз жили Егор с Ермохой да Архип Лукьянов с племянником. Егор расседлал Гнедка, привязал его к изгороди, подошел к костру, где Ермоха уже вскипятит чай, на развернутом мешке разложил хлеб, чашки, туесок с простоквашей.

— С добрым утром, дядя Ермоха!

— С веселым днем! Попроведал?

— Попроведал.

— Оно и по морде-то видать — сияешь, как новый гривенник. Беда с тобой, Егор, хоть впору к Лукичу тебя вести, от присухи ладить.

— Ты, дядя Ермоха, как, скажи, сам таким не был, и девок не любил, и молодости не видел?

— Само собой, красивым, может, не был, а молодым-то был, — зачерпнув ковшом из котла, Ермоха налил чаю в чашки Егору и себе, — но такой любви, как у тебя с Настей, даже и видать не приходилось. Ить это беда, за десять верст бежать сломя голову, ночь не спать!

— Ничего, выплусь в полдни. А что Архип, спит еще?

— Занемог чегой-то Архип, нутром мается. Овес не досеян у мужика, и вот на тебе — слег.

Егору стало жалко Архипа, с которым все эти годы подолгу живали вместе здесь, на Шакаловой заимке. В Забайкалье у казаков не было строго определенных наделов земли, и они распахивали свои пашни кому где вздумается. Как правило, эти пашни находились не в одном месте, а были разбросаны по нескольким еланям и падам. Такая чересполосица нисколько не смущала казаков, они даже считали, что так еще и лучше: в одном месте не уродится — в другом вовремя перепадет дождик и, глядишь, выручит. В одном месте выбьет градом — уцелеет в другом. Так они жили, и, закончив работу на одной или двух пашнях, хлебоборб переезжал в другую падь, нередко за много верст. Поэтому-то в пади Березовой рядом с большими, хорошо обработанными пашнями Саввы Саввича ютились и маленькие полоски Архипа.

Егор давно сдружился с разговорчивым, общительным стариком. А после того как Архип приютил его во время болезни, помог вылечиться, Егор считал себя в неоплатном долгу перед стариком и теперь придумал способ помочь ему.

— Давай сделаем так,— попросил он Ермоху.— Пусть его Ванька погоняет за меня быков, а я запрягу коней без пристяжника, тройкой в ряд, да и досею ему овес-то. А то ведь опоздает он. И так-то припозднится, скоро уж гречиху сеять время.

— Да оно-то бы можно так сделать,— замялся в нерешительности Ермоха,— да справится ли Ванька с быками-то? Малой еще, годов восемь ему, не больше.

— Справится, быки у нас пристроены, будет покрикивать на них да погоном помахивать — и потянут.

— Не шибко-то, брат! Ну да ладно уж, как-нибудь обойдемся. Время от времени сам погоню, плуг-то хорошо идет, Ванька будет его мало-мало поддерживать. Буди его, пусть почаует, да запрягать будем.

За два дня Егор вспахал, посеял Архипу овес, в субботу к вечеру все собрались выезжать домой. Уже сидя в телеге, Архип подозвал к себе Егора.

— Ну, Егорушка, как и благодарить тебя, не знаю.

— Что ты, дядя Архип! — смущенно улыбаясь, Егор глянул на худощавое, с острой седенькой бородкой лицо Архипа.— Это мне надо тебя благодарить за то, что от смерти отвел, кабы не ты, каюк бы мне.

— Э-э, не стоит об этом. Н-но, милая! — Архип чмокнул губами, тронул вожжой гнедую кобыленку, поехал.

В село приехали вечером, когда закатное солнце освещало лишь вершины гор, оранжевым светом окрашивая нижние мохнатые края темно-серых облаков, что проплывали над горизонтом на западе. Ермоха, как всегда, ехал на телеге впереди, Егор верхом на Гнедке позади, быков он оставил пастись за околицей. Когда въехали в ограду, из двора навстречу им вышла Настя с двумя ведрами молока в руках. Она направилась к веранде, где уже гудел сепаратор.

— Здравствуй, хозяйюшка! — первым приветствовал ее Ермоха.

— Здравствуйте,— не останавливаясь, громко отозвалась Настя.

— Баня готова?

— Готова, воды, жару много.

— Вот хорошо-то!..

Проходя мимо Егора, Настя метнула на него быстрый взгляд.

— Тебе новость!

Егор придержал Гнедка.

— Чего такое?

— В станицу вызывают назавтра.

— А-а, на смотр, значит. Ну-н что же, съезжу.— Покосившись на веранду, понизил голос: — Приходи, как стемнеет.

Настя, улыбаясь, согласно кивнула головой, прошла мимо. С веранды по ступенькам крыльца сходил Савва Саввич.

Мало пришлось уснуть в эту ночь Егору. От Насти он пришел на рассвете, и еще не взошло солнце, как его уже разбудил Ермоха.

— Вставай, вставай! — тормошил он Егора.— Ну! Кому говорят? Вон тетка Матрена уж самовар вскипятила, вставай!

С трудом оторвав от подушки голову, Егор поднялся, сел на постели, громко зевнул и потянулся, хрустнув суставами.

В зимовье уже совсем светло. В кутнее окно через крышу большого амбара видится кусочек бледно-голубого неба на востоке и белое облачко, позолоченное снизу восходящим солнцем. Ярко топится печь, сухие лиственничные дрова потрескивают, стреляют искрами. Постукивая крышкой, шумит вскипевший самовар, из носка синего чайника струится пар. Поязанная пестрым платком Матрена собирает завтрак. Ермоха, примостившись на скамье, поплеывая на оселок, точит Егорову шашку.

— Вечерошник непутевый,— ворчал он, пробуя большим пальцем острие шашки.— Знает, что ехать надо пораньше, а сам-таки бежит. Просухарил ночь-то с девушками своими и про станицу забыл. Тоже мне казак называется! Умывайся живее, завтракай, да вьюк надо готовить. Гнедка-то я напоил, овса ему задал.

Егор улыбнулся, понимая, на каких «девушек» намекает добродушный старик, пошел умываться. Холодная вода освежила его, прогнала сон. Умывшись, он сунул мокрый палец в солонку, стоявшую на столе, почистил солью зубы. Так часто делал он по совету того же Ермохи, оттого и зубы у него блестящие, как перламутровые.

— У тебя ишо чего недостает из обмундировки-то? — уже сидя за завтраком, спросил Ермоха.

— Так кое-чего, по мелочам, можно сказать. Фуражки осенней нету, сапогов запасной пары, еще одного мундира, да этого... как его... погон к пике.

— Чего ж ты вчера не сказал? Я бы его изладил вчерась. Остальное-то все есть?

— Все, кажись. Сухарей еще полагается двенадцать фунтов, не знаю, брать ли?

— А как же, обязательно даже, я их уже приготовил еще с вечера, взвесил на безмене.

— Как это все и уложить?

— Учись. Все должно быть уложено, это и есть походный выюк. Когда конь с полным выюком, так непривычному человеку и не забраться в седло-то, кроме как с телеги али с прясла. А шило, иголку, дратвы положил?

— Нет еще.

— Положить надо в боковую сумку, туда же положи полотенце с мылом, кружку и две щетки, сапожную и для одежды.

Пока Егор, достав из ящика обмундирование, одевался, готовил выюк, Ермоха оседлал Гнедка, взнуздal его, суконкой протер стремя. Седло совсем недавно привез Савва Саввич из станицы. Новое, еще не бывшее в употреблении, оно глянцеvito поблескивает добротной кожей, нагрудник пестрит беломедным набором.

В седельную подушку Егор сложил две пары белья, запасные портянки, полотенце. Все остальное: мундиры, гимнастерки, брюки, папаху, сухари, щетки и прочие принадлежности воинского обмундирования — уложил в задние и передние сумы. Туда же поместились и конское снаряжение, фуражка, треног, бечевка для прикола, скребница, завернутые в тряпицу скат подков и гвозди.

Наконец все было уложено, зашнурованные сумы перекинуты через седло, сверху к задней луке приторочили завернутый в попону полусубок и брезентовый плащ. Свернутую в скатку шинель приторочили к передней луке.

И вот все сборы закончены. Егор оделся во все форменное, летнюю парусиновую гимнастерку с погонами подпоясал ремнем, защитную фуражку с кокардой надел набекрень, взбил на нее русский чуб и, придерживая рукой шашку, вышел в ограду. Следом за ним — Ермоха.

— Так и скажи им,— продолжал он начатый разговор.— Я, мол, тут ни при чем, с хозяина спрашивайте, а мое дело телячье.

— Конечно, скажу. Да ведь и атаман подтвердит, в случае чего, он же меня сюда запродал. Подумаешь, велика важность кое-чего не хватает, время до выхода еще полгода, успею приобрести-то.

— Оно-то так, да ведь, знаешь, начальство дурное, ни к чему придерется.

Егор отвязал коня, вакинул ему на шею поводья и в этот момент увидел Настю. Поджидая Егора, она стояла у открытой калитки.

«До чего же она не боязливая. Это не баба, а прямо-таки казак в юбке!» — подумал он с восхищением и, поймаv ногой стремя, вскочил в седло, тронул к выходу.

Настя со свертком под мышкой, сложив руки на груди, стояла у ворот. Когда Егор, поравнявшись с нею, придержал коня, она подошла вплотную, сунула ему в руки сверток.

— Тут я шанег тебе положила, мяса да еще кое-чего на дорогу.

— Настюша, милая!..— смущенно и радостно улыбаясь, Егор засунул сверток под крышку задней сумы.— Ты что же это? Увидят — попадет тебе.

— За что? Что харчей-то тебе на дорогу выдала? В этом ничего нету плохого, да и кто увидит-то? Ермоха — свой человек, а наши спят еще. Когда приедешь?

— Завтра, наверно, жди к вечеру. Ну, я поехал, Настюша. Иди в дом, вон соседка-то смотрит, Федосья.

— Ну и беда, пусть смотрит! Когда ждать тебя?

— Ладно, жди завтра, до свидания!

— Счастливо, до завтра.

Конь под Егором горячился, просил повод. Лаская Настю взглядом, Егор дал ему волю. В седле он сидел как впаянный. Подавшись всем корпусом вперед и привстав на стремянах, пустил гнедого в полную рысь. Из-под копыт серыми клубочками вылетала пыль, хвостом тянулась позади.

Вот он свернул в проулок, промелькнул за огородами, скрылся в кустах и вскоре показался на горной тропинке за селом, свернув влево, поехал косогором, золотой искоркой сверкнул на солнце эфес шашки. И долго, пока Егор не скрылся за горой, Настя стояла у ворот.

«Уехал мой милый, казак мой ненаглядный,— думала она, провожая любимого взглядом.— На два дня уехал, и то сердце болит, а что же будет, как уйдет он на четыре-то годика? Господи боже мой, даже подумать страшно!..»

С самого утра в Заозерскую стали съезжаться казаки. Когда солнце стало «в обогрев», ближайшие огороды, плетни и заборы как мухи облепили привязанные к ним кони. Тут и

строевики казаков в форменных седлах, завьюченных по-походному, и кони стариков, запряженные в телеги, в тарантасы, и оседланные старыми деревенскими и бурятскими седлами с кичимами¹.

Обширная станичная площадь полна народу, из восьми поселков казаков понаехало, как на базар. У станичного правления в ожидании очереди на приемочную комиссию — густая толпа молодых. Все они в одинаковом форменном обмундировании и при шашках. На завалинках, на куче бревен напротив станицы чинно расселись родственники казаков. Старики дымят самосадам, коротают время в разговорах.

— Жара ноне стоит!

— Дожжа бы теперь хорошего в самый раз.

— Онуфриев день над головой, время гречуху сеять.

— Тш... слухай, Максим Прохорыч чегой-то опять рассказывает.

— ...сотня наша там стояла. Ну, батенька ты мой, до чего благодатный край! И орехи, и виноград, и всякой фрукты полно. А зверя всякого! Уж не говоря про волков, сохатых и медведей, там и тигров до черта, а рыбы! Речушка небольшая, Каменный Рыболов называется, и вот кета в нее заходит с Амура по Уссури, икру метать, так ведь какое множество, аж дна не видно! Вывало, захочем рыбы поить, а ну, ребята, кто желает, пошли уху варить. Приходим к речке, разводим костер, картошки чистим, все, что для ухи требуется, а рыба ишо в воде. И вот, значит, палка такая, крючок к ней из гвоздя приспособили, подойдешь к речке, выберешь рыбину, какая лучше, цап ее крючком — и на берег. Ежели мало — другую.

— Господи!..

— Эх-хе-хе!..

— Благодать восподня!..

— Здравствуйте, господа старики!

— Здравствуй, здравствуй!

— Садись-ко вот с нами.

— Иван Фомич! Живого видеть!

— Мое почтение, с сынком поя?аловал?

— Во-он стоит у крыльца-то. А ты?

— То же самое. Известное дело, богатому телята, а бедному ребята.

— Да. Пока растим — никому до них дела нету, а как поднялись — все увидали.

¹ К и я и м ы — яепраки из кожи.

— Не говори, брат. Я уж вот пятого снаряжаю, шутейное дело! Все жили они из меня повытянули.

Егор подоспел вовремя. Отыскав свободное место в тени у амбара, поставил своего Гнедка, стреножил его, привязать было не за что, поводья закинул на седло. Подходя к станице, еще издали заметил в толпе своих односельчан: закадычного друга Алешку Голобокова, Петьку Подкорытова, в здоровенном чубатом казачине признал Сашку Анциферова. В сторонке от всех стоял Чашин. Все та же виноватая улыбка словно застыла на его рыхлом, глуповатом лице. Форменное обмундирование сидело на нем неряшливо, гимнастерка не одернута как следует, морщится впереди под слабо затянутым ремнем. На голове, как повойник, на самые уши натянута фуражка.

— Егорша! — радостно улыбаясь, Алексей шагнул навстречу, крепко пожал руку другу. — Здорово живем!

— Здорово, Алексей, здорово-те, ребята! Петька, черт, здравствуй! Сашка, Ефим! О-о, сколько вас понаехало!

— Двенадцать человек без тебя.

— Ого, я, значит, тринадцатый? Эко, паря, число-то какое неподходимое. Наших видал, Алексей?

— Сегодня, как ехать сюда, тетку Платоновну видел. Заказывала, чтобы заехал ты домой.

— Обязательно заеду. Если и не управимся сегодня, все равно к ночи домой махну, чего тут ехать-то — двенадцать верст.

На станичном крыльце появился верхнеключевской атаман Тимоха Кривой с писарем.

— А ну-ка мои, верхнеключевцы, подходи сюда, сейчас наша очередь будет!.. Чашин!.. Федька... нашел подсумок-то? Холера пустоголовая! Иди сюда, накачал тебя на мою шею. Мироныч, где у тебя список-то, выкликай их, проверить надо, все ли. А вы, которых вызовет, проходите тут рядом с коридором, раздевайтесь.

Писарь, маленького роста, плешивый, с черной бородкой, протер подолом рубахи очки, нацепил их на нос.

— А ну, потише!.. Чего вы туто-ка!.. — Писарь уже успел хватить сорокаградусной, поэтому язык у него слегка заплетался. — Затараторили... Жиды на ярмарке! Слушайте! Э-э... Анциферов Александр!

— Я.

— Проходи. Трубин Иван!

— Сошников Петр!

— Урюпин Тимофей!

— Веснин Василий!
— Ушаков Егор!
— Я!

Писарь поверх очков посмотрел на Егора.

— Хм, ты, значит, туто-ка... приехал? То-то же.

В коридоре людно и, как в предбаннике, полно голых людей. Атаман приказал раздеваться, подходила очередь казаков Верхне-Ключевского поселка. Егора вызвали вместе с Голобоковым. Сначала они вошли в комнату, где работала врачебная комиссия — три врача в белых халатах. Первым осмотрели, послушали Егора, затем взвесили, смерили рост, объем груди, головы.

— Здоров,— буркнул седой, с острой бородкой врач и, сунув в руки Егора бумажку — медицинское заключение, кивнул головой на дверь в следующую комнату.— Иди.

В комнате, куда зашел Егор, заседала призывная комиссия: два офицера из третьего военного отдела и станичный атаман, все тот же Фалилеев, произведенный за долготную службу в атаманах в зауряд-прапорщики. Слева от них за длинным столом скрипели перьями писаря, стоял навтыжку поселковый атаман Тимоха. Отдельно от всех за маленьким столом сидел черноусый есаул Эпов из четвертого военного отдела, из казаков которого формировались Аргунские полки. В этом году в четвертом отделе для укомплектования 1-го Аргунского полка не хватало казаков призывного возраста. В третьем же отделе, выставляющем Нерчинские полки, наблюдалось обратное явление: казаков было больше, чем нужно на пополнение 1-го Нерчинского полка. Поэтому, согласно распоряжению войскового управления области, есаул Эпов и прибыл сюда, чтобы набрать нужное количество казаков.

Краснея от смущения — первый раз в жизни приходится стоять голому перед начальством,— Егор подошел к столу, подал бумажку, встал во фронт.

Председательствующий, в погонах войскового старшины, пробежал глазами бумажку, с ног до головы осмотрел Егора.

— Та-ак, рост два аршина десять с половиной вершков, вес четыре пуда десять фунтов, здоров. Тэ-эк. Что это у тебя за шрам?

— Чирей был, ваше высокоблагородие.

— М-ну, поверни голову. Та-ак, и на плече шрам. Шаль, кабы не это, в гвардию пошел бы.— И к писарям: — Пишите в полк.

— Геннадий Николаевич, отдайте этого мне,—попросил Эпов.

— Хорошо, запишите себе,— согласился председатель.— В 1-й Аргунский пойдешь, Ушаков, понял?

— Так точно, понял.

— Можешь идти. Следующий!

Выйдя из приемной, казаки одевались, спешили на площадь, где их с нетерпением ожидали старики. Дождавшись, когда все верхнеключевские казаки прошли комиссию, Тимофей Кривой тоже поспешил на площадь и, хотя старики уже знали о результатах призыва, счел нужным сообщить им как новость:

— Сашку Анциферова в гвардию, в Атамановский полк взяли, Ефимку Дюкова с Темниковым в батарею, Петьку Подкорытова, Егорку Ушакова, Голобокова в Первый Аргунский полк, остальные в наш, в Первый Нерчинский.

— Федьку Чашина куда?

— Остался вчистую, по четвертой статье¹. У него, оказывается, грыжа.

— Да и так-то, какой же из Федьки казак? Как дите малое, глупый.

— На это, брат ты мой, не смотрят, кабы не грыжа, забрали бы и Федьку.

— У нас в сотне Сафронов был, Дуроевской станицы, так еще почище нашего Федьки, помучились с ним месяц — и рукой махнули. Командир наш, сотник Мунгалов, определил его вроде как работником на кухню — воду возить да картошку чистить. Так он и проболтался всю службу на кухне.

— Теперь ишо забота: коней бы приняли по-хорошему, без браку,— и слава богу.

— Тише! Писарь чегой-то говорит станишный.

— Во-он оно што! Перерыв на два часа. Поехали, братцы, обедать, у меня тут сослуживец, Иван Осипыч.

Вскоре обширная площадь опустела, казаки разъехались по селу. У каждого из приезжих в Заозерской оказались знакомые, родственники, сослуживцы, поэтому многие из стариков после обеда вернулись на станичную площадь изрядно подвыпивши. Шумная, говорливая толпа стариков окружила выставленный на площади стол, где заседала комиссия: офицер с погонями хорунжего, два ветеринара в белых халатах и станичный писарь, розоволицый, начинающий лысеть блондин Березин.

¹ Согласно статье четвертой положения о воинской повинности, казаки призывного возраста, имеющие физические недостатки: хромые, кривые и тому подобные инвалиды,— от несения воинской службы в армии освобождались.

На парадном плацу в конном строю выравнились казаки. Командовавший казаками старший урядник Дюков построил их двумя шеренгами, лицом друг к другу, затем приказал спешиться, расседлать лошадей и справа по два подводить их на осмотр.

Егор подвел своего коня по счету пятым. Седоусый ветеринар с багровым, опухшим от пьянки лицом, привычным приемом открыл гнедому рот, заглянул ему в зубы. Затем, вывернув веки, посмотрел глаза, ощупал до бабок ноги, внимательно осмотрел копыта и, смерив рост, хрипло сказал, обращаясь к офицеру:

— Годен, ваше благородие.

Офицер кивнул писарю, и тот под диктовку ветеринара записал на бланке бледно-голубого цвета: «Мерин масти гнедой, возраст — четыре года, рост — два аршина».

— Приметы? — не отрывая пера от бумаги, спросил писарь.

— Грива на правую сторону, — прохрипел ветеринар, — тавро на левом стегне, во, смотрите!

Егор повернул гнедого боком к писарю, показывая отчетливо выжженное клеймо — букву «П».

Первым забраковали коня у Алешки Голобокова.

— Что вы, господин дохтур? — взмолился, сразу отрезвев, отец Алешки Демид, добродушный русобородый человек. — Да вить лучше-то нашего коня поискать надо! Чем же он, скажи, не строевик!

— А это что? — ветеринар, согнувшись, подпирая коня плечом, рывком поднял его правую переднюю ногу. — Видишь? Трещина на копыте. То-то и есть! Отводи в сторону. Следующий! Демид — к офицеру.

— Ваше благородие! — с дрожью в голосе заговорил он, просительно прижимая руки к груди. — Заступитесь, будьте настолько добры! Конь — любо посмотреть, целый год готовил его, и на тебе — забраковали. Да хучь бы што серьезное, не так бы обидно, а то трещинка, чуть глаз берет. Ее и вывести-то плевое дело, подкую его на энту ногу, и за лето она изойдет, головой ручаюсь, изойдет! Вить копыта-то у коня растут, хучь кого спросите.

Хорунжий отрицательно покачал головой.

— Не могу, дед, не могу! Забраковали — значит, есть основание, давай другого коня.

— Смилуйтесь, ваше благородие! Где же я возьму его, другого-то? Кабы у меня их табун был!

Почувствовав, что кто-то тянет его сзади за рукав, Демид обернулся и увидел стоящего за ним Тита Лыкова. От него сильно разило водкой, хотя на ногах Тит держался крепко, с обычным для него напускным молодечеством: усы закручены кверху, гнедая с рыжими подпалинами борода расчесана на двое, на голове новая фуражка с урядницкой кокардой. В поводу у Тита молодой саврасый конь.

— Чего ты расплакался-то? — заговорил он, отводя Демиду с конем в сторону. — Подумаешь, беда какая, коня забраковали! Бери моего Савраску, сменяем — и всего делов. Я уже его подводил, признали годным.

— Что же делать-то, придется сменять. — Демид посмотрел на саврасого, горестно вздохнул. — Оно и жалко, конь-то у меня хороший, надежный, а видишь, как получилось?

— Э-э, Демид Прокопич, чего его жалеть? Меняем, четвертную с тебя придачи, и дело в шляпе: Савраска твой — Рыжко мой.

— Четвертную? — не веря своим ушам, переспросил удивленный Демид. — Да ты что это, Тит Иваныч, всуерьез?

— А чего же я, шутики приехал шутить?

— Да ведь конь-то мой не в пример лучше твоего!

— Ну уж это ты, брат, оставь. Кабы лучше был — не забраковали бы. — И зачистил скороговоркой, расхваливая достоинства саврасого.

Демид кричал с досады, охал, оглядывался на подошедших казаков, ища у них сочувствия, и оно приходило, выражаемое горестными вздохами, репликами, осуждающими Тита.

— Эхма, кому разор эта служба, а кому нажива.

— Обижаешь, Тит Иванович, человека, нехорошо так.

— Подобру-то с тебя придачи следует.

— А вы чего суетесь не в свое дело? — загораясь злобой, орал Лыков. — Не ваш конь, не ваш воз! И нечего тут клинья вбивать.

К спорящим подошел Сафрон Анциферов. Поняв, в чем дело, добродушный Сафрон решил выручить Демиду из беды.

— Смотри моего Воронка, — сказал он, дружески хлопнув Демиду по плечу. — Я его и не думал менять, заводным привел для Сашки на всякий случай, но раз такое дело — выручу. Я, конечно, наживаться на чужой беде не намерен, придачи мне никакой не надо, бери Воронка, подводи.

Обрадованный Демид не знал, как и благодарить Сафрона, и вскоре они с Сафроном подвели к ветеринару вороного с белой звездой на лбу четырехлетка. Но, видать, день этот был не-

счастливым для Демида: забраковали и вороного. Ветеринар нашел, что у него поврежден скаковой сустав левой задней ноги.

— Ну что это такое! — чуть не плача с досады, воскликнул Демид. — Вот еще наказание-то господнее, матери твоей черт!

— Не может этого быть, — пробовал протестовать Сафрон. — Кабы повреждение в суставе, он бы хромотал.

— Сказано, повреждение — значит, повреждение. — Еще более багровея, ветеринар повысил голос: — Отводи давай. Ну?!

К месту приема подвели лошадей очередные казаки.

— Отходите, деды, не мешайте! Чего стали?

Демида и Сафрона с Воронком оттеснили в сторону.

— Сговор у них с нашими горлопанами, побей меня бог, сговор! — косясь одним глазом на ветеринара, шептал Сафрон Демиду. — Подкупили они Яшку-ветеринара, вот он и бракует почем зря, а они, пользуясь случаем, шкуру дерут с нашего брата.

— Подавиться бы им, гадам проклятым! — И, прибавив еще парочку крепких слов в адрес ветеринара, Демид даже скрипнул зубами от злости, хотя и был он добродушным, миролюбивым человеком.

— Мы-то, дураки, не сообразили, — продолжал Сафрон. — Надо бы сунуть Яшке-то трояк, и все было бы в порядке, я-то его, пьянчугу, давно знаю. Опять у какого-то казачка не приняли коня? Сколько он, подлюга, набраковал сегодня! Титко уж двух коней сменял.

На площади среди казаков уже несколько человек ходили с забракованными конями в поводу. То тут, то там возникали меновые сделки, шум пьяных голосов, споры из-за придачи, божба и ругань неслись отовсюду.

К вечеру сменял-таки Демид своего рыжего на саврасого конишку Тита. Денег у Демида не было, поэтому за двадцать рублей придачи, которые сорвал с него Тит, условились, что будет отрабатывать Алешка.

ГЛАВА XII

На окраине за огородами, там, где дорога из села, спускаясь под горку, уходит в долину Ингоды, стоит старая раскидистая береза. Широким шатром раскинула она вокруг себя густую сеть ветвей. В зелени листы белеют крупные сучья, а на толстенном — не обхватишь руками — стволе уже и в помине нет бересты, черная растрескавшаяся кора с северной стороны

обвалилась, обнажив серые, высушенные ветрами верхние слои дерева. Давно, старики не запомнят, как давно стоит она здесь. Много и плохого и хорошего пережила на своем веку старая береза. Терпеливо сносила она жестокие морозы, с диким воем обрушивались на нее злые зимние, а чаще всего мартовские вьюги. Все выдерживала береза, а с приходом весны вновь оживала и, как девушка на гулянье, прихорашивалась, одеваясь в свой лучший, ярко-зеленый наряд. Десятки птиц гнездились в ее густой листве, высиживали птенцов, по утрам забавляли хозяйку веселым щебетом, а летние ночи умывали ее свежей росой. Охотно принимала она и теплую ласку весеннего солнца, и живительную влагу летних дождей, а когда наступала чудесная забайкальская осень, за все это полностью рассчитывалась старуха: щедро, не считая, сыпала она на землю золото листвы.

Многие поколения местных казаков, уходя на службу, запомнили последнее, что видели они, оглядываясь на родное село, — старую березу. А возвращаясь через несколько лет, первое, что видели они, подъезжая к селу, была опять-таки старая береза. И невозможно было представить себе поселок Верхние Ключи без его березы на окраине.

Много раз приходилось сживать под нею и матери Егора, Платоновне. Пришла сюда она и сегодня. Один из толстых корней березы торчит поверх земли, на нем, как на скамье, сидит по-праздничному приодетая Платоновна. Сегодня из станицы должен приехать Егор, его и поджидала она и, часто поглядывая на уходящую вдаль дорогу, вязала чулок.

Много воспоминаний связано у Платоновны со старой березой. Здесь когда-то до утренней зорьки просиживала она с Матвеем. Здесь же сказала ему, что будет ждать его до прихода со службы. И ждала. Многие парни ухаживали за красавицей Дусей, сватались к ней, но все получали отказ. Крепко держала она свое слово и в долгие четыре года ожидания часто приходила все к этой же березе, сидела здесь, вспоминая Матвея. Дождалась — и опять ночи напролет просиживала здесь с Матвеем. Да и после того, как поженились, не заросла ее тропка к березе. Во время весеннего сева Матвей педелями жил на дальних пашнях, а в субботу, управившись по хозяйству и жарко натопив баню, Дуся поджидала его у старой березы.

— Какое же это было золотое времечко!.. — тяжело вздыхает Платоновна. В огрубевших, натруженных пальцах ее быстро мелькают спицы, словно дальняя дорога, тянется из

клубка бесконечная нитка пряжи, а в памяти, как петли в чулке, одно на другое нанизываются воспоминания.

Отделившись от отца, поселились в своем домишке, пережили нужду, схоронили двух детей. Жили в согласии, работали, не заглядываясь на солнце, старались и уж выбились из нужды, обзавелись хозяйством, и старший сын стал помощником в работе, только бы жить да радоваться, а тут, как снег на голову, война в Китае. Откуда было знать Платоновне, с какими китайцами пришлось воевать ее Матвею? Не знала она, что эти бунтовщики, боксеры, о которых приходилось слышать ей, в самом-то деле были простые труженики-китайцы, восставшие против своих поработителей. Платоновна проклинала войну, супостатов, убивших Матвея. А кто они? Q6 этом она и не думала.

Слезы туманят глаза, слезы... Сколько их выплакала Платоновна за время войны! Много, много раз с ребенком на руках приходила она опять-таки к старой березе, обливаясь слезами, вынимала из-за кофточки письмо Матвея, подолгу смотрела на непонятные закорючки.

Кончилась война, вернулись домой казаки. При въезде в село радостными кликами приветствовали они старую березу. Весело встречали казачки своих служивых, а ей... ей привели казаки Матвеева коня.

— Уж ты конь, ты мой конь, где хозяин твой? — заголосила тогда, запричитала старуха — мать Матвея. А Платоновна, рыдая, обняла коня за шею, и если бы не поддержала подоспевшая к ней соседка, свалилась бы ему под ноги.

Теплый ветерок сушит слезы. «Судьба, от нее не уйдешь, не уедешь, — вздыхает Платоновна, и в руках ее мелькают, мелькают спицы. — Вот и дети выросли, а чем старше они, тем больше забот да горя. И сыновья хорошие, послушные, работающие, и лицом-то, на зависть людям, пригожие, да судьба у них злая. Оба выросли в чужих людях. Егор за последние четыре года и четырех дней не прожил дома, а теперь на службу уйдет на четыре года. И Михаил уж работает у хозяина за обмундировку. Вот она, судьба-то у них какая...»

День подходил к вечеру, от березы, от крайних домов поселка на дорогу и дальше ложились длинные косые тени. Вдали в клубах пыли на дороге показалось стадо коров.

«Что же это так долго задержались они? — забеспокоилась Платоновна. — Вот уж и коровы идут. Хорошо, что Миша дома сегодня, как знала, что задержусь, наказала ему телят загнать».

Уже солнце коснулось краем сопки, когда вдали на дороге

показалось темное пятно, ближе, ближе, и вскоре стало видно, что едет группа всадников.

— Они! — обрадовалась Платоновна, уже собравшаяся было уходить. — Теперь уж дождусь.

В телегах и вершно с шумом, с песнями едут подвыпившие старики. Впереди всех катит тарантас, запряженный парой лошадей. На передке рядом с кучером, спиной к лошадям, сидит писарь, на заднем сиденье, в обнимку с атаманом, — пьяный Тит Лыков. Сегодня ему повезло, трех лошадей сменял он, сорвав с казаков около семидесяти рублей придачи. После меня Тит распил с казаками не одну бутылку магарыча и теперь, совсем осовелый, клевал носом, тычась головой в атамана. Выменянных лошадей где-то там позади вел работник.

Следом за атаманом на паре вороных рысил Сафрон Анциферов. В телеге у него сидели подвыпивший с горя Демид и старик Уваров. Борясь с одолевающей его дремотой, Демид то ронял голову на грудь, то снова вскидывал ее и, еле ворочая языком, принимался ругать Тита. Не слушая Демида, старик Уваров орал песни, ему басом подтягивал правивший лошадьми Сафрон. При въезде в село осоловелые глаза Уварова на мгновение задержались на березе.

— Вот она, матушка, стой-ит! — воскликнул он, широко взмахнув рукой. — Кум Сафрон, а кум!

Во поле березонька стоя-я-ла-а,
Во поле кудрявая стоя-я-ла,
Люли, люди, сто-я-ла...

— Платоновна, здравствуй! Встречай своего казака! Кум, останови, тпру! Кум Сафрон, останови, пожалуйста!

Некому березу залама-ати!

— Кум, а кум!

Некому кудряву защипа-а-ти,
Люди, люди, заломати...

Вблизи села молодые казаки сбавили ход, пропуская мимо себя телеги стариков, поехали шагом, кто-то из них затянул песню:

Весе-е-ли-и-итесь, храбрые казаки.

Все хором подхватили, и над селом, над притихшим лугом полились стройные звуки старинной казачьей песни:

Честью, сла-а-вой, славою своей.
Покаши-и-те всем, друзья, примеры,

Ка-ак из ружей бьем своих врагов.
Бьем, разим, не портим свой порядок,
Только слу-у-шаем один приказ.
Когда ска-а-ажут наши командиры,
Мы то-о-гда-а идем, мы рубим, бьем.

Заметив Платоновну, Егор отделился от казаков, пустил гнедого галопом и на ходу прыгнул с него у березы.

— Мама! — радостно воскликнул он, обнимая и целуя Платоновну. — Заждалась меня? Мы бы давно уж приехали, да начальство наше вздумало конное занятие проводить.

— Дай-кось я посмотрю на тебя получше. — Отстранив руками Егора, Платоновна с довольным видом осмотрела его с ног до головы. — Вот он, казак-то какой brave вырос у меня! Вылитый отец. Куда тебя определили?

— В полк, мама, в Первый Аргунский полк.

До дому шли пешком. Егор, ведя коца в поводу, поддерживал мать под локоть.

— А постарела ты, мама, за это время, — участливо говорил он, вспоминая былую красоту матери. — И морщинки у глаз появились, и волосы на висках поседели.

— Старее, Егорушка, да и жизнь-то провела, сам знаешь, в трудах да в заботе. Теперь бы уж пора и на роздых, внуков поначить, а оно все не так.

Михаил поджидал у ворот. В отличие от Егора, Михаил походил на мать: такой же овал лица, изгиб бровей, такие же черные вьющиеся волосы и лучистые карие глаза. Высокий и широкий в плечах, он казался старше своих восемнадцати лет.

— Смотри, какой здоровяк вымахал! — удивленно и радостно воскликнул Егор, здороваясь с братом. — И ростом-то почти догнал меня.

— Давай сборемся! — ощерив в улыбке белозубый рот, предложил Михаил.

— Рановато тебе еще со мной бороться.

— Да ничего, брат, не сразу осилишь. Мы третьего дня на мельницу ездили с хозяином, силенку там пробовали. Мешки у нас пуда по четыре с половиной. Он один мешок занес в мельницу, да и то кряхтел сколько, а я все, и легонько.

— Молодец! — Разговаривая, братья зашли в ограду. Егор принялся расседлывать гнедого. Платоновна ушла доить коров. Поручив Михаилу отвести и стреножить на лугу коня, Егор занес в сени седло, шашку повесил на гвоздик у двери, тут, как он помнил, всегда висела шашка отца.

Выйдя из избы, Егор по-хозяйски обошел ограду, заглянул

во двор к коровам, в низенький сарайчик, где на жердочках сидели куры, потрогал рукой столбик, который уже давно подпирал полусгнивший желоб крыши, и сел на крылечко. Густели сумерки, над сопками в небе висел серебристый серп молодого месяца, на болоте под горой хором кзакали лягушки. С луга вернулся Михаил с уздой в руках, сел рядом.

— Хороший у тебя строевик.

— Конь — лучше некуда.

— Я себе такого же наметил у хозяина, теперь ему два года. Рыжий, белоногий, ха-ароший будет конь.

— Смотри не ошибись.

— Не-ет, я его испытаю сначала не один раз и дяде Игнату покажу, а уж он-то насчет коней дока.

С улицы до слуха братьев донеслись голоса парней, смех, один из парней тренькал на балалайке, двое или трое подпевали:

Уж ты, тятка мой родной,
Я не пахарь, тятка, твой.
Ах, не косец я луговой, —
Разоритель домовый.

Рад тебя бы не зорить,
Да служба царская велит.

— А ведь верно сложили песню-то, — вздохнув, сказал Егор. — Мы и всамделе для отцов да матерей разорители, разорим их — и на службу на четыре года, а они тут, бедняги, как знают.

— Мы-то тут ни при чем.

— Конечно, ни при чем. Я к тому говорю, что правильно в песне поется, для казака сыновья — одно разоренье. Вон Устин-то Петрович совсем, говорят, разорился, как пятерых-то обмундировал.

— Шестого готовит, Ваську, а там Демидко подходит, годом меня моложе. Быков-то уж одна пара осталась. Ну, этим так и надо, шибко уж нос задирали, как богатые-то были, а теперь сами пошли по работникам. Васька-то у Тита Лыкова живет, коня отрабатывает. Ну, а мы-то с тобой никого не зорим. Наша мама еще больше хозяйством обзавелась. Вон у нее две коровы, и куры, и поросята, и в огороде всего насажено полно.

— Так это она все своим трудом нажила, а мы-то ей чем помогли? Правда, хлеба я посылал ей с присевка, так много ли его?

— Хлебом-то я тоже буду помогать ей, присевок вырядил у хозяина. Да наша-то мама проживет, голодать не будет, как другие.

— Хорошо, что она такая работающая, да здоровье ей позволяет. А не дай бог, не будет у нее здоровья, на что она станет жить? На какие доходы?

— А чего вперед загадывать!

— Нет, Миша, об этом теперь надо говорить. Я вот уйду на службу, а ты смотри помогай ей, чем сможешь. В случае заболеет али еще какое несчастье, ежели не будет чем помочь — корову продай, надо будет — и вторую, а маму соблюди, она нас не бросала в сиротстве, как тяжело ни было, а вырастила.

— Конечно, чего ты мне про это говоришь? Я и сам хорошо понимаю.

— То-то же.

Ужинали при свете лампы. Пока Платоновна готовила ужин, Егор то ходил взад и вперед по маленькой комнатухе, перекидываясь словами с братом, то садился на скамью и любовно осматривал привычную домашнюю обстановку. Все здесь было по-прежнему, и каждая вещь находилась на том же месте, как и много лет назад, и все содержалось в таком же порядке и чистоте.

Избу, как и все, Платоновна белила известью, но она знала особый способ приготовления ее. В разведенную известь она добавляла не только синьку, но и соль, и крахмал, и еще что-то, даже разбивала в нее несколько сырых яиц. Поэтому потолок и стены избы приобретали белоснежный, отливающий синевой цвет и блестели, словно покрытые лаком.

Весь передний угол заняла божница с иконами, там же — Егор это хорошо знал — лежали отцовские письма с войны и квитанции за подати. На стенах — пожелтевшие от времени фотографии. На одной из них — отец Егора, Матвей, и Платоновна с маленьким Егором на руках. На другой — Матвей и еще два чубатых казака стоят с обнаженными шашками, на груди у отца белеет цепочка от часов. Есть фотографии, где он заснят верхом на коне с пикой, есть групповые, человек по двадцать и более казаков.

С фотографий Егор перевел взгляд на окна. Оконные стекла все так же кое-где желтеют заплатами из бересты, но все они чисто промыты, протерты, па подоконниках масса цветов в глиняных горшочках, тут и кроваво-красные розы, и сиреневый пахучий табачок, и еще какие-то голубые, желтые и розовые.

И куда бы ни глянул Егор — все ему давным-давно знакомо, все это мило и дорого. Все чисто, опрятно, желтизной отливает проскобленный пол, на сундуке, на скамьях коврики из разноцветных лоскутков. Как золотой, блестит начищенный самовар. Над печкой розовая, побелевшая от стирки занавеска, а на печке — Егор в этом уверен — лежит прятка с шерстью, и около трубы висит большой пучок сушеной мяты — от нее в избе всегда такой приятный запах... Но сегодня к запаху мяты примешивается медвяный аромат подсыхающей травы — пырея и дикого клевера, которыми густо застелен пол.

«И всегда у нее чистота, порядок, везде она успевает: и в доме, и в огороде, и скотину наблюдать, и в людях поработать, — с восхищением думал про мать Егор. — Вот Настя-то бы ей ко двору пришлась, уж она бы из нее сделала хозяйку!»

Платоновна угостила сыновей куриным супом с лапшой, творогом со сметаной, яичницей и молочным киселем.

— Сама-то, мама, садись с нами, — попросил Егор. — Хватит, не носи больше ничего, и так полный стол наготовила, как на свадьбу.

— У меня же все свое, кушайте на здоровье. — Поставив на стол тарелку с хлебом, Платоновна села, положила на колени себе полотенце. — Теперь бы можно жить, совсем бы выбились из нужды-то, кабы не служба эта анафемская. С ума она у меня не идет, а уж до свадьбы твоей, не знаю, доживу ли? — И, словно спохватившись, что сказала лишнее, переменила тон: — Ну да ничего, не мы первые, не мы и последние. Люди-то хуже пас живут, да не жалуются. Дал бы бог здоровья, все переживем и свадьбы твоей дождемся.

Егор, краснея, потупился, молча принялся за еду, и, оправившись от смущения, заговорил о другом:

— Сено-то, мама, как будешь косить?

— Как люди, так и я.

— У тебя дома работы хватает.

— Утречком подымусь пораньше, управлюсь с домашней работой, литовку¹ на плечо — и на покос. Всегда так делаю.

— Тяжело тебе будет. Вечером придешь, устанешь, а тут надо и коров подоить, и поросят накормить, и себе еду приготовить, когда же спать-то будешь?

— Сон — дурак. Много спишь и мало спишь — зимой отоспимся.

¹ Литовка — коса.

Еще в пору раннего детства он разбил стакан, уронив его со стола. Платоновна не стала наказывать плачущего Егора, а расколотую надвое посудину снесла к деду Ереме. Дед сложил стакан и натянул на него берестяной обруч. С того времени прошло не менее десяти лет, а опоясанный берестой стакан служит исправно и до сих пор.

— ...бо-ольшая драка была,— укладываясь рядом, продолжал Михаил начатый разговор.— Андрюшку Глазунова кто-то из верховских навернул кирпичом по ноге, до се ишо храмлот. А у Катюшки Уваровой ворота дегтем вымазали, должно быть, Петька Подкорытов обработал. Мы с ним осенесь сети ставили на рябков... Ты уже спишь, кажись?

Проснулся он, когда уже взошло над сопками солнце. Он не слышал, как Платоновна рано утром разбудила Михаила, отправила его к хозяйину. Она уже подоила коров, проводила их на пастбище, сходила на речку за водой и, брякая посудой, готовила завтрак.

Из ограды через маленькую калитку Егор прошел в огород. Тут, как и во всем маленьком хозяйстве Платоновны, чистота

134

В яркой зелени овощей радует глаз обилие цветов: тут и голубые, как летнее небо, незабудки, анютины глазки, малиновые шелковистые бархатцы, фиолетовые астры, розовые вьюнки густо оплели частокол, что отделяет огород от ограды. Но больше всего здесь маку — ярко-красные головки его рассыпались по всему огороду. Торчат — лицом к солнцу — подсолнухи, большие, отороченные желтыми лепестками шляпы их напоминают собою казачьи фуражки.

Огород, полого спускаясь, уходил вниз, туда, где начинались вытоптанные телятами лужайки околицы. Еще дальше виднелось обрамленное камышом озеро, где всегда плавало множество домашних уток и гусей. За озером широко раскинулся зеленый луг, уходящий к северу долины, под горой расправленным серебром блестела излучина Ингоды. Полюбовавшись ею, Егор побродил между грядками, сорвал несколько стручков еще не дозревшего гороха, вспомнив при этом, как в детстве его, так же как и других ребятишек, взрослые пугали полудницей. По рассказам покойной бабушки, страшная, похожая на большую лягушку полудница все лето живет в огороде, больше всего в горохе, подкарауливает там ребятишек. Егор хорошо помнил, как, наслушавшись рассказов бабушки, он даже подойти боялся к огороду, опасаясь нарваться на полудницу.

В этот день Егор впервые в жизни почувствовал себя хозяином. И радостна была ему эта работа «на себя», он так увлекся ею, что и не заметил, как пролетело время, солнце подвинулось к полудню. Он забыл даже про Настю.

— Эх, мать честная, до чего же хорошо на своей-то работе! — Воткнув топор в березовый обрубок, Егор сел на перевернутое кверху^ дном корыто, закурил и, глубоко вздохнув, покачал головой.— Хоть с годик поработать бы дома, на своей воле!.. Привез бы к себе Настю, и зажили бы дома припеваючи. Мама дома бы находилась, а мы работали бы с Настюшей и нужды никакой не знали бы. Вот оно и было бы счастье, лучшего мы бы и не желали.

И все-таки после обеда он подавил в себе желание остаться еще на денек у матери, засобиравшись в дорогу. Все свое обмундирование вместе с сумами и шашку решил оставить дома и, распрощавшись с матерью, провожаемый ее взглядами, полными нежной грусти, выехал в Антоновку. В сумерки он надеялся уже быть там, где будет поджидать его Настя.

Г Л А В А Х П И

Как и предполагал Егор, Настя ожидала его в условленном месте. Дождалась. Ночь пролетела как один час, домой она вернулась на рассвете. Сняв с ног ботинки, тихонько прошла она на веранду, потянула за дверную скобу. Дверь оказалась закрытой на крючок. Однако это не смутило Настю: каждый раз, уходя на свидание, она — на всякий случай — открывала запоры в кухонном окне, которое выходило на веранду. Сделала она так и сегодня. Осторожно открыв окно, она почти бесшумно проникла на кухню, вышла в коридор и, чуть не вскрикнув, остановилась, схватившись рукой за кухонную дверь. Сердце ее усиленно заколотилось от страха, по спине побежали мурашки: дверь в комнату, где спали старики, была открыта. Насте показалось даже, что около нее кто-то стоит...

«Что же это я, господи! — опомнившись от страха, чуть не вслух сказала Настя.— Чего бояться-то? Пить ходила на кухню, только и всего».

И уже смелее пошла вперед, но у открытой двери из любопытства остановилась, послушала. Старики спали, слышно шумное, с похрапыванием дыхание Макаровны, тоненько высвистывал носом Савва Саввич.

Стараясь идти как можно тише, Настя вошла к себе в спальню, на цыпочках прошла мимо спящего, как ей показалось Семена. Спала Настя отдельно от мужа, на диване. Она уже' разделась и, обернувшись на скрип кровати, увидела сидящего на постели Семена — белая фигура его резко выделялась в сумеречной мгле.

— Ты это где же шлялась всю ночь? — хриплым спросонья голосом спросил Семен, почесывая голую, тощую грудь.

— У Анютки Казанцевой была.

— У Анютки, у Анютки! — сердито передразнил Семен.— Что у вас за разговоры до утра!

Настя не ответила, с головой покрывшись байковым одеялом, легла на диван.

С минуту сидел Семен молча. Его давно злило, что после женитьбы все пошло не так, как он предполагал. Он думал, что, ставшей женой, хозяйкой богатого дома, Настя из благодарности будет относиться к нему почтительно, с уважением, а потом постепенно привыкнет и полюбит. Но этого не случилось, богатство Настю как будто и не радует, мужа она всячески избегает, а оставшись наедине с ним, ведет себя как посторонняя, коротко, односложно отвечая на его вопросы. А тут еще эта его физическая неполноценность. И Семен уже начал побаиваться, как бы не вздумала Настя совсем уйти от него. Такие случаи бывали, в Покровке ушла жена от мужа, и живет он теперь «соломенным вдовцом». От этой мысли Семена кидало в дрожь, и, подавляя свою злость, он всеми силами старался вадобрить, расположить к себе Настю. Он уже раскаивался, что сейчас говорил с нею таким тоном, и, чтобы загладить свою вину, подошел и сел у ног Насти на край дивана.

— Ты, Настенька, не сердись, я ведь так это, не со зла,— заискивающе ласково лепетал он, осторожно приподнимая край одеяла,— это я просто так.

— Да ладно уж.

— Нет, ты скажи, сердисься на меня?

— Не сержусь. Спи иди, мне уж скоро вставать надо.

Повернувшись лицом к стене, Настя притихла. Не смея тревожить ее, Семен посидел еще немного, тихонько дрожащей рукой погладил ее ногу и, тяжело вздохнув, отошел к своей кровати.

Утром Настя с двумя поденщицами работала в ограде — между амбаром и телячьей стайкой мяли и трепали коноплю. Савва Саввич с Семеном на веранде пили чай.

— Ты что-то сегодня, тово... заморочал вроде? — макая блин в сметану, осведомился Савва Саввич.— Уж не занемог ли?

— Не-ет, так что-то... спал плохо,— уклончиво ответил Семен, чувствующавший себя не в духе после разговора с Настей.

Савва Саввич сокрушенно вздохнул. Он жалел Семена, но,

досадуя на его мужское бессилие, часто думал об этом и с некоторых пор сам стал заглядывать на сноху. А она, как на грех, все более хорошела. За это время она чуть пополнила, а лицо ее, кровь с молоком, так и пламенело румянцем. Словно цвела Настя на зависть людям. И всякий раз, когда Савва Саввич смотрел на красавицу невестку, лезли ему в голову грешные мысли: «Эх, Семен, Семен, такой девкой овладеть не можешь. А что, ежели... господи милостивый, спаси и помилуй!» Он гнал от себя эти мысли, а они все настойчивее приходили на ум. Вот и теперь, загородившись от Семена самоваром, старик украдкой поглядывал туда, где работали бабы, ласкал Настю блудливым взглядом. Она стояла к нему спиной, склонив гибкий стан, колотила по конопле трепалом, из-под коричневой юбки матово белели голые полнокрытые ноги.

После завтрака Семен взял с собой брезентовый плащ-дождевик и, уходя из дому, сказал отцу, что сегодня едет в Заиграево на станичный сход.

Семен пробыл в станице весь день и остался там ночевать. В эту ночь Савва Саввич долго не мог заснуть. Стояла у него в глазах Настя, манила к себе, и, уже не в силах бороться с собою, он решился. Дождавшись, когда заснула Макаровна, Савва Саввич тихонько слез с кровати и, крадучись как вор, двинулся к Насте. Вот и дверь в ее комнату. Саввич легонько нажал на филеичатую створку. Открываясь, она скрипнула, и старик замер, холодея от страха. Однако в доме по-прежнему было тихо. Затаив дыхание, Савва Саввич, бесшумно двигая ногами, подкрался к дивану, где спала Настя. Глаза его так освоились с темнотой, что он хорошо видел спящую невестку, ее лицо, рассыпанные по подушке черные волосы, из-под ватного одеяла волнующе-смутно белело оголенное колено. Стараясь не дышать и чувствуя, как в груди его усиленно заколотилось сердце, старик склонился над Настей, положил па нее дрожащую руку. Затем он, так же тихо, отвернул край одеяла, коснулся рукой девически тугой груди и... Настя, вздрогнув проснулась.

— А!.. Кто это? — испуганно вскрикнула она, руки ее машинально взметнулись вверх, коснулись длинной бороды и Настя узнала свекра. Как лопнувшая пружина, мгновенно распрямившись, вскочила Настя с постели, ухватила старика за воротник, и тут Саввичу показалось, что его по уху трахнули поленом. Как подкошенный плюхнулся он на диван, вскочил было на ноги, но от второго подзатыльника вылетел в коридор. Опомнился он уже у себя на кровати. К счастью для него, Ма-

каровна так крепко спала, что не слыхала никакого шума. Не проснулась она и тогда, когда Савва Саввич, забыв всякую предосторожность, бухнулся в постель, толкнув старуху локтем. Она только повернулась к нему спиной, промычала что-то невнятное, почмокала во сне губами.

«Бож-же ты мой, что я наделал!» — досадуя на самого себя, думал Савва Саввич, ощупывая вспухнувшую от удара шишку на левом виске. Он потрогал рукой одеревеневший от боли затылок, провел рукой по шее и, к ужасу своему, обнаружил, что в руке Насти вместе с оторванным воротником остался и гайтан с золотым крестиком. Досаднее всего было то, что крестик-то ему подарила Макаровна ко дню сорокалетия их супружеской жизни.

— Вот так вли-ип! — леденея при мысли о предстоящем позорном скандале, шептал Савва Саввич. — Попал, как кур во щи. Господи боже мой, Микола-чудотворец, спаси и помилуй раба божьего Савву многогрешного! Съест меня старуха, прямо-таки сырого съест!.. — И, тяжело вздыхая, ощупывал распухшее ухо. Так он и промучился всю ночь. А утром, чуть свет, избегая встречи с Настей и еле ворочая распухшей шеей, оседлал Сивка и уехал на заимку.

Три дня прожил Савва Саввич на заимке. Спал в зимовье вместе с работниками, а днем, когда работники уходили на прополку, шел в колок. Там он мочил себе шею холодной водой, прикладывал к ней листья черемичы.

На четвертый день, когда опухоль на шее спала, Савва Саввич приказал работникам кончать прополку, выезжать домой, готовиться к сенокосу. Сам он вернулся домой к вечеру. Сойдя с коня и увидев на веранде Макаровну, старик оробел. Отдав коня Ермохе, шел к дому, как приговоренный к плетям. Медленно поднялся он по ступенькам крыльца и, пересиливая дрожь в голосе, поприветствовал жену:

— Добрый вечер, Макаровна!

— Здравствуй, — спокойно ответила старуха, и у Саввы отлегло от сердца: «Слава тебе, господи, не знает, стало быть, не сказала та ничего».

Еще утром, будучи на заимке, Савва Саввич придумал средство избавиться на время от Насти — отправить ее на покос. «За работой-то, — думал он, — время пройдет скорее, глядишь, все забудется помаленьку». Настю он увидел на кухне, когда вошел в коридор. Глядя в сторону, буркнул ей:

— Ты, тово... на покос собирайся, поедешь послезавтра с работниками.

Настя чуть не вскрикнула от радости: на покос! Вместе с Егором! Да ведь ей как раз этого и хотелось. И чтобы не выдать этой радости, к удовольствию Саввы Саввича, ответила деланно покорным тоном:

— Ну что ж, поеду, раз надо.

Семену Савва Саввич сказал о своем решении на другой день утром, когда они сидели за завтраком.

— На покос завтра отправлять будем. Настасья тоже поедет с работниками.

— На поко-ос? — Семен удивленно поднял белесые брови. — Что ты, тятенька! Уж неужели, кроме ее, и людей не стало?

— Почему не стало, люди есть, так ведь за ними же, тово... догляд надо иметь, вот ее и пошлем. Баба она вон какая стала здоровая, на работе проворная, эта, брат, и работать будет не хуже мужика, и за людьми доглядит. Ей такое дело, тово... на пользу пойдет, пусть привыкает хозяйством править. А мне-то куда же везде поспевать? Хватит, вам жить-то.

— Как же она там будет одна с мужиками? — все еще возражал Семен. — Совсем это неподходяще. Назначь старшим Ермоху, и без нее обойдется.

— Ермоха что-о, его и слушать так не будут, да и вообще надо записать вести: у кого сколько рабочих дней, сколько сена сметано, чтобы знать, сколько еще сметать надо, а Ермоха, да и все они там неграмотные. Не-ет, там без Настасьи никак не обойтись. Она хоть и тово... молода еще, но надо внушить ей, что она хозяйка там будет, они, молодые-то, любят это. Вот оно дело и пойдет. А что касемо насчет мужиков, так она не одна там будет. Татьяна Осокина с ними поедет, спать они будут в отдельном балагане. Настасья и Татьяна с сынишком, в копновозы я его взял.

— Парнишка-то Татьянин учился, наверное, в школе?

— Едва ли, да хоть и учился он, разве я могу доверить такое дело какому-то сопляку, постороннему, какой с него спрос? А Настасья свой человек; свой глаз — алмаз, чужой — стеклышко. Конечно, я к ним буду наезжать время от времени, без этого не обойтись, а Настасья там будет постоянно.

* * *

К сенокосу, как и всегда, Савва Саввич приготовился раньше всех в поселке. В этом году, кроме Ермохи, посылал на покос еще пятерых сезонных работников — трех зареченских мужиков, вдову Татьяну с сыном, а вместе с ними и Настю.

В день выезда все в доме поднялись чуть свет. Вскоре начали подходить и работники. Первым пришел долговзый, в рваной солдатской шинелишке Антон Сухарев. Следом за ним появились приземистый, рыжебородый Никита Грошев и молодой белобрысый парень Артем Вершинин. Немного припозднилась смуглолицая, похожая на цыганку Татьяна Осокина с девятилетним сыном Андрюшкой.

Сразу после завтрака приступили к сборам в дорогу. День начинался пасмурный, хмурый, на серо-свинцовом фоне мглистого неба мохнатыми клочьями двигались, клубились темные обрывки облаков.

— Ничего, ничего, ехать будет хорошо, не жарко, — поглядывая на небо, рассуждал Савва Саввич, обращаясь к Насте. — А ежели маленько и... тово... помочит, какая же беда? Дома дорогу не избереешь. Харчи-то хорошенько укрой.

Настя, согласно кивая головой, поспешила в амбар, вынесла оттуда какие-то мешочки, туески. По самые глаза повязанная белым с кружевами платком, она старалась не выказывать своей радости, держаться спокойнее, серьезнее.

Работники суетятся у лошадей, выкатывают из сарая сенокосилку, конные грабли, телеги, еще с вечера нагруженные мешками с хлебом, сухарями и прочим харчем, из-под мешков торчат вилы, грабли, завернутые в тряпье косы.

По ограде степенно расхаживает Савва Саввич, но распоряжается всем, сам того не замечая, Ермоха. Он в курсе всех дел, знает, каких и куда коней запрячь, какие на них надеть хомуты, куда и что положить. С пестрым платком на шее, в новой ситцевой рубаше, у которой он уже успел запачкать дегтем левый рукав, он поспевает всюду, и то тут, то там слышится его по-хозяйски повелительный голос:

— Микита! Не тот хомут надеешь на Рыжка, его хомут-то во-он возле грабелки лежит.

— Дядя Ермоха! Гнедеху куда запрягать?

— Гнедеху? Ее надо в косилку, с большим Савраской на пару.

Он деловито осматривает телеги, подмазывает дегтем оси, а через минуту его голос доносится из другого конца ограды:

— Егор! Ты запасные-то литовки куда положил?

Все заняты делом, только Семен, нахохлившись, стоит на крыльце, безучастный ко всему происходящему, как посторонний зритель. Еще вчера он пытался отговорить отца, не посылать на покос Настю, но все напрасно, поэтому и злился

все это утро. Навалившись грудью на перила, стоял он, злыми глазами косясь на отца, на проходившую мимо Настю.

Наконец все кони запряжены, все уложено, увязано, люди, по указанию Ермохи, расселись по телегам, по машинам, Савва Саввич открыл ворота, перекрестился на восток:

— Поезжайте с богом,— и весь обоз тронулся со двора.

Савва Саввич долго, пока они не скрылись за крайними домами улицы, стоял у ворот, смотрел вслед своим работникам.

На передней паре вместе с Ермохой ехали Настя и Татьяна. Сияющая от радости Настя весело смеялась, переглядываясь с Егором. Лицо ее, как степной пион, рдело румянцем, розовая кофта туго обтянула высокую грудь. Егор поехал позади верхом на своем Гнедке и, глаз не сводя с Насти, ответно улыбался ей. Сердце Егора трепыхало от радости: шутка сказать — Настя едет вместе с ним, и они будут неразлучны в продолжение всего сенокоса.

На второй телеге ехали Никита с Антоном, за ними Андрюшка верхом на гнедой кобыле, запряженной в конные грабли. Позади всех — Артем на паре лошадей с сенокосилкой.

От поскотины дорога шла обочиной широкой долины. В воздухе пахло дождем, тяжелые темно-серые тучи плыли низко над сопками. Померкла, притихла темно-зеленая долина, словно вымерло все вокруг, только быстролетные ласточки мелькали около путников, чертили воздух, чуть не задевая крыльями людей. Ермоха остановил лошадей. Передав вожжи Насте, он спрыгнул с телеги, подтянул у коренного чересседельник, затем подошел ко второй телеге, убавил у пристяжной постромки, потрогал рукой заднее колесо.

— Эко, паря, колесо-то как рассохлось! Ты, Микита, посматривай, шину бы не потерять. Андрюшка! Будем колок проезжать возле Сорочьего утеса — так ты смотри, за куст не подцепи колесом! Сейчас рысью поедem, не боишься? Не упадешь с гнедухи?

— Я вскак езжу и то не боюсь.

— Ишь ты, а за поводья-то чего как баба держишься обе-ручь? В левую руку возьми их на перекрестку, эх ты-ы, чадо мамино, а ишо жениться хочешь!

Смущенно улыбаясь, мальчик краснеет, отворачивается:

— Я ишо маленький.

— Маленький! Я в твои-то годы в лес ездил на трех. Микита, давай-ка закурим на дорожку твоего.

Никита протягивает кисет с табаком^ к телеге подъезжает

Егор, и все четверо закуривают. Ермоха озабоченно огляды-вает телеги, лошадей.

— Ничего не забыли? Топоры, молотки на месте? Оселки, пилу, Егор, положил? Ты сзади поезжай да поглядывай, не упало бы чего с телег. Ну ладно, поехали.

* * *

Первые два дня оказались дождливыми, но вчера уже было ясно, погожий денек намечался и сегодня, на темно-синем не-бе — ни облачка. На востоке ширился рассвет, медленно раз-горалась заря. От балаганов по узенькой тропке гуськом потя-нулись работники Саввы Саввича. На ярко блестящих косах над их головами кроваво-красными бликами отражалась заря.

Предсказанья Саввы Саввича, что работой будет руково-дить Настя, не сбылись. Как-то так само собой получилось, что с первого же дня управлять всем стал Ермоха. К нему все обращались, его слушались, и, не сговариваясь, все подчиня-лись ему, в том числе и Настя.

Сегодня Ермоха, как и всегда, поднял всех чуть свет, что-бы до завтрака пойти поработать,— как он говорил, «пораз-маться на голодушку».

— И к чему это подымаемся такую рань? Скажи на милость,— недовольно ворчал долговязый Антон, шагающий следом за Ермохой.— Платит нам Шакал поденно. И ты хоть с пол-ночи выходи работай, все равно он тебе гроша медного не при-бавит. И на кой черт, спрашивается, это наше старанье дурац-кое? Руки, што ли, у нас зудят?

— Тут, Антон, дело не в старанье,— не оборачиваясь, ото-звался Ермоха.

— А в чем же?

— В том, что косить утром намного легче, по холодку, и дух смотри какой приятственный. А само-то главное, рано ут-ром гнусу нет — комаров. Ты вот поприметь-ко сегодня, как солнце взойдет, зачнет пригревать — комарья этого появится... тучи, никакого спасенья от них, будь они прокляты! Вот и встаем пораньше, чтобы к этому времени хороший уповод¹ от-работать и — на стан. Пока литовки отбиваем да завтракаем, росу обдует, и гнус опять утихомирится, не будет его. Не-ет, брат, мы уж это дело испытали, завсегда так делаем. Чего же зазря-то комаров кормить.

У и о в о д — рабочий отрезок времени, смена.

— Вот бы и спать до той поры.

— Что ты, Антоха! Это уж шибко по-барски будет, надо же совесть-то иметь.

— Совесть! А у Шакала есть она? Совесть-то?

— Это уж на его душе грех.— И, не слушая, что еще говорил Антон, Ермоха прибавил шагу, чтобы догнать Егора.

Вскоре утреннюю тишину нарушил звон натачиваемых кос и шум скашиваемой травы. Впереди, как обычно, Егор. Широко взмахивая литовкой, он быстро устремился вперед и вот уже оторвался от идущего за ним Ермохи.

Все дальше и дальше уходит от косарей Егор, с удовольствием ощущая, как утренний холодок освежает открытую грудь, будоражит разгоряченную кровь. Полной грудью вдыхает он воздух, настоящий на аромате свежего сена, и с отрадой вспоминает минувшую ночь, которую провел он с Настей в ее балагане.

— Эх ты, травушка-муравушка моя!

Налегая на литовку, радостно улыбаясь, шепчет Егор слова старинной песни и, чувствуя новый прилив энергии, старается отдать ее работе. На диво отбитая, наточенная коса легко прошибает густую, мокрую от росы траву, высоко и ровно ложится зеленый валок. На чистом широком прокосе Егора не увидишь ни единой травинки, только темные полосы от следов его ног тянутся за ним, курятся легким, еле заметным паром.

Косить быстрее старался Егор еще и потому, что ему страстно хотелось настолько обогнать косарей, чтобы через два-три прокоса очутиться у них в тылу, догнать Настю и хоть один прокос за все утро пройти следом за нею. Так оно и получилось: косари заканчивали по третьему прокосу, когда Егор настиг *х четвертым и в конце прокоса сменил идущую за Настей Татьяну.

Следующий прокос Егор шел за Настей, не отставая и не опережая ее, он одновременно с нею взмахивал косой и, ни на минуту не отрываясь, любовался ее стройной фигурой. И казалось Егору, что и косит-то Настя особенно ловко, красиво поводя округлыми плечами. А как идет ей кружевной платок, которым повязана голова! Из-под платка на матово-белую шею выбиваются кудрявые завитки волос. Все ей к лицу, все на ней выглядит нарядно, даже башмаки из самодельной кожи на ее маленьких, словно из слоновой кости выточенных ножках. Эх, косить бы и косить вот так следом за Настей, любоваться

на нее весь день!.. Но где там, вот уже и кончились прокосы, и когда Егор, вскинув на плечо косу, повернулся, чтобы идти с Настей обратно, увидел, что работники уселись отдыхать. Воткнутые в землю косы их блестели в лучах восходящего солнца, над головами вздымались и таяли сизые клубочки табачного дыма.

— Ты вот что,— Настя тронула Егора за рукав, остановилась,— возьми мою литовку да иди к ним отдыхать, а мы с Татьяной на речку сходим, умоемся, вон она уже кончает прокос— И, угадав намерение Егора, смеясь погрозила ему пальцем: — Тебе нельзя с нами, мы, может, раздеваться будем.— И пошла.

Егор посмотрел ей вслед, нехотя пошел к косарям. Они отдыхали, расположившись на валках. Горячась, жестикулируя, Антон доказывал, что, получая от хозяина по пятьдесят копеек за день, работают они чересчур много. Ермоха слушал его улыбаясь, попыхивая трубкой. Рядом с ним, закинув руки за голову, лежал Алексей, очень довольный тем, что Ермоха велел ему после завтрака запрягать коней и работать на сенокосилке. Поодаль, облокотившись на валок, полулежал Никита. Окладистая, пушистая борода его пламенела на солнце. Был Никита на редкость молчалив, никогда не вступал ни в какие споры. Вот и теперь, уставившись взглядом в одну точку, он думал о чем-то своем и, как видно, совсем не слушал Антона.

— ...вить это на дикого рассказ! Сами себя не щадим, как, скажи, на отмер косим, посаженно',— продолжал Антон.— Эдак-то робить будем — надолго ли нас хватит? Живо копыта протянем. Работа — она дураков любит.

— А ты не торопись,— вынув изо рта трубку, посоветовал Ермоха.— Никто тебя палкой не гонит.

— И рад бы не торопиться, так ведь вас куда-то черт гонит, как, скажи, для себя стараетесь, удержу нету, поневоле приходится тянуться за вами и нам с Микитой. Не-ет, ребятушки, полегче надо, ну сам подумай, Ермоха, было бы за что утруждать себя, вить робим-то за гроши.

— Во, смотри, Антоха,— Ермоха прихлопнул севшего ему на руку комара.— Появляться уже начали. Давайте, ребята, за дело, ишо прокосика по два пройдем, скоро этой гадости столько' появится, что и не возрадуешься.

— Тебе хошь говори, хошь нет, как горох об стену.— Мах-

* П о с а ж е н н о — т о е с т ь с д е л ь н о .

нув рукой, Антон вздохнул, полез в карман за оселком. От речки подходили Настя с Татьяной. Первым опять пришлось идти Егору.

* * *

Отправив Настю на покос, Савва Саввич успокоился, очень довольный, что избежал скандала в доме. Теперь, думая о своей неудачной ночной попытке, он удивлялся, почему же Настя никому ничего не сказала об этом. Постепенно он додумался до мысли: умолчала Настя потому, что побоялась прогневить его. Мысль эта понравилась Савве Саввичу, и, чтобы проверить свою догадку, а к стати посмотреть, как идет работа, решил он съездить на покос. Погода установилась хорошая, и работники уже третий день гребли сухую кошенину, метали сено в зароды. Они только что пришли на стан и уселись вокруг большого котла, из которого Настя поварешкой черпала суп, разливая его всем по чашкам, когда к балагану подъехал Савва Саввич.

— Здравствуйте, ребятушки! — вылезая из коляски, приветствовал он работников.

— Здравствуйте! Здравствуйте! — вразнобой ответили работники.

— Ну, как дела идут?

— Дела, хозяин, идут, лучше некуда! — за всех ответил Антон и, указывая на падь, где красовались четыре зарода, добавил: — Вон каких богатырей поставили, копен по шесть-десять и больше. Да сегодня копен восемьдесят приготовили, к вечеру смечем. А сено-то какое! Как жар горит, любо посмотреть.

— Хорошо, хорошо-о-о... — Любуясь зародами, Савва Саввич благодушно улыбнулся, разгладил бороду. — Вершил-то их Ермоха? То-то хорошо провершил, молодец!

— Да уж если я не молодец, то и свинья не красавица! — принимая от Насти чашку с супом, скупно улыбнулся Ермоха. — Обедать с нами садись.

— Спасибо! — Савва Саввич принес из тарантаса бутылку водки, десятка полтора свежих огурцов, сел на освобожденное для него место.

— Вот это дело, хозяин! — обрадовался Антон и, приняв из рук Саввича бутылку, разлил ее по чаркам.

Выпили за успешную работу.

— Уж работаем-то, хозяин, на совесть, — прожевав огурец, заговорил Антон. — Утром-то ишо черти на кулачки не

бьются, а мы уж косим. За такую работу не грех бы по гривне на день накинуть.

— Старайтесь, ребятушки, старайтесь. Хорошо закончите — и я вас хорошо рассчитаю, не обижу.

— Вот теперь бы и назначили, Савва Саввич, цену-то повыше. И мы бы тогда ишо больше старались.

— Потом, Антон Михалыч, потом. Сказал, не обижу — значит, не обижу.

Ермоха глянул на Егора, оба понимающе усмехнулись. Уж кто-кто, а они-то хорошо знали цену хозяйским обещаниям.

После обеда Савва Саввич велел оседлать ему коня, чтобы проехать по своим сенокосным угодьям. Прежде всего он решил осмотреть участок еще не кошенной травы, что тянулся падью почти на версту вверх от балагана.

С пригорка, на котором остановился Савва Саввич, перед ним раскинулась широкая, залитая светом полуденного солнца и еще не тронутая косой долина. По обочине ее, ближе к сопкам, голубел острец. Мешаясь с темно-зелеными завитками дикого клевера, увенчанного синими гребешками цветов, острец постепенно уступал место смешанному зеленому разнотравью. Еще дальше, на середине пади, там, где по ломаной линии кустов угадывалась речка, темными волнами колыхалась светло-бурая полоса заколосившегося пырея.

«Травы ноне — слава тебе господи... хватит, — удовлетворенно отметил про себя Савва Саввич. — Сена тут мно-ого станет, дал бы бог ведро». — Толкнув ногой коня, он повернул обратно, вниз от балагана, где падь далеко — покуда хватает глаз — пестрела прокосами свежей и подсыхающей кошенины.

Савва Саввич побывал у зародов, посмотрел сметанное в них сено и, вброд переехав речку, поднялся на елань, где в это время работа была в самом разгаре. Работники, обливаясь потом, метали сено в зарод, два копновоза — Артем и Андрей — еле успевали подвозить им копны, которые поддевали Настя и Татьяна, они же и подскребали за копновозами сено. На зарode стоял Ермоха, сено ему подавали вилами Егор и Антон с Никитой.

Чтобы не мешать их работе, Савва Саввич проехал мимо. Придержав коня около Насти, спросил ее:

— Ну как, Настасья, дела-то идут?

— Ничего, — сухо ответила Настя и, повернувшись к нему спиной, принялась подскребать сено.

«Так и есть, боится», — самодовольно улыбаясь в бороду, подумал Савва Саввич и, повернувшись к зароду, стал наблю-

дать за работой. Увидев хозяина, Антон остановился, опустив вилы, перевел дух, но в ту же минуту с зарода раздался сердитый окрик Ермохи:

— Давай, давай! Чего ты там? Ч-черт долговязый!

Искусством вершить стога и зароды Ермоха овладел с совершенстве, и любо было посмотреть, как он работал. Успевая схватить навильник на лету, он неуловимо быстрым движением граблей переворачивал его в воздухе, с маху кидал на место и уже ловил второй, третий, и так беспрерывно. Со стороны казалось, что он не работает, а, поигрывая граблями, пляшет на зароде, сено же само собой укладывается, и, постепенно суживаясь, образуется красивой овальной формы вершина зарода, которую не пробить никакому дождю. Любил эту работу Ермоха и от души радовался, когда навильники летели к нему беспрерывно. В этот момент он словно молодел, ликовал, упиваясь азартом работы.

— Давай, братцы, давай! Так, так... дава-ай! — весело, по-юношески задорно подбадривал он подавальщиков. Но стоило кому-либо из них остановиться, ослабить темп работы, как тон его голоса сразу менялся, звучал сердито, с досадой:

— А ну, чего там? Уснул, такой-сякой? Давай!

Когда стали подвозить ближние копны, стогометы уже не успевали их скидывать. Сена вокруг зарода становилось все больше и больше, за вилы взялся Артем, а затем и Татьяна. Еще дружнее пошла работа, на зарод, один догоняя другого, полетели навильники, сено вокруг Ермохи запрыгало, заплескалось, вскипая, как вода в котле. Повеселел старик.

— Давай, орлы! Давай! Так, так, живей! — захлебываясь от радости, вскрикивал он, и грабли его мелькали еще быстрее.

— Ах ты, мать честная! — невольно залюбовавшись работой Ермохи, воскликнул Савва Саввич. — Как у него ловко нолучается! Ну, Ермолай Степаныч, молодец! Мастер этому делу, ма-астер!

Наконец зарод завершили. Уложив на самую вершину последние навильники и придавив их сверху связанными за вершины прутьями, Ермоха выпрямился, вытерев рукавом рубахи вспотевшее лицо, огляделся вокруг. Теперь он успокоился, и лицо его уже не выражало той радости, что сияла на нем во время метки. К мокрой от пота рубахе прилипли сухие лепестки цветов, сенная труха. Опираясь на грабли, Ермоха еще разок прошелся по хребтине зарода, потребовал веревку и по ней спустился на землю.

К зароду подъехал хозяин.

Около зарода заканчивали работу Настя с Татьяной: подскребая вокруг остатки, клочки сена, они концами граблей подбивали их под низ зарода. Стогометы стояли в стороне, курили, разговаривали с хозяином. Больше всех говорил Антон. Слушая его, хозяин согласно кивал головой. Туда же подошел и Ермоха. Хозяин встретил его приветливой улыбкой.

— Молодец, Ермолай Степаныч! Уж вот действительно, — похвалил он Ермоху, — наловчился вершить зароды.

— Небось наловчишься! С молодых лет обучаюсь этой грамоте, — посуровев глазами, ответил Ермоха и, поглядев на зарод, достал из кармана свернутый в трубочку кисет. — Я их за свою жизнь столько перевершил, что другому и во сне не снилось. Дай-ко, Егор, прикурить.

Не любил Ермоха, когда его хвалили, поэтому и насупился он, хмурая мохнатые брови. Если бы незнакомый человек, любовавшийся Ермохой во время метки, посмотрел на него теперь, он не поверил бы, что этот угрюмый старик и есть тот удалец, который так ловко и весело работал на зароде. То же самое подумал и Савва Саввич, но вслух сказал Ермохе другое:

— Там, под солнцепеком, на верхней деляне, вострецу копен на двадцать будет... Так его, Ермоша, надо, тово... отдельно сметать. Вострешное сенцо-то, сами знаете, какое бывает... Его ежели зеленым сметать, так что твой овес.

— Сделаем, хозяин, — ответил за Ермоху Антон, — только ты уж не забывай насчет прибавки-то.

Поговорив еще немного, хозяин посмотрел на солнце и, любезно попрощавшись с работниками, уехал.

— А ведь он уж не так и плох, — глядя вслед хозяину, проговорил Антон. — И обходительный с народом и вопче, прибавку нам посулил, чего ишо надо?

— Ты верь ему хорошенько, — криво усмехнулся Ермоха, — он, брат, на посуле-то как на стуле.

— Да что ты говоришь? — удивился Антон. — Ведь он же при всем народе сказал! Неужели не добавит?

— Почему не добавит? Добавит... ласковых слов в разговоре! Их-то он не жалеет для нашего брата.

У Антона от удивления глаза полезли на лоб. А Ермоха совершенно спокойно поплевал на руки, взялся за вилы.

— Пошли, ребята, до-вечера-то ишо один зародик сделаем. — Закинув вилы на плечо, Ермоха зашагал в сторону пестреющей копнами поляны. Следом за ним двинулись Егор с Никитой. Позади всех, что-то бормоча про себя и ругаясь, поплелся заскукавший Антон.

Кончился сенокос. На лугах, в падах и раснадках, где еще недавно тихо-тихо шелестели, волнуясь на ветру, травы, а по утрам весело звенели косы, стоят, как сторожевые курганы, высокие стога и крутобокие зароды сена.

Широкие, зеленые елани пестрят пашнями созревшего хлеба. словно казачий погон на велевой гимнастике, желтеют полосы спелой пшеницы. А рядом светло-серая ярица клонится к земле тяжелым, зрелым колосом. Голубыми метелками шумит на ветру забруневший овес. Медом пахнут нежно-розовые полоски зацветающей гречихи. Есть и черные пашни — это свежевспаханные двойные пары. Наступает страдное время, и кое-где уже видны стройные ряды суслонов *.

Сегодня праздник усенья, поэтому на полях не видно ни одного человека. На улицах Антоновки праздничное оживление. Солнце склоняется к западу, жара спадает, и толпы принаряженных девушек, парней с песнями спешат на лужайку к речке — излюбленному месту их праздничных сборищ в летнее время.

Верхом на своем Сивке по крестьянской улице едет Савва Саввич. Работники его уже выехали с покоса, сена накопили больше, чем он предполагал, но теперь ему новая забота: подошла страда, надо спешить с уборкой хлеба.

Все это утро он сидел с Семеном в комнате, просматривали долговые записи, подсчитывали, составляли списки должников, определяли, кого и куда послать, и теперь еще голова его занята этим.

«Десять человек зареченских мужиков придут утром. Ишо надо человек пять-шесть набрать, — думал Савва Саввич, зорко поглядывая по сторонам. — Завтра всех их направлю в Березову. Егорка с каким-нибудь подростком начнет пары двоить, а поденщики и Настя с Ермохой — снопы вязать будут за жнейкой, пшеница подошла в самый раз. Спать будут на заимке, нечего разъезжать им домой, версты мерить вон какую даль... Ну, а на ближние пашни, тово... поденщиков посылать буду из дому. А понаблюдать за ними можно и Семена спосылать, а где и сам съезжу посмотреть».

Впереди на бревнах сидят разговаривают мужики. Собралось тут их порядочно, немало среди них и должников Саввы Саввича, но он, приподняв соломенную шляпу, учтиво

* С у с л о н — кучка, составленная из десяти снопов.

поздоровался со стариками и проехал мимо. Не любил он разговаривать о своих делах принародно.

Но вот в открытое окно избы Савва Саввич заметил одного из должников — Прокопа Лоскутова — и повернул к нему.

Приученный к таким поездкам, конь сам остановился перед окном, уткнувшись мордой в завалинку. Из окна на Савву Саввича пахнуло жарким, дурным запахом неопрятного жилья. Худощавый, с жиденькой русой бородашкой, Прохор сидел за столом, обедал. На столе перед ним стояла миска простокваши, тарелка с ломтями черного хлеба, соль, пучок зеленого луку — и все это густо облеплено мухами. Они, как спелая черемуха, рассыпались по столу, по стенам, окнам, тучами носились по избе.

Склонившись с седла, Савва заглянул в избу.

— Здравствуй, Прохор! — приветствовал он мужика. — Как живется?

— Здравствуйте! — унылым голосом ответил Прохор. — А уж про жизнь и не спрашивайте, живем — хуже некуда.

— Чего так?

— Хозяйка меня связала по рукам и ногам. Второй год лежит на одре, и ни смерти ей, ни живота.

— Лечить надо.

— Да уж и так лечил, лечил, да и только. Старухи и шептали на нее, и травами всякими поили, и в город возил. Две овцы пролечил, а толку никакого. Дохтур осенень беркулез признал у нее. А я так думаю: врет дохтур, никакого беркулеза у нее нету, а просто чихотка — вот и вся хворь. У нее и мать в чихотке умерла, и вся семья у них чихотошная. Вот так и мучаюсь, и сено через нее не докосил, парень в людях робил, а девка дома возле ее просидела весь сенокос, как-никак человек, жалко оставить без присмотра.

— Так-так, а я к тебе, Прохор, по делу. Должок-то за тобой, помнишь?

— Как не помнить, пять пудов муки брал, помню.

— У тебя сколько теперь будет рабочих-то?

— Парень у меня и девка семнадцати лет, да и сам буду ездить робить. Тетку Вассу попрошу, чтоб за ней присмотрела. Что ж поделаешь, не сидеть же мне подле нее сложа руки в такую пору, ей-то уж к одному концу.

— Та-ак, за тобой, значит, тово... двадцать четыре поденщины, так?

Подавив вздох, Прохор молча кивнул головой.

— Тогда, значит, тово... затра утречком подходи втроем. Поедете на ближние пашни, пшеницу жать, восемь деньков проработаешь втроем-то — и долгом прост.

— Не могу, Савва Саввич, втроем, никак не могу. Ячмень у меня поспел, сыплется, завтра обязательно надо ехать жать, а то упустим. Его и так-то посеяно злыдни. Ячмень, сам знаешь, какой хлеб: один день перестоит, да ишо, не дай бог, ветер — и начисто осыплется. Так что ты уж уволь, Савва Саввич, не притесняй, парня я, уж так и быть, пошлю к тебе завтра, а сам-то с девкой на свой ячмень поеду.

— Эх, Прохор, Прохо-ор! — Савва Саввич осуждающе покачал головой. — Вот и выручай вашего брата, мужиков! И верно говорят: когда тонет, так он, тово... топор сулит, а вытащи его, спаси от смерти, он и топорщица не покажет... Так же вот и ты. Что мне из твоего парня? Ему одному-то и в месяц не отработать, что было забрано.

— Да ты войди в мое-то положение, Савва Саввич, поймей жалость, — с мольбой в голосе упрасивал Прохор. — Меня сегодня Гаврила Крюков наймовал жать, по пуду ярицы давал за поденщину, и то я не пошел из-за ячменю-то. А к тебе вот за восемь фунтов посылаю парня, потому как было забрано, тут уж ничего не поделаешь, плачешь, да идешь. У меня паров ноне ни одной борозды...

Он не закончил: за печкой заворочалась, задыхаясь в приступе кашля, застонала больная. Прохор поспешил к ней, принес горячего чаю, напоил ее, для этого помог ей сесть, обложил подушками.

Савва терпеливо ждал у окна. С коня ему видно было заросшую травой ограду Прохора, край огорода, обнесенного тыном. В песке у крыльца копошились грязные, оборванные ребятишки.

Прохор вынес на улицу лохань. Вернувшись в избу, смахнул со стола мух, десятка полтора выловил их ложкой из простокваши и, яростно матюгаясь, выплеснул за окно.

— Погибели на вас, проклятых, нету, чтоб вас громом убило! Смотри, сколько их наплодила нечистая сила!

— Гречуха будет ядреная, — пошутил Савва Саввич.

— Будет, да не у нас, — сурово отозвался на шутку Прохор и, снова взмахнув над столом рукой, захватил полную горсть мух, с размаху хватил ими об пол.

— Так что ж, Прохор, придешь завтра?

— Парня пошлю, как сказал, а сам не могу, Савва Саввич, видит бог, не могу.

— Нехорошо, Прохор, поступаешь! Ох, как плохо! Знаешь поговорку: взял лычку, отдай ремень.

— А у нас оно так и получается. — В голосе Прохора уже не слышалось мольбы, а глаза его загорелись злобой. — Берем-то мы лычку, а отдаем не ремень, а целиком всю кожу! Шкурой своей расплачиваемся, Савва Саввич.

— Та-ак, — только и сказал на это Прохору Савва. Поняв, что озлобленный Прохор будет упорно стоять на своем, тронул ногой Сивка, поехал дальше.

— Горлохват бессовестный, хапуга! — провожая Савву глазами, злобно ругался Прохор. — Хоть бы нашелся добрый человек да с тебя бы содрал шкуру, чтобы не сразу подох ты, а помучился бы дня три за все наши обиды, Шакал проклятый!

Побывав еще у двух-трех должников, Савва Саввич повстречался с Лукичем. Подвыпивший по случаю праздника, мельник шел по улице, слегка покачиваясь, и, что-то напевая себе под нос, размахивал руками.

— Сав Саввич! — еще издали приветствовал он богатого сельчанина. — Здравствуй, милоч, здравствуй!

Ответив на приветствие, Савва остановился. Ему как раз надо было увидеть Лукича, поговорить с ним о помоле. За лето бабы пересушили и истолкли около сотни мешков пшеницы, теперь надо перемолоть ее на муку. Выслушав Савву, Лукич расцвел в улыбке.

— На ловца и зверь бежит! — радостно воскликнул он, разводя руками. — А я того и жду! Пожалуйста, Сав Саввич, мельница на ладу, и не завозно. Хоть завтра начинай возить, за неделю все тебе перемелю. А уж смолоть-то для тебя постараюсь, мука будет как пена, што твоя крупчатка.

— Спасибо, Лукич, спасибо! Значит, тово... договорились?

— Полный порядок! У меня, брат, слово — олово.

— Вот и хорошо! Ну, так прощай, Лукич, мне ишо надо тут кое к кому завернуть.

— Подожди минуточку, Сав Саввич. — Лукич, ухватив за повод, придержал коня. — Мне ишо надо сказать тебе парочку слов. Оно вроде меня и не касаемо, но я по-дружески тебе, ты это запомни, Сав Саввич.

— Что такое? — насторожился Савва.

— Ты за работником своим, за Егоркой, ничего не замечал?

— За Егоркой? Ничего, а что он?

— А то, что с невесткой твоей, с Настей, снюхался он.

— С Настей?! — задохнувшись от удивления и мгновенно

вспыхнувшей злости, чуть слышно переспросил Савва. Лицо его стало багровым, в правой руке мелко вздрагивала витая махорчатая плетть.— Ты это правду говоришь?

— Истинный Христос! — Лукич перекрестился, глядя на Савву.— Вот чтоб мне не сойти с этого места, ежели вру, своими глазами видел.

— Ну, ну, рассказывай, что и как?

— Весной ноне этот шельмец Егорка то вечером поздно с пашни, то на пашню утром чуть свет во весь-то дух на гнедке мчится, как, скажи, табун волков за ним гонится.

— Короче, Лукич, самое-то главное скажи.

— Сейчас, Сав Саввич, сейчас! Я тебе все обскажу до тонкости,— зачастил скороговоркой Лукич. Будучи под хмельком, он становился не в меру болтливым.— Вышел я одиново из мельницы, так чуть серый свет, смотрю, уток целый табун на речку ниже мельницы опустил. Я схватил дробовик и скорее туда. Только начал их скрадывать из-за кустов, а его черт гонит прямо на меня. Едва успел схорониться за куст, и он мимо, сажнях в двух от меня, как вихорь пролетел. Он, Егорка, тут уж я его разглядел, как вот тебя сейчас. Джигит, холера его заberi, даже и на брод не поехал, а напрямки, ка-ак сиганет через речку, только его и видели. Вот он какой оказался работничек-то у тебя.

Встревоженный вначале, Савва постепенно успокоился, с лица его медленно сходила краска.

— Я-то уж думал бог знает што! Пусти, Лукич! — Савва досадливо махнул рукой, потянул из рук мельника повод.— Чудак ты, право слово, чудак, нашел чего рассказывать, молот-молот целый час — и молотого нету. Егорка наверняка па вечерку приезжал, а ты уж определил, что к Насте, как будто ему девок не стало.

— Нет, не-ет, Сав Саввич, ты подожди уезжать-то, я ишо не все сказал,— с пьяной развязностью продолжал Лукич, не выпуская из рук поводьев.— Ты мне слова не даешь сказать. Я же тебе говорю, с Настей Егорка спутался, чего тебе ишо надо? Люди видели их вдвоем ночью.

— Люди, люди, а кто эти люди? Раз начал — так и говори толком!

— Сам я видел, ежели хочешь знать! Своими глазами,— соврал Лукич. Вспомнив свой разговор с соседкой Саввы Федосьей, видевшей, как Настя провожала Егора в станицу, разговаривала с ним у ворот, Лукич решил воспользоваться этим, не постеснявшись опорочить в глазах Саввы Саввича

Настю, лишь бы снова попасть к нему в милость, загладить свою вину за то, что не смог вылечить Семена. И он продолжал сочинять дальше.— И по ночам я их видел вдвоем, даже и днем. Вот перед покосом иду утром с мельницы, смотрю — Егорка твой верхом на коне, при шашке — в станицу он тогда ездил,— и Настя вместе с ним, до самой речки его провожала. Все я видел, и как целовались они у речки, во как.

— Что ж ты сразу не сказал мне об этом? Голова садовая! — упрекнул Лукича посуровевший Савва.

— Не пришлось увидеть тебя, Сав Саввич, а тут сенокос подошел, то да се, так оно и затянулось.

— Ладно уж, только прошу, чтобы ты... тово, никому об этом пи слова.

— Это уж будь надежен! Могила.

— То-то же, а я сам разберусь с ними. Прощевай покуда.

Сообщение Лукича не на шутку встревожило Савву Саввича, и теперь, едучи улицей, он только и думал об этом. Занятый новыми мыслями, он не торопил коня, даже не правил им, и Сивко, годами приученный возить хозяина по должникам, сам подворачивал к открытым окнам старых избышек, останавливался, и все попусту. Хозяин смотрел по сторонам уже не так внимательно, и заметившие его должники успевали вовремя скрыться. Окинув взглядом пустую избу и ругнув ее отсутствующих хозяев, Савва сердито толкал ногою в бок сивка и ехал дальше.

«Неужели Егорка и в самом деле... тово... с Настей-то? — думал он все об одном и том же.— Лукич-то, он и соврать не дорого возьмет по пьяной лавочке. А скорее всего, что так оно и есть, дыму без огня не бывает, да и врать-то ему какая же корысть?»

Тут Савва припомнил, что и в самом деле Настя частенько и подолгу отлучалась вечерами из дому. Один раз он, заподозрив неладное, даже спросил ее, где шлялась чуть не до утра. Однако Настя, нимало не смутившись, ответила, что сидела на зава-линке с соседской девушкой Анькой. Савва Саввич спросил об этом же и Аньку, и та подтвердила все сказанное Настей.

«А может, это она для отводу глаз ходила к Аньке? — строил свои догадки Савва Саввич.— Раз к Аньке сходит да два раза к Егорке, а мы, простофили, ничего не замечаем. Эх, изловить бы ее с Егоркой-то, тогда бы я показал ей, где раки зимуют».

Думая о Насте, Савва Саввич не забывал о своих делах и к вечеру, на закате солнца, решил поискать поживы и на

казачьей половине села. Здесь, он знал это хорошо, нужда прижала Филиппа Рудакова. Второго сына обмундировывает Филипп, и, хотя имеет середняцкое хозяйство, приходится ему туго. Из станицы требуют семьдесят пять рублей за седло, а где их взять? Все это известно Савве, к нему он и направил своего Сивка. «Скотину будет продавать Филипп, ясно, да и не одну, самый раз поприжать его», — рассуждал про себя Савва Саввич, издали, как ворон падаль, почуяв добычу.

Филипп был у себя в ограде. Ответив на приветствие Саввы, он не спеша, с развальцем подошел к воротам.

— Скотинку, Филипп Иванович, тово... продаешь? — сразу без лишних обиняков приступил к делу Савва Саввич.

— Скотинку? — переспросил Филипп и, не торопясь с ответом, степенно разгладил черную с проседью бороду, делая вид, что он раздумывает, стоит ли продавать, когда и нужды-то особенной нет. — Есть у меня коровка по пятому году — ежели цена подойдет, могу продать. Во-ои она стоит, отсюда видать, красная, белолобая. Стародойка — не телилась нынче, зажилела, так вся и трясется, как студень. И огулялась рано, к рождеству отелится. Иди смотри.

— Чего ее смотреть, сговоримся о цене — тогда и посмотрим. Сколько за нее просишь?

— Да уж, чтобы лишнего не запрашивать, сорок целковых думаю взять.

— Христос с тобой, Филипп Иванович! Где ты слыхал такие цены на коров?

— Корова корове разница, Савва Саввич. Я потому и говорю — иди посмотри, какая она, матушка, выгулялась. Заколоть — так целый амбар мяса. Вот и считай, ежели по четыре рубля за пуд, то одного мяса больше чем на сорок рублей будет. Да жиру она даст не меньше пуда, да потрох, да кожа.

— Подсчитывать-то оно хорошо, Филипп Иванович, и заколоть недолго, а вот попробуй-ка продать его, мяско-то? С деньгой-то сам знаешь, как туго в народе, а распродать-то его надо за один день, потому что время не зимнее, не продашь — оно, тово... испортится. Вот и придется раздать мяско по долгам, а потом ходи к ним без шапочки, кланяйся за свое добро с полгода, а то и больше. Не-ет, уж я-то эти дела знаю не первый год живу на свете. Самое, брат, милое дело, ежели тово... покупатель нашелся, продать на ногах. Деньги на бочку и... «Ты Пахом — я Пахом, долга нету ни на ком».

— Оно конечно, — согласился Филипп, — сойдемся в це-

не — так чего ж... меньше хлопот. Запрос, говорят, в карман не лезет. Говори свою цену.

Савва ответил не сразу. Сначала посмотрел во двор, где находились Филипповы коровы, перевел взгляд на Филиппа и, похлопывая черенком плети по голенищу, негромко сказал:

— Двадцать пять целковых.

— Двадцать пять?! — с дрожью в голосе переспросил удивленный Филипп. — Господи, твоя воля... Это что же такое?... За такую корову? Ей и сорок-то самая крайняя цена.

Филипп знал, что Савва не даст ему полной стоимости коровы, но цена, которую назначил этот коммерсант, была настолько низка, что Филиппа это и обозлило и удивило: как это у него язык повернулся сказать такое? А Савва как ни в чем не бывало сидел в седле, слегка избочившись, забавлялся, помахиывая плеткой.

— Может, она и больше стоит, кто ж ее знает? — спокойно рассуждал он, словно и не замечая сердито нахмуренного вида Филиппа. — Только уж я-то, тово... не могу больше дать. Мне-то в ней надобности большой нету, у меня их, коров-то, своих полный двор. Это уж я так, чтоб тебя выручить. Оно ведь, ежели разобраться, Филипп Иванович, дело это, тово... рисковое, деньги-то, они лежат, ничего им не делается, а корова — она ишо у бога в руках. Она и заболеть может, и мало ли что, на грех мастера нет, не дай бог, случись такое, вот и, тово... плакали мои денежки. Все это надо обдумать. Да-а-а. Так вот, Филипп Иванович, за четвертную, так и быть, могу рискнуть.

— Ну не-ет, — решительно заявил оправившийся от смущения Филипп. — Что ты, смеешься, что ли? По такой цене продавать буду — так мне за седло-то всех коровенок придется вывести, да ишо и не хватит. Нет уж, избави бог от такого... — он чуть не сказал «покупателя», но, вовремя спохватившись, поправился: — От такого дела. Не было денег — и это не деньги. Я лучше в работники запродам Афоньку.

— Дело твое! — Савва тихонько тронул Сивка поводьями и уже на ходу, обернувшись, крикнул Филиппу: — Я ишо вернусь к тебе вечером как-нибудь, может, надумаешь?

В ответ Филипп молча махнул рукой и пошел в избу.

— Ишь ты, какой сердитый! — усмехнулся Савва. — А коровка-то, кажись, и в самом деле хороша. Посмотреть надо ее хорошенько, прибавлю еще десятку, и отдаст Филипп, куда денется? Нужда-то, она, тово... не свой брат.

На жнитве у Саввы Саввича, как всегда, трудилось много поденщиков-должников. Большая половина их, во главе с Ермохой и Егором, работала на дальних пашнях, в пади Березовой, так и жили они безвыездно на заимке. Кроме того, на ближние к селу пашни ежедневно посылал Савва Саввич по восемь — десять человек поденщиков, с ними ездила и Настя.

Мысль поймать Настю с Егором не выходила из головы Саввы, и он, недосыпая по ночам, следил за снохой.

Так прошло дней пять, и вот вечером в субботу, приехав с пашни и поужинав, Настя отправилась к соседке, хотя на дворе уже была ночь.

«К нему отправилась, стерва»,— догадался Савва и, выждав, когда в доме все уснули, оделся и вышел в ограду.

Стараясь не шуметь, обошел он все уголки в ограде, побывал в сараях, в зимовье, в бане — и все попусту.

«Где же они сходятся, проклятые? — со злостью думал он, остановившись около телячьей стайки, и тут взгляд его упал на темневший поодаль омет соломы.— Там,— чуть не вслух выкрикнул Савва Саввич.— Больше нигде, как это я сразу-то не догадался?»

И он тихонько возле забора потянулся к дальнему двору. Ночь была темная, небо заволкло тучами, они, мохнатые, как огромные хлопья грязно-бурой ваты, плыли низко над селом. Откуда-то издалека доносились глухие раскаты грома. Здесь же было тихо, темно, только короткие отсветы далеких молний на миг освещали ограду, постройки, дворы и крадущегося возле изгородь Савву.

У ворот, ведущих во двор с ометом соломы, Савва остановился, прислушался. Тишина. И только при вспышке молнии увидел он у дальнего края омета коня. Вмиг сообразив, что делать, Савва отошел обратно и, тихонько перелезая через изгородь, дворами подошел к омету с другой стороны. Теперь конь был от него не более как в двух саженьях, и при первой молнии старик узнал Егорова Гнедка, оседланного форменным казачьим седлом. Почувяв чужого человека, гнедой всхрапнул, подняв голову, наострил уши.

Первой мыслью Саввы было захватить любовников на месте преступления, но он тут же одумался. «Нет, так опасно, черт его знает, подыми скандал, а он возьмет пришибет меня тут же и выбросит за двор, ищи потом виноватого. Лучше

побегу разбужу Семена, захватим с собой дробовик и тогда...»— И с этими мыслями поспешил в дом.

«А стоит ли будить Семена? — уж подойдя к крыльцу, подумал старик.— Надо прежде обдумать, как поступить с ними. А то ведь поспешишь да ишо людей насмешишь, теперь-то я знаю, где они сходятся, поймать их всегда смогу».

Привыкший всякое дело прежде хорошо обдумать, Савва решил и поимку Насти с Егором отложить до следующего раза.

Ночью пошел дождь, не перестал он и утром, поэтому из поденщиков пришел к Савве один Никита. После завтрака Савва Саввич приказал Никите запрячь двух лошадей, везти на мельницу к Лукичу пшеницу. Пока Никита запрягал лошадей, носил из амбара мешки с пшеницей, укладывал их в телеги, Савва прохаживался возле амбара. Наблюдая за Никитой, он в то же время поглядывал и в зимовье, где Настя занялась стиркой. Вот она, босая, высоко подоткнув подол юбки, с корзиной мокрого белья в руках прошла мимо свекра.

«Ишь, как раздобрела, стерва, на вольных-то хлебах»,— злобно прошипел старик, провожая Настю взглядом в сарай, куда она направилась развесить белье. И тут решил он, не откладывая дела в долгий ящик, проучить ее сейчас же.

Никита тронул со двора. С пустой корзиной из сарая вышла Настя.

— Настасья! — окликнул ее Савва Саввич.— Подь сюда!

Настя бросила на свекра быстрый взгляд, подошла ближе.

— Чего надо?

— Подержи мешок, пшеницы надо нагрести.

Поставив у крылечка корзину, Настя вошла следом за свекром в амбар, взяла мешок. Савва достал из сусека совок, повернулся к ней.

— Ты это где была вечерось-то, голуба, а? Молчишь, вертихвостка бессовестная, думаешь, я не видел тебя с Егоркой в соломе-то?

Савва шагнул к Насте, и в руках у него она увидела витой столбом кнут.

Но тут случилось то, чего никак не ожидал Савва Саввич. Тонкие черные брови Насти мгновенно сошлись у переносицы, и гневно вспыхнули глаза.

— Ты што, ударить хочешь? А ну-ка, тронь! Да я тебя, черта лысого...— Настя метнулась к двери, и в ту же минуту в руке у нее очутился тяжелый, с цепями из мелких витых колечек безмен,— я тебя так потяну по лысине, што и черепков не соберешь. ^

— Што ты, што ты, Христос с тобой, чего орешь-то на всю ограду?

— А чего мне бояться? Обманом меня заманили, да ишо тут мне поперек дороги встречае? Што с Егором меня видел, так ишо приди посмотри, ежели любопытно. Любила Егора и любить буду, вот и весь мой сказ.

Заметив, что старик намеревается юркнуть в дверь, Настя загородила ее собою:

— Бежать хочешь? Нет, уж раз на то пошло, так я выскажу тебе все, что наболело у меня. Ты думал, што обманом меня взяли и смирюсь перед вами? Да кабы не Егор, я бы руки на себя наложила. Из-за него и живу, работаю на вас, проклятых! Недаром вас Шакалами кличут. Ишо вздумал совестить меня, а давно ли сам подходил ко мне ночью-то? Забыл, как по лысине-то получил? Старичок богомольный! Смотри у меня, ежели вякнешь кому про Егора, так я тебе так напряду на косое веретено, што до смерти помнить будешь, кобель бесхвостый!

И пошла, но, уже выйдя из амбара, остановилась, зло посмотрела на побелевшего как мел старика, процедила с издевкой в голосе:

— Крестик-то небось новый купил? Эх ты, паскудник бессовестный, песок уж сыплется, а туда же, куда и конь с копытом.

Как громом пораженный, смотрел Савва в спину уходящей спохе.

— Господи боже мой!..— чуть слышно прошептал он, бессильно опускаясь на подножие сусека.— Что же теперь делать-то? До какого страму дожил, боже мой милостивый!.. Нажил сноху, чтоб ее громом убило! А ведь озлилась-то как, было ахнула безменом-то по башке. Да ладно, хоть никого поблизости не пригодилось, обесславила бы на весь поселок. Вот и поживи тут попробуй. Теперь совсем от рук отобьется. Ах ты, сучка проклятая, холера тебя заberi! И что это за беда такая! Думаешь, как лучше, а оно вон как повернулось...

Но самое худшее было впереди. Это испытал Савва Саввич на следующий день.

Утром, когда Семен еще спал, а Макаровна на кухне готовила завтрак, Савва Саввич вышел на крыльцо, по-хозяйски огляделся вокруг. Выходило солнце, на крышах построек, на изгороди, на телегах и ступеньках крыльца чуть заметно белел первый инеек. Во дворах мычали коровы, брякали ведрами бабы, в ограде сутились поденщики. Они уже позан-

тракали в вимовье, запрягали лошадей в две телеги, куда усаживались бабы-поденщицы с серпами на плечах. Настя, отдельно от всех, сама запрягла рыжего иноходца в легонькую, па желевном ходу пролетку, положила в нее мешок с харчами. Начиная догадываться, в чем дело, Савва Саввич со вздохом покачал головой и, вернувшись на веранду, опустил на стул.

А Настя, идя к дому, переговариваясь с поденщицами, смеялась чему-то. Поднявшись на веранду, она, не взглянув на свекра, прошла в дом и вскоре же вышла обратно со свертком постели в руках. Против свекра она остановилась и тоном приказа изрекла:

— На заимку еду к Егору, нечего мне тут околачиваться.

Крякнув с досады, Савва Саввич хотел что-то сказать, но так и остался с открытым ртом. Да и что ей скажешь теперь? Внутри его закипела злость, но он понимал, что возразить Насте уже не в силах. И только для того, чтобы сказать хоть что-нибудь, скосил глаза в сторону, задыхаясь от злобы, буркнул:

— Залоги там... оборонить надо.

Настя, скаля белые как сахар зубы, улыбнулась и вконец доконала старика ответом:

— Заборо-оним. Егор сегодня же начнет... оборонить...

— Штоб тебя волки разорвали, паскуда проклятая! — красный от бессильной ярости, ругался Савва Саввич, глядя вслед уходящей Насте.— Забрала волю-то, подлюга, да ишо и смеется, гадина ехидная. Бож же мой, до чего я дожил на старости лет! Первым человеком был на всю станицу, с атаманом за ручку, весь поселок в руках держал, командовал, как хотел, а теперь, господи!.. Бабе поддался, стыд, позор!..— Тут Савва Саввич заскрипел зубами, а пальцы его сами собой сжались в кулаки.

Из ограды следом за поденщиками тронулась Настя. Ограда опустела, в раскрытые ворота зашла соседская свинья и около большого амбара принялась пахать носом землю. А Савва Саввич все сидел, брызгая слюной, бормотал ругательства:

— Уехала, мерзавка, потаскушка несчастная! Ишо, чего доброго, разболтает там всем, паскуда! Вот до чего достукался ты, Савка, так тебе и надо, дураку старому! Дурак, дурак! — И, погрозив сам себе кулаком, Саввич с ожесточением ухватился за бороду.

В это время на веранде появилась Макаровна. Поставив на стол кипящий самовар, она, видя, что старик чем-то расстроен, участливо спросила:

— Что с тобой, Саввич?

— Отвяжись! — зло выкрикнул Савва Саввич,— Пристала, как банный лист, trebuха свинячья, сучка.

Он вскочил со стула, пнул попавшего ему под ноги кота и, ругаясь, сбежал по ступенькам крыльца в опустевшую ограду.

Солнце уже приподнялось над сопками, через крыши амбаров заглянуло в ограду, косые лучи его ворвались на веранду, где за чаем сидели Семен и Макаровна. На столе перед ними весело пофыркивал самовар, пар валил от горячих блинов. Семен посмотрел на отца, нервно шагающего взад и вперед по ограде, спросил, принимая от матери стакан с чаем:

— Чего это тятенька-то разволновался вроде?

— А бог его знает,— вздохнула Макаровна.— Обозлился чего-то. Сроду такой не бывал.

А Савва Саввич, чтобы хоть на ком-нибудь сорвать зло, схватил длинную, суковатую палку и принялся дубасить ею соседскую свинью.

В это время Настя уже подъезжала к заимке, смотрела па елань, где работали поденщики Саввы Саввича, и там среди них уже увидела Егора.

ГЛАВА XV

Шакалова заимка. Ночь. Народу в зимовье полным-полно. Утомленные работой батраки Саввы Саввича и многочисленные поденщики спали вповалку на нарах, на полу, под нарами, а те, которым не хватило места в зимовье, забрались на чердак, под крышу, спали под открытым небом, в телегах, наложив в них сена.

Егор лежал на нарах рядом с Ермохой. Когда все уснули, он, приподняв голову, прислушался: кто-то невнятно бормочет во сне, причмокивая губами, кто-то тоненько высвистывает носом, рядом похрапывает Ермоха, густой с переливами храп доносится из-под нар. Стараясь никого не задеть, Егор спустился с нар, тихонько шагая через спящих. Вышел на двор и так же тихо, крадучись, направился к избе, что виднелась недалеко от зимовья. Избу эту в прошлом году перевезли из Антоновки, сложив ее на мох, устроили в ней глинобитную печь с плитой и с той поры пекли здесь хлеб, готовили работникам обеды и ужины. В этой же избе поселилась и Настя. Из старых досок и кольев Егор смастерил ей кровать, и снова зажили они забыв все обиды и горести, жадно упиваясь своим коротким' непрочным счастьем.

После душного, дурно пахнущего зимовья райским пока-

Ф оРУ воздух в уютной, чисто побеленной избе Насти-
зался ^{jit} ^{ij} ^J ^{icuo} ^{ji} мятой, что пучками висела на стене около
Пахло су ^{мелом} ^{от} подсыхающей травы, которой Настя за-
печк ^{ала} пол. Когда Егор, наскоро раздевшись, лег, Настя поведала ему о своей беременности

Второй месяц пошел с Ильина дня,— прижавшись грудью к Егору, она заглянула ему в лицо. К удивлению Насти, ее сообщение очень обрадовало Егора.

— Значит, ребеночек будет у нас с тобой! — воскликнул Егор, целуя Настию.— Вот это здорово! Эх, мать честная, до чего же я люблю ребятишек! Жалко, меня не будет, когда он родится. Да-а-а, и на руках поддерживать его не придется, пока маленький. Ну, а когда отслужу, он уже подрастет, в бабки играть будет с ребятами.

Настя не радовалась. Тяжко вздыхая, она думала о другом.

— Разлучат нас скоро. С ума нейдет эта служба твоя, будь она проклята!

— Чудная ты, Наточка, ей-богу.— Егор, помолчав, заговорил спокойно-рассудительным тоном: — Ведь не у одних у нас с тобой участь такая. Так спокон веков ведется. И до нас служили казаки, и после нас служить будут, а ведь им тоже неохота было разлучаться с милыми, но и без этого нельзя. Ну, сама подумай, не будь у нас армии — что же получится? Нападут на пас другие прочие державы и заберут под свою власть. Оно и так-то нашему брату, бедноте, не сладко живется, а тогда уж и вовсе. Слыхала небось песню:

Бывало, как турки в село набегут,
Болгарских солдат убивают.
Камнями кидают в болгарских ребят,
А девушек честных позорят.
Кресты вырезают на белых спинах,
Красавицам груди вскрывают...

А ведь это не зря в песне-то поется, так оно и в самом деле было. Песни-то, они из жизни берутся. Я слышал от стариков не раз, как эти самые турки да всякие там татары Расею нашу, матушку, забирали под свою власть, как они галились над нашим народом. Села, города русские выжигали начисто. Девушек наших, женщин, какие помоложе да покрасивше, к себе угоняли в рабство, а всех остальных, даже стариков и детшиков, убивали нещадно. Казаков пленных в плуги запрягали, заместо быков землю на них пахали, а ежели на море, в судне, то приковывали их на цепь к веслам, там они и погибали,

сердяги, от голоду да от работы непосильной. Вот оно какое, иго-то чужеземное. Не-е-ет, я на такое удовольствие никак не согласен, отнеси его бог мороком. Лучше уж я отслужу, как положено, и возвернусь через четыре года обратно к тебе, заживем ишо лучше теперешнего. Оно, конечно, попервости-то тяжеловато будет, тоскливо. Ну ничего, приобьикнем по-маленьку.

Настя не ответила, лишь, горестно вздохнув, теснее прижалась к Егору. Ее удивляло и даже обижало то, что Егор так спокойно относится к их разлуке. Он никогда не возмущался несправедливостями, которые видел в жизни на каждом шагу. В простой, бесхитростной душе Егора накрепко укоренилось понятие, что все это устроено по божьему велению. Так жили отцы, деды, так было всегда, так будет и дальше. Казак должен гордиться своим званием, служить верой-правдой царю и отечеству. А если он бедняк, то лошадь и всю казачью амуницию должен заработать, вот и весь разговор. То, что одни богатеют за счет других, что антоновские бедняки, как и сам он с Ермохой, работают на Савву Саввича за гроши, тоже не тревожило Егора. Что ж тут особенного? Так повелось истари, у каждого своя судьба.

* * ft

Появление Насти на заимке никого не удивило. Поденщики решили, что ее послал сюда Савва Саввич наблюдать за работами. Об этом ей в первый же вечер сказал Егор. Насте это даже понравилось, и она в самом деле стала распоряжаться всем, как настоящая хозяйка.

Поденщики, привыкшие считать за старшего здесь Ермоху, в первые дни относились к Насте холодно, с недоверием, распоряжения ее выполняли неохотно, но положение вскоре же изменилось.

А произошло это так. На четвертый день появления Насти на заимке, вечером, она дольше обычного задержалась у костра. Работники, поужинав, разошлись, укладывались спать, с Настей остался один Прохор Лоскутов. Он еще утром хотел поговорить с нею, но почему-то постеснялся, и вот теперь, сидя напротив нее на березовом обрубке, сначала поскреб за ухом, затем палочкой подгрудил в костер головешки и наконец решился.

— Спросить, Федоровна, хочу тебя.

— Чего такое?

Помой хотел отпроситься. Там у меня девка осталась ~~ значит. Хозяйку-то я схоронил вскоре после успенья. а^оч^ит и надо бы сходить домой, помочь девке-то свой хлеб Д^к

бушко убрать, какой есть.

А много тебе еще отрабатывать!*

— Да оно, ежели подобру-то, почти что отработано. Парень мой здесь вот уж десять ден, и я пятый день отробил. А забору-то было пять пудов муки яричной. Наверно, с неделю-то придется ишо отрабатывать.

— Вот оно что-о!..— Настя посмотрела на всклокоченного, костлявого Прохора, на его рваную, с оторванным козырьком фуражку, на грязную, в заплатах рубаху, и ей стало жалко этого забитого горем и нуждой мужика. И тут в голове Насти возникла дерзкая мысль: «Ведь сказал же свекор-то, что полной хозяйкой буду, а раз так, то возьму вот и начну хозяйничать, назло старому черту». И, укрепившись в этой мысли, сказала: — Ладно, Прохор, считай, что за долг отработано, здесь я хозяйка. Сам ты, если хочешь, иди домой, а сын-то твой пусть поживет еще здесь, поработает. Платить за работу буду не меньше других.

Прохор даже рот разинул от удивления.

— Да неужто правда? Ну, Федоровна, ежели так, то дай тебе бог добра да здоровья. А парень, что ж, пусть поробит, дома-то я и вдвоем управлюсь.

Прохор поспешил в зимовье — обрадовать сына, и не успела Настя отойти от костра, как к ней подошел долговязый Антон, за ним еще два мужика, и вскоре вокруг Насти сомкнулся шумливый круг работников. Говорили все разом.

— Федоровна, а мне как?

— Меня подсчитай-ка.

— Я с самого успенья работаю.

— Федоровна!..

— Подожди ты, не лезь, дай мне сказать.

— Тише!..— Настя поднялась с чурки, на которой сидела, замахала руками, повысила голос: — Тише, не галдите. Сейчас не буду ничего делать, поздно уж. Идите спать. А завтра перепису, кто сколько отработал, а плату прибавлю, не обижу никого.

— Это бы хорошо-о!..

— Дай тебе бог!

— Давно бы так!

Довольные таким оборотом, работники разошлись, и в зимовье долго в этот вечер не смолкал разговор, в темноте красными точками вспыхивали и медленно гасли самокрутки.

- Да-а, братцы, чудно получилось...
- Ежели не обманет, то что ж, дело-то хорошее.
- Чего же ей обманывать?
- Не верится чегой-то.
- Прохора-то отпустила же.
- Да оно-то так, но все же надо самого Шакала спросить.
- Во-во, я так же думал.
- А вот приедет — и спросим.

Первым в зимовье проснулся Ермоха. Он, как всегда, поднимался чуть свет, будил людей и помогал Насте руководить всеми работами. Проснувшись, он первым долгом сходил в избу к Насте, разбудил Егора и только после этого, вернувшись в зимовье, принялся будить остальных. Неохотно поднимались поденщики. Ермоха уже разжег костер, навесил два ведерных котла для чая, а они, все еще зевая и потягиваясь, продирали глаза, не торопясь обувались и один по одному выходили, усаживались вокруг костра. Медленно надвигался рассвет, небо, как серым пологом, затянуло тучами, а дальние сопки скрылись за белой пеленой дождя. Долговязый Антон вышел из зимовья одним из последних и сразу же напустился на Ермоху:

— Ты это чего же поднял-то нас ни свет ни заря? Ведь дождь кругом, вон уж и здесь начало побрызгивать, какая же может быть работа? В такую погоду добрый хозяин собаку на двор не выгонит, а ить мы как-никак люди.

Ермоха подбросил в костер сучьев, задрав бороду, посмотрел в небо.

— Ничего-о-о, гречуху пойдем косить, мы с Егором вон уж литовки наладили.

— Шутейное дело — мокнуть весь день!

— А кто же гречуху в сухое время косит? Самое в дождь ее и косить, осыпаться не будет.

Несколько человек из сидящих у костра заговорили разом:

— Оно конечно.

— Литовок хватит?

— И что за нужда в такую мокрость идти!

— На черта она сдалась, работа такая!

— Нет, ребята, нехорошо так, хозяйка вон надбавку посулила, значит, и нам надо уважить ее.

— Это-то верно.

— Конечно.

— Идти надо, братцы, не глиняные небось, не размокнем.

Постепенно с этим согласились все, даже Антон не стал возражать, только сердито засопел носом, пошел в зимовье

ой. А Ермоха посмотрел на хмурое небо, на сопку, за чашко • - „JJ пеленой дождя, потербил кудлатую бобадернутуш

род — А по мне, в такой дождь косить гречуху — одно удовольствие, литовка-то как по воде бредет — мягко, урону в яеоне не будет и самому легко, не жарко.

Покончив с завтраком, поденщики разобрали литовки, грабли и следом за Ермохой гуськом потянулись на пашню. Улучив минутку, Егор забежал к Насте, посоветовал ей:

Ты не ходи сегодня, что за неволя тебе мокнуть под дождем?

— Могу не ходить, — охотно согласилась Настя. — Лучше постираю на вас с Ермохой.

— И то хорошо.

Егор ушел. Настя достала из-под кровати мешок с пожитками работников и, вынув из него полинявшую, пахнущую потом гимнастерку Егора, прижала ее к своей груди. Так, с гимнастеркой у груди, подошла она к открытой двери и долго смотрела на елань. Там сквозь сетку дождя видела Настя работающих на косьбе людей и среди них угадывала Егора. Уж его-то она отличит из тысячи других и по походке и по молодецкой ухватке на работе. Во-о-он идет далеко впереди всех, широко и быстро взмахивая литовкой.

— Гоша, милый мой Гоша, радость моя! — еле внятно шепчет Настя, крепко прижимая гимнастерку к груди. — Эх, кабы вечно с тобой жить так вот! Никакая бы мне работа, ни нужда не были страшны. И хозяйство это к черту послала бы. Гоша мне дороже всего на свете, с ним и в шалаше будет рай.

После обильно прошедших дождей вновь установилась хорошая погода. По утрам уже ощущается легкий морозец, инейком припудрена земля, прозрачным ледком покрыты лужицы. А днем такая благодать, тепло, не жарко, как летом, в голубом поднебесье ни облачка, в недвижимом воздухе плавают легкие паутинки. На побуревших, подкрашенных золотом р, киноварью еланях кипит работа.

В Один из таких ясных теплых дней на заимку пожаловал Савва Саввич вместе с Семеном. Работники только что пообедали, ушли на пашню, как они подкатали к заимке на гнедом мерине, запряженном в дрожки. Любимец Саввы, оседланный Сивко рысил сбоку гнедого, привязанный к оглобле.

Не хотелось Савве Саввичу встречаться с Настей, но как услышал он, что она слишком щедро хозяйничает, что

должникам за их работу обещает платить полную цену, тут уж не вытерпел, решил поехать.

Сойдя с дрожек, он привязал коня к изгороди, посмотрел на широкую, пеструю от его пашен елань, там он увидел и зеленые, как лук, полосы овса-зеленки, и черные от свежей бороньбы залоги, по всей елани рассыпаны стройные ряды суслонов, а там, где желтеют полосы еще не сжатого хлеба, полным ходом идет работа. Размахивая широкими лопастями, стрекочет жнейка, восемь поденщиков еле успевают вязать за нею снопы. В другом месте поваленную, прибитую дождем и ветром почти вплотную к земле ярицу бабы жнут серпами.

Картина эта по душе пришлась Савве Саввичу, сердитое перед этим лицо его просветлело, губы тронула самодовольная улыбка. Но как только он следом за Семеном тронулся к зимовью, где Настя у костра перемывала посуду, сразу посуровел лицом, недобрым огоньком загорелись глаза. Слишком уж досадила Савве Саввичу строптивая сноха.

Первым приветствовал Настю Семен:

— Здравствуй, Настюша!

Настя, не отрываясь от дела, кивнула головой:

— Здравствуйте.

Савва Саввич сел на бревно около костра, Семену глазами приказал сесть рядом. Заговорил, не глядя на Настю:

— Орудуюшь, значит?

— Орудую,— нимало не смутившись, ответила Настя.

— Та-ак, эдак-то управлять будешь, так хозяйство-то живо подведешь к нолю.

— Это почему же?

Еле сдерживаясь, чтобы не разразиться бранью, Савва Саввич исподлобья глянул на Настю, лицо его побурело от злости.

— Будто не знаешь почему? Кто тебя просил цену прибавлять поденщикам?

Настя бросила наземь недомытую чашку и, подперев бока руками, смерила свекра насмешливым взглядом.

— Сама набавила. Ты что, забыл, как говорил мнг зимусь, что полной хозяйкой буду у вас? Вот я и стала хозяйкой.

Крякнув с досады, Савва Саввич хлопнул себя руками по коленям.

— А раз так, то зорить надо хозяйство-то? — И в голосе старого скряги зазвучали жалобные, плаксивые нотки,— Ведь я за тот хлебец-то золотом, чистым золотом получил бы, кабы не пожалел голодранцев этих. Выручил их из беды, а теперь им же давай прибавку?

— Я и слушать-то не хочу про ваше золото и зрить не могу, когда люди задаром работают. Злыдни вы, и больше ничего. Вон какая благодать уродилась, другие-то хозяева по пуду за поденщину платят, а вы трясетесь над каждым фунтом, а того не подумаете, что прибавила я им цену — они и робить вдвое лучше стали. Нет, я по-вашему не согласна, а почему сказала, так и платить буду. Ну, а ежели по-своему повернете, то я и отстать могу. Сама пойду наниматься в поденщицы, посмотрю, кому стыднее-то будет.

— Настюша! — Семен умоляюще посмотрел на Настю, перевел взгляд на отца.— Не надо, тятенька, ну и заплатим, как она сказала, пусть... — он чуть не сказал «подавятся», но вовремя спохватился, сказал другое: — ...не жалуются.

Глухо кашлянув, Савва Саввич поднялся с бревна и, не сказав больше ни слова, побрел к телеге. Он отвязал Сивка, долго не попадал ногой в стремя и, наконец, взмоштившись на седло, поехал посмотреть на поля, на работу поденщиков.

Оставшись вдвоем с Настей, Семен принялся уговаривать ее. поехать с ним домой.

Настя слушала молча, а в душе ее зрело решение: «Порвать с этим гаденышем навсегда, а для этого придется, пожалуй, поехать домой, чтобы не скандалить с ним здесь, при людях». И, решившись окончательно, сказала:

— Ладно, поедем.

— Насовсем, Настюша? — вплотную подойдя к Насте, лебезил перед нею Семен и, глядя на нее снизу вверх, тщетно пытался поймать глазами ее взгляд.— Чего тебе здесь? Людей тут и без тебя хватит. Живи себе дома, распорядись всем. В это воскресенье в город съездим.

— Я сейчас на пашню схожу,— не слушая Семена, изрекла Настя.— Ключи отдам Ермохе от кладовки, расскажу ему, где что лежит.

— Сходи, Настюша, сходи, а я сейчас сена наложу в дрожки, чтобы ехать было помягче.

Домой поехали по прямой, малоезженной дороге, что пролегла через елань мимо пашен Саввы Саввича. Лошадью правил Семен, Настя сидела к нему спиной и, свесив ноги с дрожек, глаз не сводила с дальней пашни, где среди поденщиков находился Егор. Она сразу же отличила его от других, видела, как он, распрямившись, стоял около снопа и взгляд его был устремлен на нее. Так и смотрели они друг на друга, пока телега не скрылась за увалом.

А в это время Савва Саввич ездил по елани от пашни к пашне. Полюбовавшись рядами суслонов, подъехал к полосе спелой, но еще не сжатой пшеницы. Высокая, густая кубанка порадовала хозяина тучным безостным колосом.

— Хороша-а-а пшеничка, колос-то чуть не в четверть,— сам с собой рассуждал повеселевший Савва Саввич.— Эта сыпанет, матушка, с одной этой пашни амбар пшеницы.

После пшеницы Савва Саввич осмотрел поднятые из целины и недавно забороненные залог, побывал на скошенной, скатанной в кучки гречухе, а в овес-зеленку даже въехал на сивке. Въехал — и диву дался: густой шелковистый овес вымахал в конский рост. Такую благодать редко приходилось видеть даже Савве Саввичу.

«Тут одной зеленки копен полтораستا будет,— дивился он про себя.— Да-а, уродились ноне хлеба, слава те господи!»

Завидев хозяина, поденщики приостановили работу, окружили его. Антон первый осведомился, правду ли сказала Настасья насчет прибавки.

— Правду, ребятушки, правду,— отечески ласково улыбаясь, кивнул головой Савва Саввич.— Я сам ей так велел, только вы уж, ребятушки, тово... старайтесь.

В ответ нестройный гул:

— И то стараемся...

— На совесть робим.

— Бабы вон на круг по десять суслонов нажинают, это как?

— Старайтесь, ребятушки, старайтесь.

«Оно вроде и верно робить-то лучше стали,— уже по дороге к дому думал Савва Саввич.— Пожалуй что из Насти может выйти хозяйка. Только вот характер-то у нее дурной. Ну да ничего, только бы этого варнака черт унес на службу, без него-то она присмирет».

* it *

Настоящий разговор произошел у Насти с Семеном вечером, когда в доме все улеглись спать. Настя сидела в своей комнате на диване. В окно ей были видны край темно-синего небосклона, мерцающие на нем звезды, зубчатая линия гор и узенькая полоска догорающей зари. Семен, в одном белье, босиком, подошел к ней от кровати, сел рядом.

— Настюша...— робко заговорил он, пытаясь взять ее за руку.

Настя быстро, словно руки ее коснулась крапива, отдернула руку:

— Отстань!

— Настюша...— жалобно пролепетал Семен.— Что это с тобой?

— Вот что!— Настя резко повернулась к Семену лицом и тоном, не допускающим возражений, выпалила: — Ухожу от тебя совсем. Не желаю больше... хватит!

— Как это совсем? — испуганно переспросил Семен.— Что ты, бог с тобой, ведь мы же с тобой повенчаны. Законные муж и жена, да ведь это... господи!

— Повенчаны! Обманули меня, дурочку полоумную, и радехоньки. А я теперь по-своему поверну, поумнела.

— Бож-же ты мой,— всплеснул руками Семен и голосом, полным отчаяния и мольбы, продолжал: — Настюша, опомнись, что ты, милая! Али недовольна чем? Скажи, и все тебе будет. Ведь жили же мы с тобой, господи, за что же ты меня губишь? Или другого нашла, Настюша-а-а?..

И, упав на колени перед Настей, он уткнулся головой в ее ноги, заплакал, как малый ребенок. В этот момент Насте стало жалко его, такого беспомощного, глубоко несчастного, обиженного судьбой. Но это длилось не более минуты. Уже слишком много причинил ей страданий этот маленький человечек, обманом заманивший ее к себе, вставший поперек жизненного пути. В душе Насти еще сильнее закипела обида. С презрением глядя на тщедушную фигурку ненавистного мужа, она разила его словами, как клинком, без всякой пощады:

— Хватит! Распустил нюни-то, обманщик проклятый. Меня этим не разжалобишь. Интересуешься, кого нашла? Степана Швалова, вот кого.

Позднее Настя и сама удивлялась, как это она так быстро сообразила обмануть Семена. Конечно, иначе она и не могла поступить. Сказать ему всю правду, раскрыть свою тайну она не решилась бы ни за что на свете.

— Так вот оно что-о...— Семен медленно поднялся с колен и, задыхаясь от внезапно охватившей его злобы, прохрипел: — Степана? Ах ты, сука поблудная!..

— Ты меня не сучи,— повысила голос Настя,— а то я тебе покажу суку, выползок гадючий!

— Я т-тебя...— Семен метнулся к двери, но тут же повернул обратно и, натываясь на стулья, на спинку кровати, за метался по спальне.— Я с тобой... убью проклятую!.. Где у меня... дробовик? Сейчас...

Настя стремительно поднялась с дивана, на ходу подсучивая рукава кофты, грудью двинулась на Семена:

— Убивать? А ну-ка... попробуй.

— Подожди, подожди, господи боже мой!..— Пятясь от Насти, Семен уперся горбом в стену, защищаясь, вытянул руки вперед.

— Эх ты-ы, убивец! — презрительно, сквозь зубы процедила Настя. — Чья-нибудь корова-то мычала б, а уж твоя бы молчала. Нос у тебя не дорос убивать меня.

И, махнув на него рукой, отошла, села на диван.

Всю эту ночь Семен не спал, не дал уснуть и Насте. Он то ругался до хрипоты, грозился убить, то плакал, валяясь в ногах, просил прощения, умолял не уходить от него, но Настя твердо стояла на своем. Уже забрезжил рассвет, когда наконец утомленный Семен повалился на кровать, всхлипывая, уткнулся головой в подушку и вскоре же заснул.

Посидев еще немного, Настя поднялась с дивана, тихонько вышла на веранду. Светало. Пели петухи. Из трубы зимовья тоненькой струйкой курился дымок. Матрена и поденщица в белом платке, гремя ведрами, прошли во двор доить коров. Настя зашла в зимовье, легла на голые нары, подложив под голову Матренину куртку, и, как в воду головой, окунулась в сон.

Проснулась она, когда уже взошло солнце. Матрена хлопотала в кути, готовила завтрак, около печки весело пофыркивал самовар. Заметив, что молодая хозяйка проснулась, Матрена повернулась к ней, осведомилась:

— Ты это что же, Федоровна, спать вздумала на голых досках, аль надоели перины-то?

— Плохо спала ночесь.— Настя поднялась, громко зевнув, потянулась.— Обратно собралась ехать на заимку, да вот зашла к тебе, прилегла и сразу уснула.

Наскоро умывшись, Настя позавтракала с Матреной, разыскала в завозне Егорово форменное седло, оседлала иноходца. Убавив стремена, она ловко, по-мужски, вскочила в седло, тронула иноходца к открытой калитке. И тут на веранде показался Семен. Увидев Настю верхом на лошади, Семен торопливо сбегал с веранды, загородив ей дорогу, схватил иноходца за повод. Он был в галошах на босу ногу, как видно, только что встал с постели; в брезентовом, до самых пяток плаще и без фуражки, на тыквообразной голове его клочьями топорщились рыжие волосенки.

— Настюша, куда же ты в эдакую рань? — В голосе его

звучали нотки отчаяния и мольбы.— Останься, Настюша, поговорим.

— Хватит, наговорились.

— Значит, к нему едешь, к Степану?

Настя невольно улыбнулась, оправляя юбку, натянула ее на оголенное колено.

— Степан уж скоро год как на службу ушел. На заимку поеду— Все равно жить где-то надо, вот и хочу проработать у вас зиму, а там будет видно. Отпусти коня.

— Настюша! — синие глазки Семена загорелись надеждой.— Может, одумаешься, а? Я сегодня же к тебе приеду.

— Нет, нет, и не думай даже, себе хуже сделаешь.

— Настюша-а!..

— Если вздумашь приезжать туда, то и с заимки уеду. Имей в виду.

Настя взмахнула нагайкой, иноходец под ней загорячился, чуть не смяв Семена, вырвал из рук его повод, вынес хозяйку за ворота. Дав коню полную волю, обгоняя телеги сельчан, Настя помчалась улицей, чувствуя на себе взгляд Семена.

Тревожно было в этот день в доме Пантелеевых. Узнав о разрыве, происшедшем у Семена с Настей, старики всполошились не на шутку, но горе свое переживали по-разному. Макаровна сразу же ударилась в слезы, Савва внешне казался спокойным. Хитрый старик хорошо знал истинную причину этого происшествия. Он был уверен, что Настя не уйдет от них, что после того как Егора призовут на службу, она поневоле вернется в дом, так как ей некуда деваться.

— Никуда она не уйдет,— утешал он Макаровну.— Это она, тово... на пушку берет Семена. Кому она нужна от живого-то мужа? Пусть поживет покамест на заимке, она там за хозяйку теперь. Зиму проработает на заимке, а к весне видно будет. Семена надо будет по-настоящему приняться лечить, это много значит.

— За Марфой надо спосылать.

— Пошлю, надо с ней потолковать — от Лукича пользы как от быка молока.

А Марфа, словно чутьем угадав поживу, сама появилась у них в этот же день. Приход ее был как нельзя кстати, поэтому Савва Саввич принял Марфу отменно ласково.

— Сватья Марфа! — воскликнул он, поднимаясь навстречу сметливой пройдохе.— Здравствуй, голубушка моя, здравствуй!

— Здравствуйте, дорогие! — Марфа перекрестилась на иконы, за руку, с поклоном поздоровалась с хозяином, трижды облобызала Макаровну. — Насилу собралась к вам. Даты чегой-то вроде опечалена, Макарьевна, чем-то? И личико у тебя заплакано, уж не захворала ли, часом?

— Ох, не говори, сватья.

— Уж не беда ли какая?

— Оно беды-то особенной нету, — вмешался в разговор Савва Саввич и, оглянувшись на дверь, понизил голос: — У Семена с Настей немножко, тово... неувязка получается. Только ты уж, Марфа Яковлевна, смотри не проговоришься никому.

— Спаси Христос, Савва Саввич, да рази ж ты меня не знаешь? Да отсохни у меня язык, ежели я сболтну кому хоть единое слово. Не-ет, клещами никто не вытянет.

— Вот и хорошо, сватьяшка, оно, тово... сор из избы выносить не надо. А дело-то, значит, такое. — И тут Савва Саввич поведал Марфе обо всем, что случилось у Семена с Настей.

Марфа, притворяясь опечаленной происшедшим, тяжело вздыхала, стараясь выжать из глаз слезу. Но какие же там слезы, когда в душе ее ключом была радость, рвалась наружу, отчего на полном лице Марфы пятнами выступил румянец. Слаще меду был ей рассказ Саввы Саввича, особенно радовало Марфу то, что хозяин и не надеется на скорое примирение невестки и сына, хоть бы к зиме примирились, и то хорошо. Лучшего для Марфы и желать было нечего, ведь теперь она будет ежедневной гостьей в богатом доме. Всю осень, а может, и всю зиму, будет кататься как сыр в масле, ни в чем ей не будет отказу, да еще и заработает на черный день. Как же тут не радоваться Марфе? Выслушав Савву Саввича, она повздыхала для видимости, посетовала на недосуг.

— Время-то у меня никак нету, прям-таки беда. Соседке Агафье помогаю в домашности, и дома надо, и в огороде, шаль взялась вязать Крючихе, а тут то заболел кто, то ишо какая беда, все ко мне. Так вот день-деньской и верчусь как белка в колесе.

— На тебя вся надежда, сватья, помоги, милая! — упрашивала Макаровна.

— Не откажи, Марфа Яковлевна, — вторил жене Савва Саввич, — а уж я тебя отблагодарю, ничего для тебя не пожелаю.

Тяжко вздохнув, Марфа согласилась.

— Что ж делать, надо помочь. Вот только снадобье хоро-

тдее-то кончилось у меня, корень любовь-травка, придется поехать, поискать его. А не найду здесь, то свожу Семена в Агинские степи, там у меня есть знакомая бурятка-шаманка. Словом, как бы то ни было, а Настя снова будет наша — излечу Семена.

Вечером Савва Саввич проводил Марфу до ворот, прощаясь с ней, еще раз напомнил:

— Уж постарайся, сватья Марфа. Закончишь это благополучно — кроме всего прочего нетель тебе, трехлетку семинтайской породы, подарю за труды.

ГЛАВА XVI

Всю осень прожила Настя на заимке. Два раза приезжал к ней Семен. Выждав, когда Настя останется одна, он подходил к ней, просил, умолял ее вернуться домой. Пополневшая, раздавленная в ширину, Настя всякий раз выпроваживала его обратно. В последний раз она пригрозила Семену, что если он еще будет надоедать ей, то не увидит ее больше и на заимке.

А ночью, по-прежнему таясь от других, приходил к ней Егор. И радостны были их встречи, быстро летели ночные часы. Оба давали своим чувствам полную волю, стараясь заглушить тревогу, что росла в душе каждого от сознания скорой разлуки. Егор даже похудел в эту осень, под глазами темнели круги, днем на работе одолевала его дремота. От постоянного недосыпания чувствовал он в теле непомерную тяжесть и при каждой остановке на работе — перекур или короткий отдых — валился с ног, ткнувшись головой куда попало, и мгновенно засыпал. А когда кончилась страда, началась скирдовка, отсыпался Егор в телеге, пока ехали они за снопами от гумна до пашни.

А время неумоимо летело вперед. Вот уж и осень прошла, снегом покрылись поля, елани и сопки, незаметно подкралась зима.

Приказ о призыве в армию Егор получил за два дня до рождества. На заимке закончили молотьбу. На гладком как зеркало ледяном току второй день грохотала веялка. За вчерашний день Ермоха с Егором и трое поденщиков навеели более ста мешков пшеницы. Сегодня Егор с поденщиками продолжал работу на веялке, а Ермоха, один на пяти лошадях, увез в село первую партию пшеницы.

Вернулся он на заимку к полудню. В это время работники обедали в зимовье, сидя на нарах, поджав под себя по-монгольски

ноги. Настя из ведерного чугуна подливала им в чашки жирные, вкусно пахнувшие щи. Покончив со щами, принялись за гречневую кашу с молоком, в это время и появился Ермоха. Он не распряг лошадей, привязал их к пряслу и поспешил в зимовье.

Ермоха стряхнул с шапки куржак, оборвал с бороды и усов ледяные сосульки, заговорил, обращаясь к Егору:

— Новости привез, тебя, Егорша, касаемо. На службу, брат; требуют, такое дело.

Меняясь в лице, Настя тихо охнула, чуть не выронив ухват, опустилась на лавку. Егор, крикнув, взял из рук Ермохи исписанную чернильным карандашом бумажку, внимательно осмотрел ее, передал сидящему рядом белобрысому парню:

— Читай, Спирька.

Спиридон отложил в сторону ложку, вытер ладонью губы и медленно, с остановками начал чтение. Вот что он прочитал:

«Поселковому атаману, село Антоновка Заиграевской станицы.

Сим прошу уведомить казака нашей станицы Егора Матвеевича Ушакова в том, что ему, как и всем казакам 1911 года срока службы, надлежит явиться 27 декабря сего года в станицу, при полной боевой готовности, для отправки в полк.

Основание: приказ войскового наказного атамана от 9 декабря 1910 года за № 145, § 1 и отношение атамана Заозерской станицы от 16 декабря с. г., № 1184.

Поселковый атаман приказный Болдин неграмотен, приложил печать.

Писарь, мл. урядник Т и т о" в».

— Та-ак,— хмуря брови, Егор взял у Спиридона бумажку, бережно сложив ее вчетверо, положил в нагрудный карман гимнастерки и, взглянув в кузь, встретился с затосковавшим взглядом Насти.— Ничего-о,— глухо проговорил он, слезая с нар, стараясь не глядеть на Настю.— Служить так служить.

Только теперь Егор заметил в руках Ермохи бутылку, из которой он угостил поденщиков, а потом с полным стаканом водки подошел к Насте.

— Выпьем, Настасья Федоровна, раз такое дело, пожелаем Егору удачи на службе. Жалко мне его, ведь он мне вроде как сын.

Настя пригубила из стакана, передала Егору. Ермоха

„окнулся с ним, закусил калачом и на вопрос Егора, что ему делать, ответил:

— Запрягай большого Соловка в кошевку, ехать надо к хозяину, чего же больше-то? Я, однако, тоже с тобой командуюсь, а то как бы он тебя не обжулил при расчете, он ведь мастак на эти штуки. Так што вместе поедем, пусть Шакал на меня полюбуется. Ему на меня на пьяного-то смотреть шибко приятно, все равно что волку на железные вилы. Пусть позлится, вражина, а я ему ишо парочку слов кругленьких сказану, давно у меня на него зуб горит.

Егор оделся, пошел запрягать. Следом за ним, накинув на плечи шубейку, вышла Настя.

Охмелевший Ермоха тешил работников разговором: то он, цветисто выражаясь, принимался ругать хозяина, то начинал петь единственную любимую им песню: «Што не ласточка тропу тропила...»

А работникам того и надо. Угостившись даровой водкой, довольные, что сегодня их никто не торопит с выходом на работу, сидели они на нарах, курили и, посмеиваясь, охотно слушали расходившегося гулевана. И только когда рыжий Никита взялся за полшубок, вспомнил Ермоха о деле.

— Вы, ребята, сколько навеяли, уберите в амбар, и хватит на сегодня. Ты, Микита, розвальни приготовь, облучок привяжи, тот, что лежит около стайки, сена в него набей побольше, чтобы сидеть мягко и привалиться спиной было на што. За старшего будешь здесь, Микита, пока я не протрезвлюсь. А это ишо не скоро будет. Мне брат, ежели шлея под хвост попала — баста. Пока не нагуляюсь — не работник.

Никита пробовал отнекиваться от старшинства:

— Сроду мне не приходилось заниматься такими делами* Назначь вон из молодых кого-нибудь.

— Не, и не думай даже. У тебя и вид-то прямо-таки генеральский, у нас командир полка был вот как капля воды на тебя похожий, борода такая же, во всю грудь, рыжая, как лисий хвост. Ты теперь, наверно, в годовые запряжешься к Шакалу, наместо Егора?

— Придется, куда денешься.

— Подряжайся, Микита, мужик ты на работе способный, вместе потянем эту лямку.

Эх, да што не ласточка тропу тропила,
Не касатая повытоптала.
Што не белый граносталь пролетел.
Пролетели твои дубовы санки.

Давно не гулял, братцы, года полтора рюмки в роте не было. Ну а теперь-то уж нагуля-юсь. Провожу Егора до станицы и все святки гулять буду назло Шакалу.

Што во саночках беганушко бежит.
А на саночках лежанушко лежит.
Под гору конь разбегается,
О калину расшибается.
На калинушке соловушко сидит,
Горьку ягоду калинушку клюет.

А в счет работы, Микита, значит, так: везть можно погодить, пусть пшеница полежит в ворохах, наших рук она все равно не минует, сено пока возить да солому надо заметать в ометы, а то как ударит пурга, забьет ее снегом, нам же и достанется мучиться с ней.

Што не ласточка тропу тропила...

* * *

С заимки выехали задолго до свету. На дворе стоял крепкий мороз, на темной синеве небес холодно мерцали звезды, жгучим сиверком тянуло навстречу, а заснеженные елани и сопки словно застыли в ночном безмолвии. Пара лошадей — рыжий двухаршинный мерин в кореню и гнедая кобылица-нежеребь на пристяжке — легко мчали кошеву с тремя седоками. Оседланный, с походным вьюком Егоров Гнедко бежал сбоку, привязанный к оглобле. Кучерил Ермоха. Час тому назад, когда Настя кормила их блинами со сметаной, Ермоха опохмелился полным стаканом водки, а бутылку сорокаградусной прихватил с собой.

— Посошок на дорожку,— сказал он, запихивая бутылку за пазуху. В дороге, после того как выехали с заимки, Ермоха еще разок приложился к бутылке и теперь, не чувствуя обжигающего лицо мороза, весело покрикивал на лошадей, мурлыкал себе под нос:

Што не ласточка тропу тропила...

Егор с Настей, одетые поверх полушубков в козьи дохи, сидели рядом. Егор укутал ей ноги потником, обнимая за плечи, заглядывал в лицо.

— Наточка, вот она, разлука-то наша, подходит.

В ответ Настя лишь глубоко вздохнула.

— Ну ничего, Настюша, бог даст, отслужу и заберу тебя навовсе к себе. И никакие шакалы, ни горбачи, ни судьи не отберут тебя от меня. К черту их всех! То, что нельзя жить

невенчанными,— врут. Вот в Новотроицкой станице одна ушла от мужа, так же как ты от Сеньки, сошлась с другим, и живут припеваючи в Нерчинском городе, уж двоих ребятишек нажили. Так же и мы сойдемся и будем жить. Только ты не убивайся шибко-то, наберись терпенья и жди.

— Я-то дожду. Только ты не забудь меня. Ведь четыре года — не шуточное дело, много воды утечет за это время. А вдруг встретится тебе другая, полюбишь ее?

— Што ты, Наточка! Как у тебя язык-то повернулся сказать такое. Да разве я могу забыть тебя, сменять на другую? Не-ет, и не думай даже. Любовь наша навечно, я на слово крепкий.

Когда над темными лесистыми сопками занялась заря, наши путники отмахали уже добрую половину пути. Малоезженная проселочная дорога вышла на широкий, хорошо укатанный тракт, и кони прибавили ходу.

— Голубчики мои-и!..— грозя кнутом, покрикивал на лошадей Ермоха. Он чем дальше ехали, тем больше хмелел, так как не один раз уже потянул из бутылки, а при подъеме на последний хребет допил остатки. Под конец он опьянел настолько, что Егору пришлось самому брать за вожжи. Старик не возражал, лишь пролепетал еле внятно:

— Егорушка, я, брат, кажись, лишку хватил.

Што не ласточка тропу тропила...

Приткнувшись головой в задок кошевки, Ермоха уснул. Егор укрыл ему ноги полой дохи.

В Верхние Ключи приехали, когда солнце стало «в обогрев». Над поселком курилась туманная изморозь, густо дымили трубы. Но, несмотря на мороз, в улицах по-праздничному многолюдно. То тут, то там видно новобранцев в их дубленых полушубках с серой оторочкой на груди и карманах и в мерлушковых папах с желтым верхом. В толпе, идущей навстречу, множество пьяных, и все они, шагая в обнимку, тянут довольно стройно:

Последний нонешний дене-е-ечек
Гуля-яю с ва-ами я, друзья...

Разбуженный песней, Ермоха приподнял голову, осоловело посмотрел вокруг и, может быть, впервые за всю жизнь изменил своей «ласточке», подхватил служивскую:

Ата-аман стучит в око-о-ошко,
Гото-о-овые сына своего-о-о,

Каза-а-чий сын давно гото-о-овый,
И ко-онь об-седланный сто-опт.

Платоновна с раннего утра поджидала Егора. По случаю праздника и проводов Егора дома был и Михаил. Он первый увидел в улице пароконную подводу, узнал брата.

— Приехал! Егор наш приехал! — радостно воскликнул он и как был, в рубашке, без шапки, выбежал во двор открывать ворота.

В окно Платоновна увидела, что Егор приехал не один, и вот все они в сопровождении Михаила вошли в избу — впереди проспавшийся Ермоха.

— Здравствуй, хозяйшка! С праздником! — приветствовал он Платоновну, снимая шапку и хлопывая ею куржак с бороды.

Отвечая на приветствие, Платоновна внимательно присматривалась к незнакомой молодой гостье. Когда Егор, сбросив с себя доху, помог Насте снять верхнюю одежду, перед глазами Платоновны предстала статная молодлица с высокой грудью и жгучими карими глазами под тонкими полудужьями черных бровей. Разрумяненное морозом лицо ее полыхало вишневым цветом. Очень к лицу Насте была ее одежда: и белый батистовый платок, стянутый узлом на затылке, и голубая, с кружевным воротником кофта; полнеющий стан обтянула широкая сборчатая юбка из черного сатина. На ногах у нее мастерски сшитые унты из гураньих лап.

«Красавица писаная», — подумала про себя Платоновна, сердцем почуяв в приезжей женщине любушку Егора.

Ермоха поспешил в ограду распрягать лошадей, занести в избу запасенные им для проводов Егора продукты. Вместе с Ермохой вышла и Настя. Михаила Платоновна спроводила к соседям, договориться с ними насчет совместной гулянки. На некоторое время Егор остался в избе вдвоем с матерью. Платоновна сразу же спросила про Настю. Егор хотя и ждал этого вопроса, однако смутился, на лице его плитами выступил румянец.

— Молодуха-то? Это хозяйская невестка... была. Но видишь, мама, дело-то какое... — Егор еще более смутился, покраснел. — Пожениться мы с ней хотим после службы. Ну, словом, невеста моя.

— Невеста? Так она что же, овдовела?

— Да нет, не овдовела, но оно видишь как получилось: они ее обманом взяли за уroda. Она его не любит, ушла от пего, а у меня с нею любовь, вот уж год.

Ужас отобразился на лице Платоновны. Всплеснув руками, она обессиленно опустилась на скамью. Егор, переминаясь с ноги на ногу, с виноватым видом стоял перед нею. Не смея взглянуть на мать, он видел лишь опущенные на колени ее большие, огрубевшие от работы руки.

— Как же это случилось-то? — Голос Платоновны обиженно дрожал. — Чужую жену от живого мужа! Господи боже, и от людей стыд, и грех перед богом. Да и венчать-то вас никто не будет. Што ты, сынок мой милый, опомнись!

— Эх, мама, не то ты говоришь! — Егор, приосмелев, поднял голову, встретился взглядом с полными слез глазами матери. — Ты успокойся только, я тебе все расскажу. Вот отслужу — и все улажу. Кабы ты знала, мама, што это за человек! В сиротстве выросла, как я же, а уж девушка-то, всем ъзяла: и лицом — сама видела, какая красавица, — и умница, и характером по мне. Не противься, мама, потому што мне, окромя ее, никакую другую не надо, будь это хоть сама принцесса. Она, мама, и тебе-то поглянется.

Разговор оборвался на полуслове: в сенях послышались шаги. В избу вошла Настя с четвертной бутылью спирта в руках, следом за нею Ермоха занес целую баранью тушу. По встревоженному виду Платоновны Настя догадалась, что разговор шел про нее, поняла, что матери не нравится поступок сына, и от стыда была готова провалиться сквозь землю. Хорошо, что в это время заговорил Ермоха, выручил, вывел из неловкого положения.

— Принимай, Платоновна, продохту, — гудел старик, укладывая барана на скамью. — Настасья Федоровна, помогай, печь растапливай, где у вас топор? Изрубить надо мясо-то, а там у меня ишо сало курдючное фунтов пять лежит в саях, сейчас занесу. Варите, жарьте на двенадцать персонтий. Гульнем как следует, проводим нашего казака не хуже других.

Проводы казаков, как всегда, знаменовались в селе развеселыми гулянками. В компании, где гуляли Ушаковы, из восьми хозяйств набралось более двадцати человек. Для начала собрались в просторном, пятистенном доме Сафрона Анциферова. От Сафрона вся компания с песнями отправилась к Усачеву, от Усачева — к Игнату Козырю, от Козыря — к Платоновне.

Баранина и спирт, привезенные Ермохой,годились. Ермоха, впервые за многие годы гуляющий наравне с другими, то и дело запевал «Ласточку». Он успел уже перезнакомиться со всеми, приобрел себе новых друзей. К вечеру, когда веселая

в санях и кошевках, оседланные кони их бежали рядом, привязанные к оглоблям. Егор, простившись наконец с матерью, с братом, с Ермохой и придерживая рукой шашку, кинулся догонять свою подводку, где сидела Настя, решившая проводить его до станицы. Припозднившись на прощании с родными, казаки заторопились, гнали лошадей, стараясь наверстать упущенное. Обгоняя один другого, цеплялись саними, с шумом, гамом, с веселой руганью устремились вперед.

— Гони-и-и!

— Давай, дава-а-ай!

— Куда тебя... черт несет?

— А ну, прибавь!

— Дай ходу-у-у!

Егор, стоя на одном колене, левой рукой держался за плечо Насти, правой, сорвав с головы папаху, долго махал ею, прощаясь с родными. Расстояние между ними все увеличивалось, быстро удалялось село, вот уже и толпа сельчан слилась в сплошное темное пятно. Только старуха береза долго еще маячила, возвышаясь над затуманенной темной массой села, но, все дальше и дальше отдаваясь, скрылась из виду и она.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА I

С унылым однообразием потянулись дни, первые дни военной службы Егора. Каждый день как две капли воды походил на предыдущий: утром побудка в шесть часов, уборка на конюшне, то есть водопой, чистка лошадей, затем завтрак, строевые занятия, обед, короткий отдых, занятия по устной словесности, уборка, ужин, поверка — и так каждый день.

Прошла всего одна неделя службы, а Егору она казалась за год, и он с ужасом думал, что впереди еще долгих четыре

года. Больше всего его томила тоска по дому, по Насте. Вечерами после поверки, когда казарма погружалась в полумрак и по ней медленно прохаживался одинокий дежурный, Егор, лежа на койке, все думал и думал об одном и том же: как теперь там Настя, скоро ли придет от нее письмо? Вспоминались минувшее лето, встречи с Настей, а чаще всего сенокос, когда они дни и ночи находились вместе. Эх, какое же это было золотое времечко, а он только теперь оценил его по-настоящему.

Командиром четвертой сотни, в которой пришлось служить Егору, был есаул Токмаков. Казаки не любили Токмакова и за жестокость прозвали его Зубаткой.

Служба в сотне, да еще при таком командире, казалась Егору в десять раз хуже его батрачества. Единственной радостью его в первую неделю службы было то, что он повстречал в сотне Степана Швалова. Встретились они в конюшне, на утренней уборке лошадей. Егор чистил своего Гнедка, когда услышал знакомый голос. Проворно работая скребницей, Швалов разговаривал с чернявым казаком из второго взвода.

— Степан, ты? — радостно воскликнул Егор.

Швалов обернулся, в полутемной конюшне сразу не угадал говорившего, и только когда молодой казак подошел ближе, узнал Егора.

— Ушаков! Здорово, браток!

— Здравствуй, Степан, здравствуй!

— Супротивник мой бывший появился?

— Как же я тебя до сегодня не видел?

— Я только вчера с губы¹. Ладно, сейчас-то некогда, вечером поговорим.

После вечерней поверки Егор долго сидел на койке Степана. Казарма тускло освещена висячей лампой, в конце коридора маячит силуэт дневального. Умаявшиеся за день, спят казаки, только Степан тихонько разговаривает с Егором.

— Чего же ты схитрил тогда, помнишь? Сначала сказал мне про Настю, а отобрать ее не дал, убежал от нас.

— Эх, Степан! — Егор глубоко вздохнул и поведал Швалову, как он сам влюбился в Настю с первой встречи и как любит ее теперь.

С этой поры Егор подружился со Степаном, и вечерами подолгу разговаривали они, сидя на койке Степана. Многие узнал Егор от своего друга о порядках, существующих в сотне, о жестокости их командира.

¹ Г у б а — гауптвахта.

— Это такая сволочь, что хуже уж и быть некуда, — рассказывал Степан про Токмакова. — Казаков он и за людей не считает, замучил всю сотню, на занятиях до того гоняет, что люди с ног валятся. В него уж и стреляли, и кирпичом его навернул в прошлом году Индчжугов, а ему неймется. Летось дневальным я был на конюшне, его черт пригнал ко мне. Вижу, злой, глаза так и горят, придаться не к чему было, а все же нашел причину. «Как фамилия?» — спрашивает. «Швалов, говорю, ваше благородие». — «Покажи своего коня». Я подвожу ему своего Ваську, он платочком провел по нему и, должно быть, запачкал платок. «Это што такое!» — заорал он да как ахнет меня по морде. Едва устоял я на ногах, а обозлился! Так меня и затрясло. Развернулся, хотел дать ему сдачи, да Митька Устюгов помешал, поймал меня за руку, удержал. А он, гад, понял, что дело неладно, сразу подался из конюшни и мне десять нарядов влепил вне очереди. Но я ему, подлюге, припомню эту оплеуху, не будь я Степка, Ванькин сын. Так вот мы и мучаемся с Зубаткой. У нас теперь в наряды очередные почти не ходят, все внеочередники отдуваются, какие проштрафились в чем-нибудь. Он, подлюга, к чему-нибудь да придерется: то честь ему отдал неправильно, то пояс затянул слабо, то ответил не так. Ты остерегайся его, при встрече с ним встань как положено, во фронт, не доходя четыре шага.

— А как их угадаешь? Ведь мерить не будешь.

— Приноровиться надо, а ежели станешь хоть на шаг меньше или больше, сразу наряд схватишь. То же самое честь отдавать, чтоб по всем правилам. Вот в третьей сотне командир — это действительно, не то што наш, собака. Есаул Метелица там, хороший командир, с казаками обходится по-человечески. И вот как оно получается: на занятиях он не гоняет людей, а сотня самая лучшая в полку, на смотрах, на маневрах все призы за третьей сотней остаются.

Еще будучи подростком, Егор знал о тяготах военной службы из рассказов старых казаков, но в действительности она оказалась гораздо тяжелее, чем он предполагал. Особенно трудно приходилось молодым казакам в первый год их службы. На учении, на строевых занятиях их гоняли больше, чем старых, — учить надо молодых, «серых», как их обычно называли старые казаки. В наряды, дневалить в конюшне, в казарме, в караулы опять-таки молодых назначали чаще, нежели старых, — молодые пусть привыкают. А отдавать честь молодые

обязаны были не только офицерам, вахмистру и урядникам, но и рядовым старым казакам последнего года службы. Кроме того, среди старых казаков считалось развлечением одурачивать молодых, посмеяться, сыграть с ними злую шутку, что испытал Егор на себе на третий же день после зачисления в сотню. Это было сразу же после обеда. Егор только что прилег на койку, когда дневальный начал выкрикивать не списку молодых.

— Живо, живо, серяки! — торопил дневальный. — Пойдете в вахмистерку ложки получать.

Егор вскочил с койки, одернул гимнастерку.

— Господин старый казак, дозвоьте спросить.

— Ну!

— При шашке идтить?

— На черта тебе шашка, с кашей воевать? Так пойдете.

Молодых — в сотне их набралось восемнадцать человек — дневальный выстроил двумя шеренгами, у дверей казармы пояснил:

— Вахмистерку знаете? Как выйдете за ворота, тут и есть направо. Твоя как фамилия, ты, чернявый?

— Аргунов, Усть-Уровской станицы.

— Ну, так ты, Аргунов, будешь за старшего. Выйди И8 строя! Так. Взвод, нале-оп, правое плечо вперед, направление на вахмистерку, шаго-ом арш! Веди их, Аргунов!

Все дружно, с левой ноги топнули, пошли к воротам. Часовой, узнав от Аргунова, куда направлялись серяки, улыбнулся в рыжие усы и пропустил их беспрепятственно.

Приткнувшись одним боком к ограде казармы, вахмистерка представляла собой небольшую избу с трехступенчатым крыльцом в улицу. Из нее навстречу молодым вышел черноусый казак в шинели, накинутой на плечи.

— Куда это, серяки, — ложки получать?

Аргунов приложил руку к папахе.

— Так точно, господин старый казак.

— Идите получайте! Все-то не лезьте, по одному. Иди сначала ты, старшой, а вы садитесь пока вон на скамейку, там ить не скоро: надо расписаться, то да се.

В вахмистерке находились человек восемь казаков и урядник Чугуевский. На столе перед ним лежали какие-то бумаги и здоровенная деревянная ложка. Аргунов подошел ближе, козырнул.

— Разрешите получить ложки.

Чугуевский внимательно осмотрел молодого казака, карие глаза его сощурились в улыбке.

— Сколько ложек дать тебе?

Аргунов опешил — оказывается, ложек можно взять сколько захочешь — и, недолго думая, выпалил:

— Три, господин старший урядник.

Пряча улыбку, Чугуевский склонился над столом, тронул рукой черные усы.

— Куда же тебе столько?

— На запас, господин старший урядник, — бойко ответил Аргунов. — В случае, может, сломается али што...

Договорить он не успел. Дюжие руки схватили его сзади, и в ту же минуту он очутился на скамье. Сзади его, запрокидывая на себя, как клещами, крепко держал за руки выше локтей здоровенный казачина Молоков. Двое других прижали к скамье ноги, четвертый расстегнул ему ремень, полушубок, заворотил на грудь гимнастерку, нательную рубаху. Не будучи в силах вырваться, Аргунов, дико вращая глазами, хотел крикнуть, но рот ему зажали папашой. Удар по голому животу ложкой был так силен, что Аргунову показалось, будто ударили его поленом.

— Р-раз, два, три.

Красный от обиды и боли, вскочил с лавки Аргунов, когда отпустили державшие его казаки.

— Вы што... сволочи!.. — прерывисто, задыхаясь от злобы, бормотал он, трясущимися руками оправляя гимнастерку. — Я ччас... к вахмистру...

— Но-но! Дура! — прикрикнул на него Молоков. — Подумай, беда какая стряслась, шишек ему насадили на брюхо.

— Вить больно!

— Нас ишо не так лупили, по серячеству, да не жаловались.

— Не жаловались.

— На, выпей водички, эх ты, маменькин сынок!

— Да, маменькин.

— Ладно, иди. Да не сказывай тем, какие не получили ишо, а то тебе же обидно будет.

Аргунов махнул рукой — «черт с вами», вышел.

Оишдавшие его молодые казаки чинно сидели Еозле ограды, курили.

Егор, бросив в снег недокуренную сигарку, спросил Аргунова:

— Чего так долго?

— Да тут... — буркнул Аргунов, глядя куда-то в сторону, — станишника встретил, ну и заговорился с ним.

Следующим в вахмистерку зашел Феофан Ерзиков, добродушного вида синеглазый старовер. Несмотря на молодость, у него над верхней губой уже пробивались усики, а румяное, пылающее здоровьем лицо обрамлял золотистый пушок бородки.

Чугуевский ответил на приветствие Ерзикова, удивленно поднял на него брови:

— Ого-о, какой ты важнецкий с виду-то!

Ерзиков смущенно переступил с ноги на ногу.

Сидящие у стола и на скамьях казаки покатывались со смеху, глядя, как краснеет он, морщится и отворачивается от табачного дыма.

— Да не пыхай ты на меня этим дымом вонючим,— жалобно упрашивал он курившего трубку Молокова, который нарочно пускал дым в его сторону.— И так накурили, ажио дыхнуть печем.

— Ха-ха-ха...

— Тебя, дед, может, по ошибке взяли?

— Послал бы заместо себя сына.

— Ты, наверно, Донинской станицы?

— Ага.

— То-то, видать тебя по физиогномии.

— Отчего это у ваших староверов бороды рыжие?

— Они их, наверно, красят, не зря поют про них:

**Рыжий красного спросил:
«Где ты бороду красил?» —*
«Я на солнышке лежал,
Кверху бороду держал».**

— Сбрей ты ее к чертовой матери.

— Нельзя нам рыло скоблить, грех это, портить образ Исуса Христа.

— Ха-ха-ха!..

— Ну учуди-ил, серяк!

— Ты, значит, ложки получать пришел?!

— Так точно, господин урядник! — При этом Ерзиков с завистью посмотрел на ложку, что лежала на столе, и подумал Про себя: «Вот бы эту заполучить, красота-а-а, в случае, придется из артельного котла ухватить, так уж е-есть чем».

Чугуевский, по взгляду угадав желание Ерзикова, улыбнулся, казаки, отворачивая носы, еле сдерживались от хохота.

— Что, приглянулась? Э-э-э, ложка, брат, самая сиротская. Сколько их тебе дать?

«е- А сколь можно?

— Бери хоть десять, нам этого добра не жалко.

— Ну ежели так, чего же, штук пять возьму на всяк случай.

В ту же минуту его схватили, поволокли на скамью. Во время этой экзекуции Ерзиков не вырывался из рук Молокова, не ругался, а только охал после каждого удара ложкой. А когда отпустили его, долго гладил себя по вспухшему животу и, ни к кому не обращаясь, жалобно выговаривал:

— О-ё-ёй, каких шишек понасадили! Да рази можно так-то?

— Можно, иди посылай следующего, да не бухти там, а то ишо не так всыплем.

Когда очередь дошла до Егора, он на вопрос Чугуевского, сколько желает получить ложек, ответил, приложив руку к папахе:

•— Одну, господин старший урядник.

— Чего так мало берешь?

— Я уж одну приобрел, эта вторая будет, куда же их больше-то?

— Что ж, получи одну, раз уж ты такой нежадный.

«Получив» свою ложку, Егор не стал шуметь, скандалить, только казаку с пламенно-рыжим чубом сказал с досадой в голосе:

— Бьешь ты, дядя, без всякой жалости, как кувалдой саданул. Все кишки, однако, полопались.

Застегивая полушубок, Егор подумал, что надо предупредить остальных, рассказать им, какие ложки выдаются в вахмистерке, но тут же и передумал: «Черт с ними, мне попало —> пусть и они хлебнут того же самого, а то ишо пожалей их, выручи, а мне же за них и попадет. Ни черта, не подохнут от ложек!»

И так все восемнадцать человек получили ложек, сколько сами пожелали.

Самым тяжелым из всех занятий для Егора — как, впрочем, и для всех казаков — было конное занятие, требующее от казаков большого умения, сноровки и смелости. И не было редкостью, что на конных учениях казаки увечились и даже убивались насмерть.

Январским утром -полк выехал на конное занятие. Город укутан морозным туманом. С реки доносится скрип полозьев едущего Шилкой обоза да скрежет вагонных колес и пронзительные гудки маневрового паровоза на железнодорожной станции, что расположена за Шилкой, напротив города.

Чтобы не обморозить ноги, казакам разрешили обуть вместо сапог ичиги и унты. В этой обуви казаки наворачивали больше портянок, поэтому ноги мерзли меньше, чем в сапогах, а благодаря мягким подошвам и быстрее согревались на ходу.

Площадь, на которой занималась четвертая сотня, начиналась от крутого берега Шилки и тянулась окраиной городка до заросшей сосняком сопки. Занятием руководят вахмистр и взводные урядники. Токмаков и два младших офицера — сотник Усков и хорунжий Мамонтов — наблюдают за ходом занятия со стороны.

Мороз щиплет уши, лица казаков, инеем оседает на усах, бровях и ресницах, пронизывает холодом, забираясь под полушубки. Но казаки четвертой сотни не обижаются на мороз, так как благодаря ему Токмаков подолгу отсиживается в караульном помещении, что находится рядом с плацем. Без Токмакова на плацу казаки чувствуют себя спокойнее, увереннее и меньше делают ошибок.

Вторым взводом командовал старший урядник Чугуевский. Хорошо зная службу, Чугуевский все свои знания старался передать подчиненным. Делал это он без ругани и крика, толково, терпеливо объясняя премудрости казачьей службы и общевоинской субординации. Чугуевский никогда не придирался к своим казакам из-за пустяков, как многие другие урядники, а в случае какой провинки предпочитал поругать виновного, но не писать на него рапорт по начальству. За все это и любили казаки своего взводного командира и все его приказы, распоряжения выполняли быстро и добросовестно.

После общесотенного занятия всей сотней в конном строю брали препятствия, разбились на взводы, началась джигитовка.

Сердце замирало у Егора, когда он, ожидая своей очереди, наблюдал за джигитующими казаками. Вот Степан Швалов, свесившись с коня вниз головой, хватает рукой снег, вот он снова на коне делает ножницы. Стоящий рядом казак поучает Егора:

— Ты коня-то разнуздай, когда придется скакать стоя, поводья-то можно натянуть, придерживаясь за них будешь. Да смелее, ежели конь плавно бежит, так стоять-то на нем очень даже способно, не бойся.

Очередь доходит до Егора. Взводный, рубанув рукой воздух, командует:

— Следующий... марш!

Егор с места берет крупной рысью, переводит коня в галоп

И¹ по команде: «Джигитовку... делай... раз», — выбрасывает ноги из стремян, прыгает с седла в левую сторону и, ударившись носками о землю, снова в седло; «Делай... два» — прыжок на правую сторону и обратно в седло, и так полный круг.

Новая команда: «Отвагу... делай... раз», — бросив поводья на луку, Егор всем корпусом валится направо головой вниз, носком левой ноги держась за стремя, ловит правой рукой снег с земли и при помощи левой руки, ухватившись ею за пахвы², снова вскидывается в седло.

«Ножницы... делай... раз!» — оперевшись руками в переднюю луку, Егор снова выбрасывает ноги из стремян, вскидывает их позади над крупом коня и, скрестив в воздухе, опускается в седло, отчего поворачивается лицом назад — к хвосту лошади. И таким же путем поворачивается обратно. Когда пришлось Егору скакать стоя на седле, у него усиленно заколотилось, заныло сердце. Все приемы джигитовки проделал он хорошо и, когда пошел на прыжки с препятствиями, уже не чувствовал ни страха, ни жгучего мороза.

Оплошал в этот день Ерзиков: во время скачки стоя он оборвался на повороте и с маху ударился о мерзлую землю. Вороной конь его, освободившись от седока, помчался на конюшню, распушив хвост по ветру. Полумертвого Ерзикова вахмистр приказал отвезти в околоток — так назывался тогда полковой лечебный пункт, — и занятия продолжались по-прежнему.

Четвертая сотня выделялась из всего полка тем, что в ней редкий день проходил без того, чтобы кто-нибудь из казаков не провинился перед придиричивым не в меру командиром, не получил взыскания. Вскоре же проштрафился и Егор. Провинился он на конном учении, когда сотня из спешенного положения — справа по одному цепочкой — шла на препятствия. Когда очередь дошла до Егора, он, вместо того чтобы пробежать рядом с конем саженой десять и, разогнав его в галоп, вскочить в седло без стремян, просто сел в седло, поймав ногой стремя. На его беду, Токмаков заметил это и сразу же заорал, затопал ногами:

— Вахмистг! Вегнуть этого мегзавца на гнедом ко мне! Ко мне его!

Через несколько минут Егор стоял навтыжку перед разгневанным командиром, правой рукой под уздцы придерживая

¹ П а х в а — решенная петля-шлейка, надеваемая от седла под хвост лошади, чтобы седло при спуске под гору не съезжало на шею лошади.

гпедого. Так близко перед собой Егор видел командира сотни впервые. Это был черноусый офицер высокого роста, с бараньими, навывкате глазами. Багровый от злости Токмаков, брызгая слюной, орал на Егора, топал ногами:

— Мегзавец! Могду газобью ссукиному сыну! Молчать! Фамилия?

— Ушаков, ваше благородие!

— Вахмистг! Пусть повтоггт все снова, а после занятия на два часа ого под шашку!

После занятия Егор забежал в казарму, не раздеваясь, присел на койку, похлебал из котелка щей, принесенных ему Шваловым, выпил кружку чаю. Завидуя в душе Швалову, который сейчас будет отдыхать, Егор закинул за спину винтовку и поспешил в вахмистерку.

В этот день кроме Егора были наказаны еще четыре казака: сотенный трубач Иван Бекетов, Устюгов, Аргунов и Индчужов. Рослый, чернобровый детина, сын охотника Актагучинской станицы, Григорий Индчужов был отличным стрелком, хорошим наездником и рубакой. Словом, это был один из лучших казаков, и тем не менее не проходило ни одной недели, чтобы он не отбыл какого-либо наказания. Дело в том, что Токмаков считал Индчужова одним из участников покушения на его нгазнь. Токмаков был уверен, что и кирпичом его ударил опять-таки тот же Индчужов. На следствии Григорий не признал себя виновным, доказательств его виновности не было никаких, но молодой, выросший в тайге охотник был прямодушен, не умел скрывать своих чувств. При встречах с Токмаковым он смело, с нескрываемой злобой смотрел в глаза ненавистному командиру, и тот, меняясь в лице от ярости, придирался к чему-нибудь и наказывал Индчужова зачастую без всякой причины. Удивительно было то, что, как ни злился Токмаков на Индчужова, он никогда не пытался избить его. Казаки, хорошо знавшие Индчужова, уверяли, что Токмаков его боится. Многие помнили случай с Сапоншиковым. Однажды дневаливший на конюшне казак Сапозников пришел в казарму с распухшей щекой и рассказал казакам, что его ударил Токмаков. Обступившие Сапозникова казаки жалели его, ругали Токмакова. Индчужов же, наоборот, обругал Сапозникова.

— Так тебе и надо, дураку сиволапому, ишо казаком называешься! Тронь-ко бы Зубатка меня!

— А что бы ты с ним сделал?

— Ничего! Расколол бы его клинком надвое, и вынесли бы Зубатку из кошошни ногами вперед.

При этом Индчужов, гневно сдвинув брови и сжав кулаки, так скрипнул зубами, что ни у кого из казаков не осталось сомнения в искренности слов Григория.

Сегодня, когда вахмистр объявил провинившимся об ожидавшем их наказании, Индчужов запротестовал. Он не спросил даже, за что его наказали, потому что давно уже привык к этому,— возмущало Григория то, что стоять придется на морозе.

— Вы что в самом-то деле, калеками нас исделать хотите?— приступил он к вахмистру.— Мысленное дело в такой мороз два часа выстоять без движения?

Вахмистр, хмуря мохнатые брови, отмахнулся:

•— Я-то тут при чем? Не я вас наказываю.

— Оно-то так, Максим Петрович, но ведь Гришка-то правду говорит,— поддержал Индчужова трубач Бекетов.— За два-то часа мы насквозь промерзнем. Попроси, Петрович, дежурного по полку, сегодня как раз дежурным-то есаул Метелица, офицер он хороший, не даст казаков в обиду.

— Правильно,— поддержали Бекетова остальные казаки.

— А то не выстоим, честное слово,— угрюмо пробасил Индчужов.— Ежели зачнут мерзнуть ноги или руки, я снимусь и ребят уведу за собой. Пусть потом судит военная калека¹.

— Но-но! — прикрикнул на Индчужова вахмистр.— Смотри у меня! Станови-и-ись!

Вахмистр подвел и выстроил наказанных под окном командирской квартиры. Скомандовав: «Шашки вон! Смирно!», вахмистр оставил в этом положении наказанных, ушел доложить о них дежурному офицеру.

Все пятеро наказанных замерли в строю с обнаженными, прижатыми к плечу*шашками.

К этому времени мороз немного сдал, но все же градусник Реомюра, висевший в теневой стороне казармы, показывал 37 градусов ниже нуля².

Стынут у казаков ноги, руки; усы их, брови, папахи и воротники полушубков покрылись куржаком; слипаются заиндевшие ресницы. Индчужов, делая страшные гримасы, усиленно двигал челюстью и всеми мускулами лица и советов товарищам делать так же.

— Оно эдак-то разогревается, лицо-то,— говорил он ти-

¹ То есть военная коллегия.

² По Цельсию « $\approx$ 40,8 градуса.

хонько, но поворачивая головы.— Мы зимой на охоте завсегда так делали.

Его послушались и, гримасничая, задвигали скулами, но это помогало плохо. Первого прихватило морозом Устюгова. Почувствовав, как ему прищипнуло ухо, Устюгов тропул локтем Индчжугова:

— Глянь-ка, Григорий, кажись, ухо ознобил?

Скосив на Устюгова глаза, Индчжугов увидел, что у него побелел не только кончик уха, торчащий из-под папахи, но и вся левая щека.

— Три снегом! — приказал он Устюгову, но тот, не двинувшись с места, сказал со вздохом:

— Как же можно? Ведь увидит Зубатка-то!

— Ну и што? Эх ты, чурбан осиновый! — И, не раздумывая долго, Григорий опустил шашку, перекинул ее в левую руку и, наклонившись, захватил в рукавицу пригоршню снега. Затем он повернулся к Устюгову.— Мне-то уж все равно,— проговорил он, оттирая снегом обмороженное лицо товарища.— Семь бед — один ответ. Ну вот, и щека отошла, покраснела, и я малость посогрелся, а Зубатка, кажись, и не видел.

Хлопнув рукавицами, Индчжугов встал на прежнее место, прижал шашку к плечу.

Глядя на Индчжугова, Егора так и подмывало хотя бы потоптаться на месте, поразмять стынущие ноги, но боязнь навлечь на себя еще больший гнев командира пересилила, и он продолжал стоять недвижно. Морозом обжигало лицо, сильно зябли ноги, словно деревянная, заоченела рука с шашкой, и казалось Егору, что в жилах его стынет кровь. Злились, переговаривались между собой казаки:

— Забыл про нас вахмистр, так и знай, часа уяс три стоим, не меньше!

— Должно быть, забыл!

— Замерзнем, братцы! Как есть на корню замерзнем.

— Вот она, службица казачья, а доля собачья.

— Век бы ее не было, будь она проклята!

Наконец из-за угла казармы показался вахмистр. Казаки, облегченно вздохнув, притихли. Подойдя к казакам, вахмистр окинул их взглядом, точно видел этих людей впервые, провел рукою по усам.

— Отстояли вы ровно час и пятнадцать минут. Остальные минуты его благородие дежурный по полку приказал отстоять вам в казарме при штабе, где писаря работают понятно?

— Так точно!

— Понятно, господин вахмистр!

— Слушать мою команду! Шашки в по-о-жны! Напра-оп! Направление к штабу, и дожидать меня там, бего-о-м марш!

Команду эту наказанные приняли как милость и, разминая застывшие ноги, пустились бежать, соблюдая на ходу равнение.

ГЛАВА II

По одной из улиц Антоновки верхом на своем Сивке ехал Савва Саввич. Ездил он на поля посмотреть, как протаяла земля и не пора ли уже начинать сеять.

Денек выдался безветренный, теплый. Ласково грело весеннее солнышко, ветерком наносило с полей запахом гари от весенних палов. В улице напротив школы ребятишки играли в бабки, на куче бревен старики, греясь на солнце, судачили. На крыше школы и на оконных наличниках сидели голуби и деловито ворковали, охорашиваясь, чистили носиками перышки.

Поравнявшись со стариками, Савва Саввич поднес правую руку к папахе, поздоровался, про себя же подумал:

«Сидят, разговорами займутся, а нет чтобы на пашню съездить, посмотреть, что и как».

В ограде у Саввы Саввича шла обычная для этого времени работа — подготовка к весне. Ермоха сколачивал новую борону, рыжий Никита вытесывал из березового кряжа ось к телеге, третий работник — подросток Илюшка — во дворе замешивал коням сечку. Савва Саввич спешился и с конем в поводу подошел к работникам, заговорил с Ермохой:

— Сеять будем зачинать. Залог, что у Черного камня, в самый раз подошел, можно оборонить. Да и двойной пар на Усь-Сорочьей тоже протаял хорошо, бороновой зуб никак мерзлоты не хватит.

Ермоха воткнул топор носком в чурку, распрямившись, невесть для чего посмотрел на солнце и лишь тогда ответил хозяину:

— Ну-к что ж, зачинать так зачинать, наше дело десятое, хоть сегодня готовы, хоть завтра...

— Завтра не годится: понедельник неподъемный день, тяжелый. А вот послезавтра, тово... начнем помаленьку. Микита, расседлай-ка Сивка да привяжи его на выстойку.

Во вторник все в доме Саввы Саввича — работники, Матрена и сам хозяин — поднялись раньше обычного. Спал один лишь Семен, а Настя, хотя и дохаживала последние перед родами дни, поднялась наряду со всеми. У нее заметно округлился живот, вся она раздалась в ширину и словно налилась ядреным весенним соком, а на лице ее, на щеках, над бровями появились бурые с желтоватым отливом пятна. Еще только начало светать, а Настя уже затопила баню, наносила в нее воды.

Пока работники накормили быков и лошадей сечкой, замешенной в двух больших колодах и старой лодке, наложили в телеги сено, мешки с семенами и бороны, взошло солнце. Из бани с ведрами на коромысле вышла Настя, красная, разопревшая от жары.

— Баня готова! — крикнула она Ермохе. — Идите мойтесь!

— Ладно, — ответил Ермоха. — Веники-то есть там?

— Есть, хватит вам...

— То-то же.

После того как работники попарились в бане, Савва Саввич позвал их в дом. В горнице, куда они прошли следом за хозяином, было как-то особенно уютно, опрятно, пол так чисто протерто, что работники, боясь запачкать его своими ичигами, остановились у порога. Савва Саввич зажег перед образами свечи, началось моление.

— Благословен господь бог наш, — певучим тенором начал Савва Саввич и, земно поклонившись большой иконе Спасителя, продолжал, осеняя себя широким крестом: — Отче наш, иже еси на небесах... — Голос хозяина звучал торжественно, мерно тикали стенные часы, ярко теплились восковые свечи, блестели медные и золоченые киоты, блестела розовая лысина Саввы Саввича, пахло ладаном, распаренным березовым листом и гречневыми блинами, которые пекла на кухне Макаровна.

Еще не остывшие после бани, потные, с красными от пара лицами, работники молились так же истово, как и Савва Саввич. Никита и крестился так же широко, размашисто, как хозяин. Ермоха же метал на грудь такие мелкие крестики словно не молился он, а пришивал к рубашке пуговицы. В мокрой, свалившейся прядями бороде старика запутался зеленый лист от веника.

— Восподи, Исусе милостливый... — шептал он, немного склонив голову, а правая рука его все так же моталась, петляла на середине груди.

Лениво молился Илюшка. Он не шептал никаких молитв, а, перекрестившись раз-другой, косился глазами на кухню, ловил носом вкусный запах блинов.

Солнце приподнялось над сопками, когда работники, напутствуемые благословениями Саввы Саввича, тронулись со двора. Впереди на трех тяжело нагруженных телегах ехали Ермоха с Никитой. Следом за ними Илюшка верхом на гнедой кобылице гнал шесть пар быков.

Управившись со стряпней, Матрена тоже пошла помыться в бане, а следом за ней и Настя. Войдя в предбанник, она села на низенькую скамеечку, начала раздеваться и в это время почувствовала незнакомую ей тупую боль в животе. Настя поморщилась, крепко потерла заболевшее место. С чего бы это? Не дровами ли надсадилась?

Однако боль вскоре же прошла, Настя успокоилась и, раздевшись, поспешила в баню. Едва она открыла дверь, как на нее жарко дохнуло горячим паром. Еще различимая в пару, Матрена лежала на полке спиной к Насе и яростно нахлестывала себя веником.

— Федоровна, — тяжело дыша от чрезмерной жары, прохрипела Матрена, — будь добра, подкинь еще... ковшик... из зеленой... кадушки.

— А если из колоды? — переспросила Настя. — Не все ли равно вода-то?

— Да я в кадушку-то, — Матрена говорила прерывисто, с придыханием, — травы богородской... заварила... пар от нее... полезительный... от лихоманки.

— Во-от оно что!

Настя зачерпнула из кадки полный ковш, выплеснула его на каменку. Раскаленные камни громко зашипели, защелкали, крутой пахучий пар клубом ударил в потолок, жарким туманом разлился по всей бане. От жары у Наси захватило дух, закружилась голова, она опустилась на край большой, выдолбленной из ливенницы колоды и в это время снова почувствовала в животе и пояснице ноющую боль.

— Ох! — подперев руками бока, Настя откинулась головой назад, спиной оперлась о стену. — Тетка Матрена!..

— Что такое? — Матрена по голосу поняла: случилось что-то неладное, отбросила веник в сторону, спустилась с полка. — Да ты, девка, уж не родить ли собралась?

— Не знаю,— со стоном выдохнула Настя. По искаженному страданием лицу ее катился крупный пот, в глазах застыл испуг.— Рано, однако... еще... ох...

— Одевайся живее! — Матрена быстро накинула на Настю ее сорочку, юбку.— Теперь уж не до мытья. Я тебя в зимовье к нам заведу, а сама за бабушкой. Ты пока полежишь там на нарах, отдохнешь, а я живо сбегаю.

Савва Саввич сидел на веранде за столом, что-то записывал в толстую клеенчатую тетрадь. Он видел, как бабы из бани прошли в зимовье, как Матрена, на ходу повязывая платок, торопливо выбежала в улицу, и сразу же понял, в чем дело.

— Приспичило халяву,— злобно прошипел он сквозь зубы.— Чтоб тебе не разродиться, паскудница окаянная!

Семен поднялся с постели, как всегда, позднее всех в доме. Когда он, умывшись на кухне, вышел на веранду, Савва Саввич подсчитывал что-то на счетах, медленно передвигая костяшки, и записывал в тетрадь. Он ни словом не обмолвился о Насте, заговорил о другом:

— В Манжурку¹ собираюсь ехать завтра.

Семен протянул было руку за чайником, но при этих словах Саввы Саввича опустил ее на стол и удивленно посмотрел на отца.

— В Маньчжурию? Почему теперь-то?

— Был вчера у меня Ванька Ли-чан. Ну так вот с ним Ван Цай, купец манжурский, заказывает, чтобы я ехал к нему незамедлительно насчет подрядов кое-каких договориться. Вот я надумал, кстати, тово... увезу туда шерсти бараньей, ее накопилось пудов десять. Масла бочонка два, оно весной-то завсегда в хорошей цене ходит. Кож сырых, овчин... воза два всего-то наберется. Вот все и увезу да и тово... переведу на деньги. Ну и оттуда привезу кое-чего для домашности, оптом-то все это дешевле обойдется...

Семен налил себе чаю, помолчав, одобрительно кивнул головой:

— Конечно, съездить — дело хорошее. Когда вернешься?

— Думаю, что за неделю обернусь. Я с собой Спирьку Лоскутова возьму, парень он проворный, не гулеван. А ты тут посматривай, как работа идет на полях, ну и все такое... прочее...

— Значит, на пашню мне ездить?

— А хоть бы и съездил раз-другой, так тоже не беда. Оно,

¹ Город и железнодорожная станция Маньчжурия.

положим, Ермошка работник, тово... надежный, а и за ним догляд надо. А то, не дай бог, загулеванит — ну и пиши пропа-ло. А я постараюсь к Егорьеву дню вернуться.

Старик умолк, задумавшись, барабанил пальцами по столу.

«Новая забота,— думал он, глядя мимо Семена.— Крестить придется ублюдка-то, куда денешься?»

После завтрака Семен ушел в управу, где он по-прежнему работал писарем. Оставшись один, Савва Саввич вновь принялся за свои подсчеты.

Время подходило к полудню, старик уже собирался пойти соснуть часок-другой, но, увидев спешившую к нему Марфу, задержался. В цветастом ситцевом сарафане и белом колен-коровом платке, Марфа так и сияла радостью, полное лицо ее порозовело, а губы ежились в лукавой улыбке. По веселому виду Марфы Савва Саввич догадался, что роды прошли благополучно. Он недовольно поморщился, потер рукой лысину.

— Со внуком тебя, Савва Саввич! — сладеньким голоском пропела Марфа, едва появившись на веранде.— Казака бог дал, на радость тебе. Уж такой-то, Христос с ним!..

И не закончила, потому что Савва Саввич, сердито крякнув, так ворохнул на нее глазами, что Марфа сразу прикусила язычок, веселость с нее как рукой сняло.

— Я на минутку,— смущенно забормотала она, оробев под суровым взглядом хозяина,— думаю, сбежать надо Савве-то Саввичу сказать. Ужо побегу к родихе.— И затопала по ступенькам крыльца обратно.

* * *

Крестить новорожденного решили в весенний праздник, день Георгия Победоносца. Макаровна, помня строгий наказ Саввы Саввича, готовилась к крестинам «внука», как к свадьбе. Стряпать Макаровне помогали и Марфа, и Матрена, и даже Настя, только что оправившаяся после родов.

Три дня в доме Пантелеевых стоял дым коромыслом, из открытых окон кухни в ограду и даже в улицу доносился вкусный запах жареного мяса, печенья, медовых ватрушек и оладий, сваренных в масле.

Вечером, накануне Егорьева дня, с пашни приехали работники, чтобы помыться в бане, отдохнуть на празднике. К этому же времени вернулся из поездки в Маньчжурию и Савва Саввич. На двух тягелом нагруженных телегах, укрытых

ходстиновыми полостями, привез он из Маньчжурии всякого добра.

Разгружать телеги, заносить товары в амбар Спиридону помогал Ермоха. Савва Саввич, в новых сапогах и диагональных шароварах с лампасами, веселый по случаю удачной поездки, ходил по амбару, поскрипывая сапогами, показывал работникам, что и куда складывать. От Макаровны он уже слышал, что работа без него шла хорошо, что работники посеяли уже около пяти десятин пшеницы. И теперь, глядя на Ермоху, проходившего мимо с кулем соли на плече, старик подумал:

«Молодец все-таки Ермоха, надо будет подарок ему соорудить, обрадую старого черта парой сапогов, он догда еще лучше стараться будет».

Он хотел было сделать это теперь же, но, по старой привычке все хорошо обдумывать, решил дело с подарком отложить до завтра. Ермохе же сказал, когда тот занес в амбар тюк с мануфактурой:

— Вот сюда, Ермошенька, положи, на ящики. Тут и тебе есть от меня гостинчик за хорошую работу. Завтра, как приду с обедни, заходи ко мне за подарком.

То ли не расслышал Ермоха, то ли не поверил хозяину, он ему ничего не ответил, молча положил тюк на место, пошел за другим.

«Ишь ты, гордый какой! — подумал Савва Саввич, глядя вслед своему работнику. — Даже и не обрадовался. Стоит ли давать ему сапоги-то? Дам ему кожи на ичиги, и то спасибо сказать должен: оно ведь даровому коню в зуб не смотрят».

В церковь, крестить сына, Настя поехала к концу обедни. Вместе с нею ехали старший сын Саввы Саввича, Трофим, сам напросившийся в кумовья, и подруга Насти, Аня, с радостью согласившаяся стать кумой.

Трофим, хотя и был с самого утра изрядно подвыпивши, вид имел молодецкий: смуглое лицо его от выпивки стало бурокирпичного цвета, черная борода аккуратно расчесана на две половины, шильями закручены кверху усы, а касторовая с кокардой фуражка лихо заломлена набекрень.

Ермоха подвел к крыльцу пару гнедых, запряженных в рессорный фаэтон. Трофим помог Насте сесть на обшитое кожей сиденье, рядом с нею усадил Аню, сам взмохнулся на козлы.

— Ну, держись, кума! — ощерив в улыбке белозубый рот, Трофим разобрал вожжи, вытянул из-под сиденья кнут. — Уж прокачу! Отпускай, Ермоха.

Кони дернули и, сдерживаемые сильной рукой Трофима, до ворот шли танцующей рысцой.

— Держи-и, кум, не разнесли бы! — упрашивала Настя.

Не слушая ее, Трофим, как только выехали из ограды, ослабил вожжи, кони прибавили рыси, плавно закачался фаэтон.

Трофим балагурил, помахивая кнутом:

Э-э-эх вы, милые, живее,
Чтоб кума была добрее!
Чтобы куму чарку водки
Поднесла да хвост селедки.

Трофим мало того, что был изрядно выпивши, он и с собой прихватил бутылку водки. Перед тем как войти в церковь, он приложился к бутылке, а после того как ребенка окрестили, допил остатки, а поэтому обратно он ехал пьян как сапожник.

А в это время в доме Пантелеевых произошла неприятность. Возвращаясь из церкви, Савва Саввич вспомнил о подарке, который пообещал Ермохе, и гут ему стало жалко, что ни с того ни с сего посулил работнику гостинец.

«Теперь уж ничего не сделаешь, — со вздохом подумал Савва Саввич, — отсулена скотина — не животина. Оно, положим, — продолжал он рассуждать сам с собою, — кожи на ичиги многовато будет. Уж лучше ублаговоторю я ему сарпинки па рубаху. Чего еще надо: ни шла, ни ехала — новая рубаха».

Так он и сделал. Придя домой, зазвал к себе Ермоху. Старый работник был в той же одежде, что и на работе: в ситцевой, полинявшей от стирки рубахе, старых холстиновых штанах и заплатанных ичигах. Войдя в горницу, старик снял фуражку, перекрестился на иконы.

— Здравствуй, с праздником!

— Спасибо, Ермолай Степанович, тебя также.

Савва Саввич встал со стула, протянул Ермохе сверток:

— А это вот отблагодарить тебя хочу за хорошую работу, подарю на рубаху, носи на здоровье.

— На рубаху, значит... Гм... — Ермоха взял из рук хозяина сверток. Развернул его, улыбаясь в бороду, покачал головой. — Почем же ты платил за аршин этакой благодати, копеек небось по десять?

И, аккуратно сложив сарпинку, Ермоха положил ее на стол.

— Нет уж, господин хозяин, оставь это добро себе, пригодится. Спасибо, что расщедрился так, только я, мил человек, нищим больше подаю, при «сей своей бедности. Прощевай покедова! — И вышел.

«Каков стервец! — удивленно подумал Савва Саввич, глядя вслед уходящему из горницы работнику.— Не понравилось, осердился, видать. Эх, черт, зря я, надо бы уж отдать ему сапоги, сунуть псу под хвост».

Облокотившись на стол и подперев рукою голову, Савва Саввич задумался.

Вспомнилось ему, как всю свою жизнь старался он приумножить богатство. Поначалу и сам много работал, все жилы повицанул, свету белого не видел, тянулся, хватал, обманывал... И вот подошла старость. Богатство нажил, а радости мало, нелады в семье, постоянные заботы, тревоги. «И для чего стараюсь? — досадовал на себя старик.— Много ли мне надо теперь со старухой?..»

Размышления его прервала появившаяся в дверях Макаровна.

— У нас все готово, Саввич, дело за гостями.— И, помолчав, осведомилась: — А это Ермоха-то куда направился давеча с хомутом?

— С каким хомутом?

— Я-то почем знаю! Выездной хомут наборчатый понес куда-то, дугу с колокольцами, еще чего-то, кажись, вожжи ременные.

— Давно унес?

— Да уж, пожалуй, с полчаса прошло...

Савва Саввич вскочил со стула как ужаленный, лицо его побагровело, гневно сузились глаза.

— Чего же ты мне сразу-то не сказала, требуха свиньячья? Ведь это он пропивать понес, мошенник! Запьет теперь в самый разгар работы. Ах ты подлечина, с-сукин сын!

Савва Саввич метнулся в коридор, намереваясь бежать разыскивать Ермоху, кинул на голову фуражку и уже выбежал на веранду, но в это время в ограду на рысях закатил Трофим. Он ухарски осадил гнедых у крыльца, соскочив с козел, весело, с пьяной развязностью заговорил с отцом:

— А пу, батя, принимай гостей! Все в порядке, племянника окрестили, Геордием нарекли.

— Что-о-о?! — меняясь в лице, воскликнул Савва Саввич и в этот момент встретился глазами с насмешливым взглядом

Настя. Он так и затрясся от злобы и, чтоб не разразиться бранью, скрипнул зубами. Только когда Настя, все так же лукаво улыбаясь, прошла в дом, напустился па Трофима: — Ты что это натворил, собачий сын, а? — Стиснув зубы и па ходу подсучивая рукав сатиновой рубахи, Савва Саввич грудью двинулся на Трофима.— Ты што, не понимаешь русского языка? Я кому говорил, что не надо мне Егорку, кому, подлюга?!

Сразу отрезвевший Трофим попятился от разъяренного старика и, обороняясь, выставил вперед локоть левой руки.

— Пстой, пстой, батя, ты разберись сначала: не Егором нарекли, а Геордием, хоть кого спроси.

— А это не все равно, пьяная твоя харя? — Брызгая слюной, Савва Саввич сучил кулаками, пытался ухватить Трофима за бороду.— Я т-тебе покажу, я тебе дам! Вот как залеплю тебе раз в ухо да раз по уху, узнаешь, есть ли разница.

— Не знал я, батя, ей-богу, не знал.

— Бож-же ты мой милостивый! — Ослабев от ярости и нервного напряжения, старик опустил на ступеньку крыльца. Облокотившись на колени, стиснул ладонями голову.— Зарезал меня, злодей, без ножа зарезал!

— И чего тебе, батя, не понравилось? — приосмелев, заговорил Трофим.— Имя как имя, чего в нем плохого? А Г*ордий храбрый чем тебе не святой? На пего и смотреть-то приятственно: на копе, при пике, вроде бы казачьего звания...

— Замолчи, стервуга, пока я тебя...— вновь вспылil старик, вскакивая на ноги, и осекся на полуслове: у ворот звякнула щеколда калитки, в ограду входили гости: поселковый атаман, станичный писарь с женой и человек пять местных казаков-богачей. Буркнув Трофиму: «Выпрягай, стервуга!», Савва Саввич как ни в чем не бывало, изобразив на лице приветливую улыбку, поспешил к гостям.

После крестин Савва Саввич совсем лишился покоя. Одолевали его тревоги, неурядицы в семье. Семен теперь целыми днями но бывал дома, Настя, уединившись в своей светелке, нянчилась с сыном: баюкая его, ласково называла Егорушкой, Гошей, а старик, слыша это ставшее ненавистным ему имя, темнел лицом, уходил в ограду.

На четвертый день после крестин сидел он на кухне, вздыхая, жаловался Макаровне:

— Поломалась жизнь. В одном дому две семьи образовалось, и все через этого варнака Егорку, чтоб ему там шею свернули. А тут еще Ермошку угораздило запить.

И, напивлив фуражку, пошел в зимовье к Ермохе.

Босой, всклокоченный Ермоха сидел один в зимовье. На столе перед ним стояла непочатая бутылка водки, тарелка с капустой и пшеничный калач.

— А-а-а, хозяин! — При виде Саввы Саввича Ермоха осклабился, широко развел руками. — Милости прошу к нашему шалашу! Садись, дорогой, садись к горячему котлу, тагану кушать.

— Эх, Ермолай, Ермолай! — Тяжело вздохнув, Савва Саввич сел на скамью и, глядя на Ермоху, осуждающе покачал головой. — И себя ты позоришь и меня, значить, тово... в убытки вводишь. Ну сам подумай, разве время сейчас пьянствовать?

— С радости я загулял, Савва Саввич, ей-богу с радости. Выпьем? — Ермоха наполнил водкой граненый стакан, придвинул его хозяину, другой такой же налил себе. — Обрадовал ты меня подарком, вот я и загулял. Думаю, уж ежели хозяин сарпинки не пожалел мне на рубаху, так дугу с хомутом ему и вовсе не жалко!

— Вот что, Ермолай, не валяй дурака, а выкинь эту дурь из головы да берись за дело. Хомут я выкуплю, черт с ним. За рубаху не сердись, я тебе вместо ее сапоги подарю, только брось пить да поезжай на пашню.

Вместо ответа Ермоха чокнулся стаканом о стакан, который налил хозяину, выпив, закусил капустой и, мотая кудлатой головой, запел:

**Што не ласточка трону тропила,
Не касатая повытоптала...**

Эко, паря! — вдруг спохватился Ермоха. — Я и позабыл со внуком тебя поздравить! Ну вот, скажи, как водой залило. А уж ради такого дела украдь, да выпей!

Ермоха вновь налил свой стакан.

— Давай, Савва Саввич, за внука, дай бог ему здоровья да счастья.

Савва Саввич, чтобы по-доброму закончить беседу, потянулся за стаканом, решившись пригубить. Но не успел он донести стакан до рта, как Ермоха, все больше хмелея, лукаво сощурившись, продолжил:

— Внук у тебя геройский будет казак, потому как хороших ушаковских кровей. Отец-то у него, Егорка, не казак, а прямо-таки орел! Радуйся, Савва Саввич!

Расплескав водку, Савва Саввич толкнул стакан на стол,

остервенело плюнул, пинком распахнул дверь. А вслед ему неся раскатистый Ермохин хохот:

— Ха-ха-ха!.. Што, казак, видно, не по носу табак?! Ха-ха-ха!..

ГЛАВА III

Первое письмо от Насти Егор получил в конце апреля. Случилось это в обеденное время, он только принес с кухни котелок супу и, присев на койку, вытянул из-за голенища ложку, когда услышал голос дневального.

— Ушако-ов! А ну ко мне, на носках!

Егор поставил котелок на тумбочку, обернулся на гоюс!

— Чего тебе?

— Я тебе, серопузому, почевокаю! Как надо отвечать старому казаку?

Егор вскочил, вытянулся, руки по лампасам:

— Слушаю, господин старый казак!

— То-то же! Письмо тебе. Пляши, а то не получишь!

— Письмо! — удивленно и радостно воскликнул Егор и тут же пустился в пляс. А через минуту он сидел на койке Швалова, с нетерпением глядя на Степана: что-то пишет Настя?

Степан не торопясь разорвал конверт, вынул из него исписанные карандашом два листка, вырванные из тетради.

— Читай, Степан, скорее, прямо-таки беда с тобой, тянешь как черт резинку.

— Ладно, слушай. «Здравствуй, дорогой мой и милый Егор Матвейч! Во первых строках моего письма шлю я мое почтение и от души ласковый привет и желаю тебе здоровья и успеха по службе. А ишо' кланяетца тебе дядя Ермоха, и тетка Матрена, и дядя Архип, и вопче вся его семья шлет по нискому поклону. А ишо пропишу я тебе, Гоша, и проздравляю тебя с сыном, родился он пятнадцатого этого месяца, а крестили его в Егорьев день, имя нарекли ему тоже Егор».

Весь превратившийся в слух Егор глаз не сводил с письма, а с лица его не сходила радостная улыбка.

— Сын родился, казачонок, — восторженно, одними губами шептал он, чувствуя, как от радости замирает сердце в груди. — Егором назвали... Читай, Степа, читай!..

Швалов продолжал:

— «И весь-то он как вылитый в тебя, и волосья, и носик, и глазки такие же голубые, ясные, смотрю я на него и не могу насмотрца. А ишо пропишу я тебе, Гоша, что плачу об тебе

и тоскую день и ночь и сохну я, как трава после успенья. И часто хожу я к Соломиным и сижу я там долго, все тебя сноминую, и сердце мое разрывается на части. И жду я не дождусь, когда же прилетишь ты ко мне, сокол мой ясный, и когда закончится твоя служба.

От сего письма остаюсь я жива и здорова, чего и тебе желаю, и целую тебя много, много раз. Твоя Настасья.

Писано 26-го апреля 1911 года.

А письма мне пиши на дяди Архипа адрес, а уж он мне передаст».

Безмерно радуясь письму и рождению сына, Егор ни разу не задумался о том, что Настя замужняя женщина. Пообещав ей по возвращении со службы забрать ее к себе, он искренне верил в это и считал, что так оно и будет.

Взволнованный, вернулся Егор на свою койку. Долго сидел он, обеими руками держа письмо, и, глядя на непонятные закорючки, досадовал на свою неграмотность. Уже давно остыл суп, на соседних койках похрапывали заснувшие казаки, а Егор все сидел с письмом в руках, думал о Насте, о сыне, которого так хотел бы увидеть.

— Сын, значит, родился, Егорка,— тихонько рассуждал он сам с собою,— вот оно што! Тоскует моя Настюша, плачет, бедняжка. К каким же это она Соломиным ходит? Э-э, черт, да ведь это она про солому намеки дает, где встречались-то мы с нею. Ну и ну-у! Эх, Настя, Настя, были бы у меня крылья, так бы и улетел к тебе. Да-а, надо будет бумаги разжиться да написать ей письмо, попрошу Степана, он настроит, уважит по дружбе.

Вспомнив наконец о супе, Егор пообедал на скорую руку, побежал на конюшню. Там дневальным был сегодня Аргунов, парень тоже грамотный. Егор попросил и его прочесть письмо, не подавая виду, что письмо уже прочитано. В этот день письмо Егору прочитали еще два казака, а после вечерней проверки он снова подсел к Швалову:

— Почитай, Степан, еще разок.

— Я же читал тебе.

— Ну и какая же беда, что читал? Я вить всего-то не запомнил, што тебе, тягость, што ли? Охота же послушать-то! Читай, не ленись.

На следующий день Егор был в наряде, рассыльным при штабе полка. На этот наряд он был не в обиде, все легче, чем на конном занятии, и хотя писаря часто гоняли его с разносной бумаг по сотням, бегал охотно, не чувствуя усталости.

Освоившись, присмотревшись к писарям, Егор осмелел пастолько, что у одного из них попросил бумаги на письмо. К радости Егора, писарь — рядовой казак, годом старте Егора — дал ему три листа бумаги, конверт и уважил вторую просьбу Егора, прочитал ему Настино письмо. Это письмо Егор уже запомнил все наизусть, однако слушал так же внимательно, как и первый раз, восхищаясь про себя, как хорошо читает писарь.

«Как водой бредет,— думал он, с уважением глядя на добряка писаря.— Здорово, видать, поученный, башка-а-а! То-то он такой обходительный, не наш брат, Савка».

За всю свою небольшую жизнь Егор нигде дальше своей станицы не бывал. Да и здесь уже четыре месяца отслужил он в Сретенске, а повидать пока что пришлось лишь казармы да учебный плац. Поэтому он от души обрадовался, когда пришлось ехать с пакетом в город, на центральную почту.

Миновав гарнизонные казармы, конюшни и привстав на стременах, Егор зарысил по улицам городка. Окраинные улицы Сретенска ничем не отличались от станичных — такие же одноэтажные деревянные дома, избы, заборы, плетни, огороды и колодезные журавли. Только туда, ближе к центру, виднелись двух- и трехэтажные дома, кое-где, высоко вздымаясь, чернели какие-то трубы.

День выдался ясный, по-весеннему теплый. Уже давно стоял снег, улицы подсохли, в огородах, на лужайках и на обочинах дощатых, прогнивших от давности тротуаров оцетинилась яркая зелень молодой травки.

Подставляя лицо теплему ветерку, Егор с удовольствием вдыхал и пресный запах оттаявшей земли, и смолистый соснового бора, и горьковатый душок степных палов, от которых окрестности затянуты сизой пеленой дыма.

Обратно Егор поехал берегом реки, сделав для этого порядочный крюк. Выхав на набережную и залюбовавшись рекой, остановил коня.

Под ним, освободившаяся ото льда, бесшумно катила свои воды широкая, стремительная красавица Шилка. На ее гладкой зеркальной поверхности отчетливо отражались прибрежные скалы, заросшие сосняком сопки, железнодорожный вокзал, расположенный на левом берегу реки, длинная вереница вагонов, попыхивающий дымом маневровый паровоз.

На этой стороне реки, у пристани, густо дымит двумя большими трубами буксирный пароход. Рядом к нему приткнулась баржа, с берега на нее по сходням цепочкой поднимаются

грузчики с белыми кулями и ящиками на спинах. Ниже баржи десятка два грузчиков тянут что-то из воды за канат, тянут дружными рывками, с припевом:

— Р-ра-аз, два-а, взяли! Еще-е-е р-раз!

— Р-ра-а-аз, два-а-а, дружив!

— По-ода-а-ать нужно!

— Еще-е р-раз! Пода-а-а-лась!

«Вот она какая, матушка Шилка!» — подумал Егор и, глядя вверх по течению реки, в затянутую дымной пеленой даль, глубоко вздохнул. Там, далеко отсюда, находятся его Настя, сын, родная станица, мать, Иыгода.

От пристани Егор ехал шагом, то и дело отдавая честь встречным офицерам и любуясь городом. Все здесь было Егору в диковинку: люди, дома, магазины, даже булыжная мостовая, возчики на громадных толстоногих лошадях и легкие извозчики на легоньких пролетках с резиновыми шинами. Немало удивляло его, что в городе рядом с красивыми домами, среди которых немало и двухэтажных, ютятся и старые, покосившиеся набок избышки.

«Тоже и в городе, видать, всяко люди-то живут!» — думал он, глядя на ветхий домишко, по самые окна вросший в землю.

Особенно заинтересовал Егора большой трехэтажный дом с толстыми белыми колоннами в улицу и громадной вывеской с золотыми буквами. Он даже остановил коня и обратился к седенькому старичку в очках, который по виду показался Егору приветливей других.

— Дозвольте спросить, дяденька, не знаю, как вас величать?

— Ну-ну, слушаю! — Старичок остановился и, опершись на палочку, с любопытством посмотрел на чубатого голубоглазого казачину с добродушным взглядом простого деревенского парня.

— Мне вот шибко любопытственно, што на этой доске написано?

— Это, казачок, вывеска, а написано на ней «Л. И. Мошкович».

— Леи Мошкович! Имя-то какое-то забавное. Неужели весь этот дом ему одному принадлежит?

— А ты думал как? Конечно, одному. Это же купец, богатый, видишь, магазин-то какой громадный. А зовут его Лев Израилевич.

— Во-от оно што! Окна-то какие большущие! А столбы-то, батюшки вы мои, где же это такие росли? Пила-то, какой валили их с пня, не меньше сажени, поди, была в длину-то?

А везли их небось на быках, пар по пять под каждое бревно, не меньше! Дико-о-вина!

Любопытство так и распирало Егора, он уж хотел спросить старика, какая у этого купца семья. Стало быть, чересчур большая, раз ему потребовался такой громадный дом? Но в это время заметил идущего офицера и, поблагодарив старичка, тронул с места.

«Повезло мне, второй день подряд,— сам с собою рассуждал довольный Егор.— Вчера письмо получил, а сегодня в городе побывал, повидал вон каких чудес. Да-а, хоть оно и тяжело на службе нашему брату, казаку, зато уж»побываешь везде, насмотришься всякой диковины. Вот хотя бы и я сегодня — столько перевидал, что мне этого во всю жизнь и во сне не снилось! И Шилку посмотрел, и пароход, и дом купеческий с золотыми буквами, и всякое другое удовольствие, есть о чем порассказать теперь. А народу-то какое множество! Все куда-то спешат, торопятся, даже и не здороваются друг с другом. Вот бы Настю сюда! Эх, будь бы я грамотный, все бы ей описал подробно...»

Егор так размечтался, что не заметил, как на перекрестке улиц из-за угла навстречу ему вышел офицер. Очнулся он от грозного крика:

— Каза-ак!

Вздвогнув от неожиданности, Егор натянул поводья, правая рука его машинально взметнулась к козырьку фуражки. Перед ним стоял молодой, безусый прапорщик под руку с барышней в соломенной шляпке.

— Слепой! Службы не знаешь! — юношески-ломким баском прикрикнул прапорщик на Егора с явным намерением щегольнуть перед барышней своим офицерством.— Какой части?

— Первого Аргунского полка, четвертой сотни, ваше благородие.

— Передай командиру сотни, что офицер Тридцать первого стрелкового Сибирского полка сделал тебе замечание и просил наказать тебя за это, понял?

— Так точно, понял, ваше благородие!

— Езжай.

«СЯлошал я, холера его заberi! — досадовал Егор, отъезжая от прапорщика.— Придавить бы Гнедка с места в галоп, и только он меня и видел, этот шиындик желторотый. А теперь вот за него, как за доброго, влепит Зубатка наряд вне очереди, а либо под шашку выставит».

Вечером, освободившись от паряда, Егор решил о случае с прапорщиком доложить сначала взводному уряднику. Так он и поступил, встретив взводного около конюшни. Выслушав Егора, Чугуевский недовольно поморщился.

— Казачий офицер-то?

— Никак нет, пехотный прапорщик.

— Фамилию твою записал?

— Никак нет, даже и не спросил.

— Ну и помалкивай тогда, черт с ним! Тут от своих-то житья не стало, да еще и со стороны вяжутся...— Чугуевский смачно выругался, махнул рукой.— Ступай к себе.

— Покорно благодарю, господин старший урядник! — гаркнул обрадованный Егор и, козырнув Чугуевскому, повернулся налево кругом и зашагал в казарму.

* * *

В мае полк отбыл в летние лагеря, в станицу Ново-Георгиевскую. Из Сретенска выступили походным порядком, и на второй день к вечеру в трех верстах от станицы раскинулся полотняный городок.

К лагерю с трех сторон примыкали обширные площади и плацы с изгородями, рвами и прочими препятствиями для конных учений и подстановками на крестовинах для рубки лозы. Ближе к речке, протекающей возле лагеря, расположились летние конюшни, вахмистерки, гауптвахта, околоток, кухня и офицерский клуб.

В казачьих палатках поместилось по четыре человека. Егор поселился в палатку, где находились Индчжугов, Швалов и взводный урядник Чугуевский; в летних лагерях он всегда жил вместе с казаками.

В лагерях казаки вздохнули свободнее. Здесь всегда на свежем воздухе, а по праздникам к лагерям приходила из станицы молодежь, и на лужайке у речки вместе с ней до позднего вечера веселились и казаки.

Мало радовались лагерям лишь в четвертой сотне. Дни наступили на редкость жаркие. А Токмаков словно озверел — замучил казаков усиленной муштрой. Сегодня он хмурый, злой с самого утра, и уже несколько казаков получили от него «под шашку». Но этого мало Токмакову, и он, как всегда, из-за трех-четырех провинившихся казаков гоняет всю сотню.

Во всех других сотнях кончились занятия, расседланные кони их густо облепили коновязи. Возле полевых сотенских

кухонь выстроились очереди казаков с котелками в руках, а спешенная четвертая сотня продолжает маршировать кругом по плацу.

Егор шагает в строю рядом со Шваловым; справа от него, прихрамывая — сапогом натерло левую ногу,— топает Аргунов.

— Ать, два, три! — подсчитывает шагающий сбоку сотни вахмистр.

Командир сотни и младшие офицеры стоят на плацу посредине круга. Токмаков, полузакрыв глаза и слегка взмахивая правой рукой, носком левой ноги отбивает такт, то и дело кричит на вахмистра:

— Вахмистр! Не слышу такта-а!

Вспотевший, охрипший от крика вахмистр повышает голос:

— Тверже ногу! Ать, два, три, с левой! Ать, два! Ать, два!

Но ни команда, ни ругань вахмистра, ни злобные выкрики командира не помогают — усталые, разомлевшие от жары казаки все так же вяло топают ногами. Того дружного, чеканного грохота ног, который так хочется услышать Токмакову, не получается. Он еще больше свирепеет, матюгаясь, приказывает вахмистру — уже в который раз сегодня — прогнать сотню три круга бегом.

К концу третьего круга казаки стали сбиваться с ноги; один из третьего взвода упал, из носа его на горячий песок хлестнула кровь. Перешли на шаг. Егор расстегнул воротник гимнастерки, знает, что нельзя этого делать, а все же расстегнул. Из-под фуражки по лицу его градом струится пот, он поминутно вытирает его рукавом гимнастерки и чувствует, что выбивается из сил: ноги словно налились свинцом, горят подошвы, во рту пересохло, томит жажда, а солнце палит и палит все сильнее.

— Тверже ногу, мать вашу... ать, два! С левой, ать, два!

Швалов сбился с ноги, но в это время раздалась команда: «Сотня-я-я, стой! Разобрать коней!» Вконец измученные казаки побрели к лошадям.

На другой день Егору подошла очередь пасти сотенских лошадей. Их всегда гоняли на пастьбу после конного занятия, К вечеру пригоняли обратно, ночью они находились в конюшнях.

• Когда лошадей погнали с пастбища, Егор заметил, что командирский конь — вороной, белоноздрый Казбек — прихрамывает на левую переднюю.

«Что с ним такое? — подумал Егор.— Оступился, что ли? Не увидел бы Зубатка, выставит за него под шашку в самую жару».

А Токмаков, как на грех, шел в это время из села в лагерь — в офицерское собрание. Он издали узнал своего Казбека, вороной шел позади всех и словно кланялся, мотал головой, припадая на больную ногу. Багровея от злости, есаул, не заходя в собрание, пошел на конюшню.

Солнце только что закатилось, но в конюшне уже стемнело, как в сумерки. Свет сюда и днем еле проникал сквозь запыленные стекла узеньких оконцев, проделанных высоко над стойлами. Дневальный Молоков и еще несколько казаков разводили коней по стойлам, задавали им на ночь корм. Егор расседлал Гнедка, пошел за сеном. В загородке, где хранился фураж, было еще темнее. Егор по голосу узнал фуражира и только хотел набрать в попону сена, как совсем рядом в коридоре заорал Токмаков:

— Дневальный! Оглох, сволочь? Кто коней пас сегодня?

— Я, вашбродь! — Егор словно вынырнул из темноты в коридор и в ту же минуту отлетел обратно, сбитый с ног кулаком есаула.

— А-а-а!.. — дико вскрикнул Егор, вскакивая на ноги. Выплюнув вместе с кровью выбитый зуб, он одним прыжком очутился в коридоре, выхватил из ножен шашку. Не уйти бы Токмакову живым из конюшни, если бы не подоспел тут вахмистр. Он загородил собой командира, схватил Ушакова за руку, сзади на Егора навалился Молоков.

С великим трудом вахмистру, при помощи Молокова и фуражира, удалось повалить, скрутить Егора, из руки его, оборвав темляк, вырвали шашку. Затем его занесли в фуражирку, там развязали руки, посадили на тюк сена.

Вскоре вахмистр ушел, а Егор еще долго сидел на сене, сплевывая кровь, ругался, грозил есаулу:

— Убью его, гада, все равно убью! Я его за этот зуб с душой разлучу.

— Брось ты, Егор! — уговаривал его Молоков. — Не ори хоть эдак-то, наговоришь на свою голову. Ты и так нагнал Зубатке холоду, видел, как сиганул он из конюшни-то? Поди, и до сё с душой собраться не может.

— Все равно убью!

— Хватит тебе, на вот выпей водички из фляги, скорее очунеешь.

Над лагерем опускались, густели сумерки. Казаки разошлись по палаткам. Шум в лагере постепенно затихал, только из раскрытых окон офицерского собрания доносился неясный приглушенный расстоянием людской говор, смех, звон гитары.

Тихо и в палатке Чугуевского, хотя в ней кроме хозяев находились казаки из других палаток. Это были из второго взвода Волгин, Варламов, из первого урядник Федот Погодаев, сотенский трубач Бекетов. Сидя полукругом на койках, казаки говорили тихонько, полупшепотом, курили. Махорочный дым, скапливаясь под верхом палатки, струей тянулся к выходу. Боевой, энергичный урядник Погодаев первый предложил убить Токмакова.

— Докуда же мы терпеть-то будем, в самом-то деле? — горячился он, заканчивая речь. — Попил из нас крови Зубатка, хватит.

— Конечно.

— Оторвать башку, другим не повадно будет.

— Это-то верно.

— Согласны, значить?

— А чего же?

— Согласны.

— Надо кого-то за старшего назначить, чтобы очередь вел, и все такое.

— Чугуевского.

— Правильно. — С этим все согласились.

В палатке, придерживая рукой распухшую щеку, пришел Егор, сел рядом с Индчужовым. На вопрос Чугуевского коротко бросил:

— Убью подлюгу, завтра же!

— Не выдумывай много-то, дурак неотесанный! — напустился на Егора Чугуевский. — Ишь, герой какой выискался!

— Так что же, по-твоему, простить Зубатке? Он будет зубы выбивать, а мы ему в ножки кланяться должны?

— Ты потише! Никто не говорит кланяться ему, мы вот как раз об этом и толковали.

— Ну и что?

— А то, что договорились подкараулить Зубатку в узком переулке и навести, ему решку, понял?

— Чего же тут не понять! — Егор окинул взглядом приумолкших казаков и заговорил веселее: — Этак-то, конечно, и я согласен.

— То-то же. Только ты, смотри, никому ничего, ни гугу!

— Ясное дело.

— И с Токмаковым в случае встретишься — как будто ничего и не было. А с завтрашнего вечера караулить его будем поочередно.

С этого вечера за Токмаковым началась слежка. Каждый вечер Чугуевский предупреждал очередного из восьми заговорщиков, и тот, дождавшись, когда стемнеет, вооружался винтовкой и шашкой и шел в засаду. Однако проходили дни и недели, а скараулить Токмакова не удавалось. То он вовсе не приходил в собрание, то уходил из него другой дорогой, то шел с кем-нибудь вдвоем.

— Как, скажи, заговоренный он, холера его заberi, Зубатка проклятая! — сердито ворчал Индчужов, уже в третий раз отправляясь в засаду.

— Сегодня он здесь, — шепнул Григорию Чугуевский, — сейчас видел его в собрании. Смотри, в случае чего не сплывай!

— Это уж будь покоен. Только бы скараулить, не сорвется.

К облюбованному месту, к полуразрушенной водяной мельнице, Индчужов пришел, когда совсем стемнело. Полная луна поднялась над сопками, и от мельницы видно было раскинувшийся за речкой лагерь: стройные ряды палаток, темные силуэты конюшен и прочих лагерных строений. Хорошо видно спускающуюся с горы к речке тропинку; по этой тропинке и ходил Токмаков из клуба домой в станицу. Почти все офицеры полка жили в палатках, лишь командир полка да есаул Токмаков предпочитали жить на квартирах в станице.

Зарядив винтовку, Григорий устроился недалеко от мельницы, возле старой, раскидистой черемухи. Отсюда ему далеко видно тропинку, которая в этом месте пролегла шагах в тридцати от мельницы.

«Только бы сюда пошел! — думал Индчужов, устраиваясь поудобнее. — Ночь как раз светлая, вон только та тучка не закрыла бы месяц. Ну, да на таком-то расстоянии все равно не промажу, а ежели так же светло будет, то я его, как белку, в глаз выцелю».

И вспомнил Индчужов, как он с отцом охотился на белок, как ходили вдвоем зимой на медведя, которого подняли из берлоги. Много вспомнил Индчужов в этот тихий, лунный вечер: и родную станицу, село, где родился и вырос, и зазнобушку свою Катю. «Что-то она делает теперь? Спит, наверное, спокойно, — думал Григорий. — И в думушке нет у нее, чем я занимаюсь. Да-а, человека убить собрался, убивцем стать. Грех ведь это, большой грех, а не убить его — он и дальше будет людей тиранить. Оно, положим, уничтожить такую собаку и грех-то небольшой. Эх, покончить бы с ним благополучно, вернуться домой подобру-поздорову и опять...»

Размышления Григория прервал ухнувший неподалеку

филин. Индчужов вздрогнул от неожиданности, и тут ему послышались еле уловимые звуки шагов, хруст гальки под сапогами. Он понапряг слух и зрение, но в этот момент темное облако надвинулось с востока, закрыло луну, и все вокруг померкло.

Когда луна снова показалась из-за облака, Индчужов уже хорошо увидел идущего тропинкой человека. Вот он обошел куст, идет прямо, на плечах его искрятся погоны... Он! Сердце у Григория забилося сильнее. Повернувшись, он вскинул винтовку, опершись левым локтем в землю. Григорий знал, что на таком, расстоянии промаха не будет. Он прицелился сначала в голову, затем, для верности, взял чуть пониже, в грудь, и, уже держа палец на спуске, сдержался. «Как зверя выцеливаю. Ах, черт, даже рука не поднимается. — Григорий опустил винтовку, выпрямился. — Не стоит эдак-то, совесть мучить будет. Уж лучше по-честному, открыто. Я же за правду буду биться, за казаков наших супротив злодея. Чего же мне бояться? Вот рази из ливольверта саданет по мне? Да нет, на близком-то расстоянии не успеет ливольвертом, шашкой будет обороняться».

А Токмаков уже совсем близко, слышно, как под сапогами его хрустит галька. Григорий поставил затвор на предохранитель, закинув винтовку за спину, снял фуражку и перекрестился на восток:

«Господи, благослови!»

Он подождал еще немного и, когда до есаула оставалось шага три-четыре, обнажил шашку и выскочил из-за куста.

— Стой!

Произошло именно так, как предполагал Индчужов: есаул отпрянул в сторону, в руке его, со свистом рассекая воздух, сверкнул клинок. Григорий стремительно бросился на врага, с ходу кинул на него косой с потягом на себя удар. Токмаков успел подставить шашку, клинки их, с лязгом высекая голубоватые искры, скрестились, и тут, при свете луны, начался жестокий, не на жизнь, а на смерть, поединок на шашках.

Григорий теснил есаула к мельнице, стараясь держать его лицом к лунному свету. Ему хорошо было видно лицо есаула, мертвенно-бледное, с хищно ощеренным ртом; в стрелку вытянулись тонкие усы: зеленоватым, волчьим блеском горели глаза. Козырек фуражки то полностью затемнял лицо, когда есаул, наклонив голову, готовился прыжку, то оттенял только лоб, когда он выпрямлялся при взмахе шашкой.

Рубились молча, только слышно было тяжелое дыхание обоих да звон клинков. Одолеть не мог ни тот, ни другой. Григорий хотя и считался одним из лучших рубак в сотне, понимал, что дело имеет с опасным противником,— кадровый офицер за многие годы службы наловчился владеть шашкой. И все же Индчжугов верил в победу. «Бог не допустит,— думал он,— чтобы одолел меня злодей». Однако Григорий чувствовал, что слабеет, и, чтобы хоть немного перевести дух, отдохнуть от нападения, переходил к обороне. Но он видел, что ослабел и Токмаков, удары его стали реже и слабее. Как ни устал Григорий, он продолжал наносить противнику удары, зорко следил за каждым его движением. Наконец Индчжугову удалось ложным выпадом обмануть противника, ранить его на укол в правое плечо. Есаул охнул, левой рукой зажал рану, дрогнула рука с занесенной шашкой, и этим воспользовался Григорий. Он подскочил к противнику вплотную, так что шашка есаула опустилась мимо головы Индчжугова, лишь эфесом клинка ударил его есаул по лбу выше левого глаза. А в это время Григорий, приседая и такая, с силой всадил свою шашку в грудь есаулу.

Смертельно раненный Токмаков упал, запрокидываясь на спину. Он еще пытался подняться и даже достать Индчжугова шашкой, но силы уже изменили ему, рука с шашкой, как сломанный прут, падала на мокрый от росы песок, на груди есаула ширилось темное кровавое пятно.

— Га-а-а-а...— хрипел Токмаков, судорожно сжимая и вновь выпрямляя ноги.

Григорий вытер рукавом гимнастерки вспотевшее лицо, шумно вздохнул, подошел ближе и, заглядывая в тускнеющие глаза своего врага, заговорил торжествующе и злобно:

— Что, Токмаков, дорыпался, гад! Получил, сволочь, сполна за все обиды наши? Подыхай теперь, как старый птес под забором!

Вытерев шашку о гимнастерку умирающего, Григорий сунул ее в ножны и уже собрался уходить, но передумал.

«Живой ишо, гад. Ежели скоро найдут, рассказать может. Нет, уж лучше прикончить его, собаку».

И, вырвав из ослабевшей руки Токмакова шашку, Григорий по самый эфес всадил ее в грудь своего врага, прищиплив его к земле.

Светало. На востоке, постепенно разгораясь, тлела узенькая полоска зари, когда, уставший от битвы и нервного напряжения, Григорий пришел к себе в палатку, снял винтовку, сам сел рядом, облокотившись на колени, стиснул ладонями голову.

«Что же я наделал? — с ужасом думал Григорий.— Человека убил, господи боже мой, убийцем стал!»

Проснувшийся Чугуевский поднял голову. Увидев сидящего, удрученного происшедшим Индчжугова, понял, в чем дело, сбросил с себя одеяло, сел на койку.

— Ну что, Григорий?

— Все. Лежит... у мельницы,— на поднимая головы, еле слышно отозвался Индчжугов.

— Да что ты говоришь! — Чугуевский вскочил с койки, дернул за ногу Егора, потянул шинель со Швалова.— Вставайте, живее, ну! Ах, елки-палки, как же ты его? Сам-то ничего, не ранен?

В ответ Индчжугов только рукой махнул. Его как в лихорадке била крупная дрожь, стучали зубы, а в глазах как живой стоял Токмаков.

Понимая состояние товарища, Чугуевский накиннул ему на плечи шинель, сел с ним рядом. С другого боку подсел Степан, Егор опустил на корточки, взял друга за руку.

— Григорий, ты че*то же это? Успокойся, дружище, возьми себя в руки.

Индчжугов поднял голову, помрачневшим, тоскующим взглядом посмотрел на друзей.

— Не могу, ребята... Сначала-то ничего... А вот теперь...— он говорил прерывисто, с придыханием, — ...жутко мне... Ох, как жутко!

— Да полно, Гриша, чего его жалеть, собаке — собачья смерть! Ведь он сам же виноват, а ты за правду стоял.

— Знаю, что так, а не могу вот... Стоит, проклятый, перед глазами. Да ишо ладно... хоть а его стрелять-то не стал... А то и вовсе бы...

— Так ты его... как же?

— Шашкой... заколол его к черту.

Последнее слово Индчжугов словно выдавил из себя с хрипом, через силу. Глубоко вздохнув, он выпрямился, и тут Егор при*вете зари увидел, что гимнастерка и брюки Григория испачканы кровью. Заметил это и Чугуевский.

— Снимай живее! — приказал он Григорию.— Спрятать надо одежду-то, пока не поздно.

Григорий молча разделся, лег на койку, укрылся шинелью.

Швалов окровавленную одежду Индчжугова сунул под свой матрас, Чугуевский принялся чистить сапоги Григория. Степану посоветовал:

— Ты одежду уж лучше на дворе где-нибудь спрячь, за конюшнями, что ли. А здесь опасно: как пойдут по палаткам с обыском — и засыплемся.

Швалов забрал одежду Григория, ушел, а следом за ним и Егор. Он прошел на конюшню, переговорив с дневальным, разыскал Григорьеве седло, достал из седельной подушки запасные брюки и гимнастерку.

Только Егор с одеждой Григория вернулся в палатку, как по лагерю разнесся звонкий трубный сигнал: «Тревога».

Сразу ожил, глухо загудел лагерь. Казаки, наспех одевшись, выскакивали из палаток, бегом устремлялись к конюшням.

Когда Григорий выскочил из палатки, Чугуевский и Егор со Степаном уже были в конюшне. Из всех конюшен сплошным потоком валили казаки, на бегу вскакивая в седла, галопом мчались на плац. Забежав в конюшню, Григорий вмиг отвязал своего Игреньку, кинул ему на спину седло и, не подтягивая подпруг, вскочил на него. Он не опоздал, подпруги подтянул уже на месте сбора, пока выравнивали строй. Так всегда делали казаки, когда поднимали их по тревоге, поэтому и успевали они одеться, оседлать лошадей и прибыть на место сбора за пять минут, наравне с пехотой, чему всегда дивились солдаты и пехотные офицеры.

ГЛАВА IV

Убитого Токмакова обнаружил чуть свет конный патруль. Об этом сразу же доложили дежурному по полку, тот в свою очередь — помощнику командира полка, и началась суматоха. В станицу, к командиру полка, помчался конно-нарочный, к убитому выставили караул, а полк, неведомо для чего, подняли по тревоге.

Еще до восхода солнца полк выстроили на плац-параде, сделали перекличку и на рысях провели вокруг лагеря два круга. В половине третьего круга перешли на шаг, полковой трубач подал сигнал «Отбой», и густые толпы конников, ломая строй, хлынули по коновязям.

Когда из-за далеких гор показалось солнце, казаки уже разбрелись по лагерю, группами толпились возле палаток. Больше всего собралось их возле крайней, ближней к лагерю, конюшни. Посредине плотного круга служивых казак третьей сотни, смуглолицый, скуластый Волгин, Чалбучинской станицы. Это он, будучи патрулем сегодня, обнаружил труп Токмакова.

Выслушав рассказ Волгина, казаки дымят самосадом, разговор их не молкнет ни на минуту.

— Сшибли, значит, рога Зубатке?

— Да, брат, нашелся добрый человек.

— Достукался, сволочь.

— В вашей сотне тоже, говорят, командиришко-то неважный?

— Злой, не создай господь!

— Теперь небось посмирнеет.

— У нас командир хороший, нечего бога гневить, а вахмистр навроде Зубатки, зверюга.

— Загнать его на склизкое и прижать, как гниду к ногтю.

Вместе с командиром в лагерь приехали оказавшийся проездом в станице пристав с полицейским урядником и военный следователь из города Нерчинска.

Первым делом они осмотрели, составили протокол и подняли труп. Затем, посоветовавшись между собой, решили опросить поодиночке казаков четвертой сотни.

Сотню сняли с конного занятия, спешили и выстроили против офицерского собрания, где заседала комиссия. Сильно припекало солнце. Казаки в ожидании вызова томились в строю; нельзя курить, разговаривать. Вдоль строя, заложи» руки за спину и держа в них шашку, медленно прохаживался заменивший Токмакова подъесаул Чирков.

Григорий стоял четвертым с правого фланга, во второй шеренге. Внешне он был спокоен, фуражка, как всегда, набок, только черный кучерявый чуб сегодня он опустил на лоб, чтобы прикрыть им синяк над левым глазом. Когда дошла до него очередь, Григорий не торопясь прошел до собрания, придерживая рукой шашку, поднялся на низенькое крылечко, зашел в помещение. В коридоре он увидел сидящих на скамьях человек восемь казаков второй сотни, вооруженных винтовками.

В светлом, просторном зале офицерского собрания за большим столом — следователь, узколицый человек в очках, с прямым пробором блестящих, словно прилизанных волос. На серебряных погонах следователя по три звездочки вдоль красного просвета. В кресле у края стола сидел полный седоусый пристав. Около двери, руки по швам, — полицейский.

Подойдя к столу, Григорий, стукнув каблуками, встал во фронт, ответил на заданные ему вопросы: имя, отчество, фамилия, какого срока службы, уроженец какой станицы. На вопрос, что ему известно об утайстве есаула Токмакова, ответил:

— Не могу знать, ваше благородие!

— Покажи шашку.

Григорий вынул шашку, положил ее концом на стол, поворачивая, показал обе стороны клинка и снова вложил в ножны. При этом Григорий заметил, что шашка на нем чужая, что он по нечаянности обменялся шашками с Чугуевским. Следователь пристально посмотрел в лицо Григорию.

— Что это у тебя на лбу? А ну, подними волосы.

Григорий нехотя, левой рукой, приподнял чуб, и следователь увидел на лбу его багровый, с фиолетовым отливом, синяк.

— Ого-о! Кто это тебя?

Григорий смутился, на смуглом лице его пятнами выступил вишневый румянец.

— Это вчера мы тут с одним... боролись. Он меня головой-то... об камень.

— Боро-олся? С кем?

— С этим... как его... с Устюговым из второго взвода.

— С Устюговым! Та-ак! — Уже по тому, как вел себя Григорий, как он смутился, говорил сбивчиво, меняясь в лице, следователь понял, что он напал на след и что этот смуглолицый казак является участником убийства. Он подробно расспросил Григория: как он боролся с Устюговым? Где, в каком месте? И, записав ответы Индчжугова, кивнул полицейскому:

— Савчук! Этого,— следователь глазами показал на Григория,— обезоружить, под конвоем отвести на гауптвахту и вызвать ко мне Устюгова из второго взвода.

Понимая, что песенка его спета, Григорий, подавив вздох, послушно снял с себя шашку, поясной ремень, отдал полицейскому.

Как один человек, ахнула вся сотня, удивленный шепот покатился по рядам, а глаза всех устремились на Григория, когда его в сопровождении двух казаков и полицейского вывели из собрания.

Спустившись с крыльца, Григорий на миг приостановился, быстро оглянул всю сотню и, увидев Устюгова, левой рукой показал ему на свой синяк. Ничего не поняв, Устюгов смотрел на поселычика и, глядя ему вслед, напряженно думал: «О чем же это маячил Григорий?»

Гауптвахта, переделанная из обыкновенного деревенского амбара, состояла из коридора, служившего караульным помещением, и двух камер для арестованных. В камере Григо-

рия, с маленьким зарешеченным окном на запад, имелись нары человека на четыре и одна табуретка.

Чувство непомерной усталости и жалости к самому себе овладело Григорием, когда за ним захлопнулась дверь камеры и в замке проскрежетал ключ. Он сел на табуретку, облокотившись на колени, опустил голову на руки, задумался.

Очнулся он от негромкого стука в дверь. Подняв голову, увидел в дверном глазке устремленный на него взгляд часового. Григорий встал и, подойдя ближе, узнал казака третьей сотни Ивана Рудакова.

— Чего они тебя? — шепотом спросил Рудаков.— Заподозрили, что ли?

Григорий, чувствуя, как к горлу его подкатывается комок, глухо кашлянул, помял рукой шею.

— Худо дело, Иван, кх... Засыпался на допросе.

— Что же теперь?

— Известное дало... кх... Полевой суд, ну и кх-кхк... расстрел.

— Неужели расстрел?

— Конечно.

— Тогда сбежать тебе, да и всего делов.

— Сбежать? — переспросил Григорий, и глаза его загорелись надеждой.— Оно бы... конечно, да как сбежишь-то?

— Дурак будешь, ежели не сбежишь. Ты пока помалкивай, я поговорю с ребятами, што .нибудь придумаем.

— Ты Чугуевскому скажи или Погодаеву.— Индчжугов говорил торопливым, хрипатым шепотом.— Они помогут, людей наберут, сколько потребуется, хоть сотню.

— Сделаем, Григорий, не беспокойся,— заверил Рудаков и отошел к двери, так как с крыльца раздался условный стук в дверь наружного часового: к гауптвахте подходил дежурный офицер.

А следещие продолжалось. Вызванный на допрос и не предупрежденный Григорием, Устюгов на неожиданный вопрос следователя: «С кем вчера боролся?» — ответил, что он не боролся ни с кем.

— А ну, подумай хорошенько, припомни.

Устюгов, подняв глаза к потолку, понапряг память, по, так и не вспомнив, отрицательно покачал головой.

— Никак нет, ваше благородие, не боролся.

— Ни с кем?

— Так точно, ни с кем.

— Так...— Следователь записал показания Устюгова. За-

ставил его, ввиду безграмотности, приложить к написанному смоченный чернилами дожелта прокуренный палец руки.

— Можешь идти и пошли ко мне вахмистра.

После допроса Устюгова следователь еще больше уверился в виновности арестованного Индчжугова и приказал произвести обыск в его палатке.

При обыске было обнаружено, что у Швалова запачкан кровью матрац. Степана сразу же арестовали, а вскоре и Чугуевского: у него при осмотре на допросе на долах шашки оказалось маленькое пятнышко крови. Чугуевский догадался, что шашка эта не его, а Григорьева, но не сказал об этом следователю, так как это было бы прямой уликой против его друга.

— Откуда кровь на клинке? — допытывался следователь.

— Это мы, ваше благородие, дня три тому назад ездили на остров за лозой для рубки, я там руку порезал нечаянно и шашку ею опачкал.

— А ну покажи, где порезал.

Чугуевский показал левую руку, где действительно был небольшой заживший порез.

Ему все равно не поверили. После Чугуевского арестовали Егора и всех троих посадили в комнату рядом с клубным залом.

Узнав от Ивана Рудакова об аресте своих друзей, Григорий, вызванный на допрос вторично, не стал больше записываться и чистосердечно сознался в содеянном им преступлении. Он подробно рассказал, как выследил и убил Токмакова и что сегодня утром по ошибке вместо своей надел шашку Чугуевского. В одном не удалось следователю добиться от Григория признания — кто были его сообщники? Григорий упорно стоял на своем, доказывая, что сообщников у него не было, что действовал он один из личной мести к Токмакову.

После того как Григорий всю вину в убийстве принял на себя, Чугуевского из-под ареста освободили, а затем и Егора, так как против них не было никаких улик. Швалова перевели на гауптвахту, в соседнюю с Григорием камеру.

Очутившись на свободе, Егор в первую очередь забрал котелки, помчался на кухню за харчами для арестованных. Повар, как и все казаки, искренне жалел заключенных под стражу сослуживцев. Поэтому и шей им постарался налить пожирнее, положил двойные порции мяса и не пожалел масла в гречневую кашу.

Когда Егор пришел на гауптвахту, Григорий, все время ходивший взад и вперед по камере, теперь лежал на нарах и, как видно, задремал, положив под голову кулак.

В коридоре находились лишь часовой да караульный начальник — урядник Каюков, остальные казаки из караула сидели на лужайке возле гауптвахты вокруг небольшого костра.

Передав еду Степану, Егор вышел к казакам, подогрел на углях щи, и когда вернулся в коридор, Григорий проснулся. Часовой передал Григорию котелки со щами и кашей и записку Чугуевского о том, что этой ночью казаки помогут ему устроить побег.

Прочитав записку, Григорий немного успокоился и впервые в этот день принялся за еду. Наевшись, он опять принялся мерять шагами камеру. Теперь у него из головы не выходила мысль о побеге.

«Эх, удалось бы вырваться отсюда,— думал он,— да через Шилку переправиться благополучно, а там они мне и во след не посмотрят. Я ведь дорогой-то не поеду, а напрямик, по горам. Доберусь до дому — ив тайгу подамся до осени. А к зиме захвачу с собой Катюшу, и махнем с нею за границу, проболтаемся где-нибудь пода три-четыре, а там видно будет...»

А в это время в лагере урядник Чугуевский деятельно готовился к тому, чтобы устроить побег Григорию из-под ареста, подбирая надежных помощников. Ночью, когда на западе еще не потухла заря, в зарослях тальника, около речки, собрались заговорщики. Сидели, соблюдая все меры предосторожности, разговаривали вполголоса и даже не курили, хотя кусты надежно прикрывали их от постороннего глаза. Последним, с ломом в руках, пришел Федот Погодаев.

Опираясь на лопату, Чугуевский привстал на одно колено, обвел собравшихся взглядом.

— Кажись, все. Давайте, братцы, за дело.

— А чего же тянуть-то?

— Конечно, время не ждет.

— Тихо! — Чугуевский предостерегающе поднял руку. — Сейчас начнем. Ты, Федот, бери своих людей, расставляй посты, где наметили. В случае опасности — офицера заметите или еще кого — дайте нам сигнал. Не забыл, Федот?

— Как можно забыть? Ежели опасность — значит, перепелка зачирикает, миновало — кузничик застрекочет.

— То-то. Ну, а мы сейчас же примемся за подкоп, вырыть его в песчаном грунте — пустое дело. Помните, когда закончим все благополучно, в кустах, на повороте речки, турпан простонет раза три. Сбор у старой мельницы, понятно?

— Понятно!

— Нехитрое дело.

»

— Пошли, братцы.

Семь человек дозорных, во главе с Погодаевым, один по одному исчезли с полянки. Остальные под командой Чугуевского, с лопатами в руках, так же тихо покинули тальники, гуськом потянулись к гауптвахте. Устюгову поручили подменить на конюшне Егора.

В эту ночь Егор сам напросился дневальным на конюшню, для того чтобы беспрепятственно взять с конюшни Григорьева коня. Он не думал о том, что за коня придется ответить, в голове одно: лишь бы выручить Григория, помочь ему сбежать, а там — будь что будет.

Попросив Устюгова посветить, Егор сложил в седельные сумы одежду Григория, харчей на дорогу, оседлал и завьючил Игренька. Светивший ему фонарем приземистый, чернотелый Устюгов участливо покачал головой.

— Твое дело, Егор, тоже бежать теперь: влетит тебе за Игренька по самые уши.

Егор недоумевающе посмотрел на Устюгова.

— А как же иначе-то? Ведь Гришке-то расстрел грозит.

— Знамо, что расстрел. Но я к тому говорю, что, чем с конюшни брать коня, так лучше бы украсть чужого в станице. А Гришка как доехал на нем, куда надо, отпустил бы его — и всего делов. Конь обратно прибежал бы к хозяину, и никто не пострадал бы.

— Теперь уж об этом поздно разговаривать.

— Дело твоё, конечно, я к тому, что рискован ты, парень, тут вить дело-то тюрьмой пахнет.

Егор, затаив череподушечную подпругу, при последних словах Устюгова задумался. Вспомнились мать, Настя, тоскливо защемило сердце. Но это длилось одно лишь мгновение. Тряхнув чубатой головой, словно отгоняя назойливые мысли, Егор решительно взялся за повод.

— Э-э, чего тут рассуждать, за коня не расстреляют. А осудят — так что ж, от судьбы не уйдешь. Ничего-о-о, дальше солнца не угонят. Пошли, Игренько.

К месту сбора — развалинам старой мельницы — Егор прибыл раньше всех. Спрятав коня в колке, он вышел на полянку недалеко от мельницы и притаился возле старой раскидистой черемухи, где прошлой ночью укрывался Григорий.

Полная луна стояла высоко в небе, и Егору отсюда было хорошо видно белеющий вдали лагерь и далеко уходящую тропинку, что пролегла мимо мельницы. Егор не отрываясь всматривался в ту сторону лагеря, где находилась гауптвахта,

та, внимательно прислушивался, но оттуда не доносилось ни единого звука. Тишина, только слышно, как над ухом тоненько пищит комар да в колке журчит по камешкам речка. Позвякивая удилами, конь жуёт листву тальника.

Ждать Егору пришлось долго, и он радостно вздохнул, когда оттуда, со стороны конюшен, донесся трехкратный, похожий на стон, крик турпана.

Вскоре начали появляться казаки, первыми пришли Погодаев, Молоков и Бекетов. Следом за ними в месте с Григорием пришли Чугуевский, и через несколько минут на обрамленной кустами тальника и боярышника площадке собрались все участники заговора.

Когда Егор вывел из колка коня, на площадке началось прощание.

Тяжело, ох как тяжело Григорию расставаться с друзьями! Пока находился под арестом, он с нетерпением ожидал, когда друзья выручат его из неволи, а очутившись на свободе, сразу же загрустил. Простившись с караульными казаками, с тяжелым сердцем «пошел Григорий следом за Чугуевским, а здесь, у развалин старой мельницы, еще сильнее осознал он горечь разлуки с товарищами. От волнения он не мог говорить и, давясь невыплаканными слезами, молча обнимал своих друзей, целуясь, прощался с ними. Обняв Егора, он уронил ему голову на плечо, и тот почувствовал, как тугие, широкие плечи Григория содрогаются от рыданий. Егор тоже не мог вымолвить ни единого слова. Целуя его в последний раз, Григорий прошептал еле слышно:

— Прощай, Егорша!..— И, приняв от Егора коня, быстро накинул поводья, носком левой ноги поймал стремя, вскочил в седло.— Прощайте, братцы! Не поминайте лихом!

Круто повернув коня, Григорий взмахнул нагайкой и, встав на стременах, с места взял крутой рысью. Взмолвленные не меньше Григория, казаки молча смотрели вслед своему сослуживцу и другу. Они уже начали расходиться, когда с той стороны, куда уехал Индчужов, вновь увидели скачу, щего к ним всадника, в котором сразу же угадали Григория.

Подскакав вплотную, Григорий осадил коня и, спрыгнув с него, подошел к изумленным, не ожидавшим его возвращения казакам. Его сразу же* окружили, закидали вопросами:

— В чем дело, Григорий?

— Чего вернулся-то?

— Забыл чего-нибудь?

f

— Ничего не забыл, да вот пока до станицы ехал, и передумал.

— Как передумал? Чего мелешь-то?

— Вернулся, чтоб Игренька обратно на конюшню поставить, вот и все.

— Да ты в уме?

— Тоже придумал!

— Полно, не дури, Григорий, поезжай, как сначала собрался. Время-то идет, вон уя?е светать начинается.

— Не могу, ребята, как хотите, не могу.— Григорий отрицательно покачал головой.— Совесть не дозволяет. Я сейчас все это обдумал: убегу на Игреньке — на нем меня никто бы не догнал,— а што будет с Егором? Засудят его из-за Игренька, а меня совесть замучит. Нет уж, бог с ним, с Игреньком, пойду пешком. Уж, видно, чему быть — того не миновать, зато на душе будет спокойнее.

Понимая, что Григория не отговорить, казаки из седельной сумы и чересподушечной подпруги в момент соорудили котомку, куда положили ему харчей и кое-чего из одежды. Вскинув ее за спину, Григорий еще раз попрощался с товарищами, подошел к коню, взял его обеими руками за узду.

— Эх, Игренько, товарищ мой верный! — глухим, дрогнувшим голосом проговорил Григорий.— Значит, не судьба наша, а уж больше нам с тобой не увидеться, прощай.

И, поцеловав его в лоб, Григорий помахал на прощанье рукой казакам и, не оглядываясь, быстро зашагал по тропинке. Надо было спешить, на востоке ширился рассвет, занималась заря. Покрасневшая луна повисла низко над сопками, а в кустах защелбтали ранние птички.

Долго, пока Григорий не скрылся из виду, казаки стояли в кустах около мельницы и, горестно вздыхая, поминали своего товарища.

— До чего же жалко Гришку, как родного жалко!..

— За нас пострадал парень.

— Вот она, благородная-то душа, какая бывает, пешком пошел, штоб не подвести своего брата-казака.

— Да-а, на Игреньке-то он бы дня через три и дома был, а пешком-то когда доберется теперь? Да ведь и опасно.

— Ну да ведь лето, в случае чего и укрыться можно в лесу-то.

— Дай бог, штоб сошло все благополучно...

Казаки еще постояли немного и один по одному потянулись в лагерь.

А утром по лагерю разнеслась печальная весть: на речке около железнодорожного моста солдаты убили Индчжугова. Весть эта подтвердилась, и на место происшествия вместе с приставом выехали полковой врач и офицер четвертой сотни хорунжий Мамонтов.

В полдень труп Григория на полковой санитарной двуколке привезли обратно в лагерь. Положили его в коридоре околотка, накрыли простыней, а двум казакам — Молокову и Варламову — поручили соорудить гроб.

В этот же день от хорунжего Мамонтова казаки узнали и о подробностях гибели Индчжугова. В третьем часу утра он, благополучно миновав станицу, подошел к железнодорожному мосту через речку Безымянку. После летнего таяния больших ледников в ее вершине речка разлилась, вышла из берегов. Не зная брода через нее, Григорий решил пройти по железнодорожному мосту, который охраняли солдаты пехотного батальона. Часовой не пустил Григория на мост и даже приказал подчаску отвести его в караульное помещение. Григорий не подчинился, кинулся бежать, солдат вскинул винтовку и с первого же выстрела уложил его насмерть. Пуля вошла в правую лопатку, вышла наискось ниже левого соска, захватила сердце, поэтому смерть наступила мгновенно.

До поздней ночи волновался встревоженный лагерь. Казаки, собираясь группами, жалели Индчжугова, сговаривались проводить его до могилы.

Чугуевский во главе делегации из шести казаков сходил к помощнику командира полка Эпову по вопросу о похоронах. Войсковой старшина Эпов, выслушав просьбу казаков, разрешил хоронить Григория, как полагается по христианскому обычаю, а четвертой сотне проводить покойного до могилы.

Обмыв Григория, казаки одели его в новое обмундирование, надели на него шашку, положили на стол. Егор роговым гребешком причесал свалевшийся чуб своего друга, гроб украсил цветами.

Мало в эту ночь спали казаки, грудились возле околотка. И за ночь все они поочередно побывали у гроба. Мысленно прощаясь с погибшим товарищем, подолгу стояли они около праха Григория, и мало было таких, по суровым, загорелым лицам которых не скатилась бы скупая мужская слеза.

Хоронить Григория собрались фанвим утром. Еще не взошло солнце, а четвертая сотня в пешем порядке выстроилась на плац-параде. Но тут произошло непредвиденное. Едва

построилась сотня, как к ней из всех палаток лагеря хлынули казаки. Густые толпы их окружили сотню, в полном составе с барабаном и трубами подошли музыканты духового оркестра. Надо было что-то предпринимать, и, наскоро посоветовавшись с подошедшими к нему урядниками, Чугуевский принял смелое решение. Обратившись к казакам, он зычно выкрикнул им:

— Полк, слушать мою команду! По сотням стройсь!

Команду его подхватили и выполнили с молниеносной быстротой.

Когда из-за далеких, подернутых синевой сопок показалось солнце, похоронная процессия под звуки траурного марша двинулась мимо лагеря. Весь полк, построенный по восемь человек в ряд, шел за гробом, сверкая обнаженными шашками.

Впереди всех шли три казака с развернутым полковым знаменем. Сразу за ними два казака на головах несли крышку с лежащей на ней фуражкой Индчжугова, а шестеро казаков — положенный на винтовки гроб с телом Григория. Гроб так обильно украсили цветами, что у покойника были видны лишь сложенные на груди руки, часть защитной гимнастерки с портупеей да побелевшее, словно восковое, лицо его и черный волнистый чуб.

Егор вел за гробом оседланного, покрытого черной попоной Игренька. Словно вслушиваясь в печальную, за душу хватающую мелодию марша и понимая всю горечь прощания с хозяином, конь шел понурился, лишь изредка толкая мордой под локоть Егора.

Место для могилы выбрали в версте от лагеря, на высоком бугре, около трактовой дороги.

Когда гроб поставили на краю могилы, полк выстроился вокруг нее четырехугольником, с оркестром посредине.

Первую прощальную речь над гробом произнес одностаничник покойного Молоков.

— Прощай, Григорий Николаич, — проговорил он, снимая фуражку и рукавом гимнастерки смахнув набежавшую слезу. — За нас пострадал ты, бедняга. Не забудем мы тебя по гроб жизни, детям нашим, внукам будем рассказывать, как сложил ты за нас буйную голову. Земля тебе пухом, Григорий, вечная память и царство небесное!

После Молокова говорили Устюгов, Чугуевский, Погодаев, Иван Бекетов и еще человек пять казаков четвертой сотни. Все они говорили мало, в таком же примерно духе, как Молоков, но простые, бесхитростные речи их звучали искренне, от чи-

стого сердца. Всего два слова — «Прощай, Григорий!» — сказал Егор и, низко поклонившись другу, поцеловал его в лоб.

И вот уже Григория накрыли крышкой, высекая из гвоздя искры, глухо застучал молоток.

Когда гроб стали опускать на веревках в могилу, сильнее взвыли трубы оркестра и, по команде Чугуевского, грянул трехкратный ружейный залп.

Все казаки прошли мимо могилы, и все бросили на гроб своего сослуживца по горсти земли. Затем над могилой замелькали лопаты, и вскоре над нею вырос песчаный холмик.

На массивном, хорошо отструганном лиственничном кресте долотом и стамеской высекали надпись:

«Под сим крестом упокоился погибший за друзей своих и товарищей забайкальский казак 4-й сотни 1-го Аргунского полка, Григорий Николаевич Индчжугов, срока службы 1908 года. Убит 15 июня 1911 года. Мир его праху».

ГЛАВА V

В тот же день, когда схоронили Индчжугова, Чугуевского арестовали вторично. Вместе с ним арестовали двух вахмистров и четырех урядников, тех, что во время похорон Индчжугова осмелились командовать сотнями. После недельной отсидки на гауптвахте всех их разжаловали в рядовые, а дело на Чугуевского и Степана Швалова передали военно-полевого суда.

Следователь так повернул дело, что главным виновником в убийстве Токмакова оказался Чугуевский. Ловко орудуя фактами в недавних событиях, он утверждал в обвинительном заключении, что Чугуевский был руководителем заговора, следствием которого явилось убийство есаула Токмакова, что Чугуевский принимал в убийстве непосредственное участие, вещественным доказательством тому служит кровь на его шашке — показания Индчжугова следователь уже не принимал во внимание, доказывая, что Индчжугов действовал по наущению Чугуевского. Особенный упор следователь сделал на то, что Чугуевскими является опасным преступником, что он несомненно имеет связь с подпольщиками-революционерами Читы и по их наущению подговорил казаков выступить организованно всем полком под его командой на похоронах своего соучастника, казака Индчжугова.

Швалов, по заключению следователя, был помощником Чугуевского в организации заговора **п**б убийству Токмакова.

День, когда их повезли на железнодорожную станцию,

выдался хмурый, облачный. Густые, темные, с сизоватым отливом облака плыли низко над станицей, над полотняным казачьим лагерем. В это время казаков в лагере не было, полк находился на строевых занятиях.

Окруженная конвоем казаков полковая двуколка выехала из лагеря, затарахтела по песчаному тракту. Миновав станицу, дорога потянулась в гору. Возница, рябой казак нестройной команды, перевел лошадей на шаг. В двуколку он заботливо положил сена, чтобы арестованным было мягче сидеть.

А небо все более заволакивалось тучами, и уже откуда-то издалека доносились глухие раскаты грома. Степь померкла, притихла, словно вымерло все вокруг, только безмолвные быстролетные ласточки кружились около лошадей и повозки, чертили воздух над головами всадников.

Как только выехали за околицу, конвойные вложили шашки в ножны, и все шестеро поехали рядом позади двуколки. Повернувшись лицом к конвоирам, арестованные разговаривали с ними, курили. Разговор шел о том, что ожидает попавших в беду товарищей.

— Ничего вам не будет. Вот наплюйте мне в глаза, ежели не так,— уверял арестованных Волгин.

— Могут в дисциплинарный дивизион сдать.

— А верней всего так: подержат их с месяц под арестом и обратно к нам возвратят. Лычки, пожалуй, снимут с Чугуевского, разжалуют.

— Ну и черт с ними, с лычками, велика важность.

Чугуевский, криво усмехнувшись, покачал головой:

— Эх, ребята, кабы ваши речи да богу встречу. Только не получится по-вашему.

— Отчего же это так?

— Засудят нас, закатают в тюрьму, вот увидите.

— Да ну тебя! — Волгин досадливо махнул рукой. — Чего ты каркаешь сам на свою голову! Ведь улики-то на вас никаких нет.

— Это нам кажется, что нету улики, а они подберут. Он видишь какие коляски подкатывает, следовательно-то, политическое дело мне пришивает, в революционеры меня произвел.

— Какие могут быть люцинеры у казаков? Сроду их не бывало!

— Были, Прокопий,— возразил Молоков.— Ты рази не слышал, как в девятьсот пятом отправили наших казаков на каторгу?

— На каторгу? За что?

— За политику. Шестакова, Гантимурова Дуроевской станицы, Лопатина Больне-Зерентуевской, да людно их, человек до ста. Мне о них учитель наш, Петр Кузьмич, рассказывал. Он, учитель-то, тоже из казаков Размахнинской станицы, Номоконов по фамилии, и тоже потом в тюрьме сидел за политику. Ну так вот он и про партии ихние рассказывал.

— Какие партии?

— Всякие: есть просто бунтовщики, есть люцинеры, есть политические. Самые отчаянные, из них— люцинеры. Это, брат, такой народ, что до ветру не пойдет без бонбы, только и смотрят, кому бы из больших начальников рога сшибить. Оно, конечно, для нас это совсем неподходящее дело: убьют одного министра, а заместо его другого посадят — нам-то какой от этого толк? Ни жарко, ни холодно. А вот политические, эти совсем другой табак! Эти за то ратуют, чтобы всех начальников по шапке, а власть выборную сделать, из простого народа.

— Как мы атамана выбираем в поселке, так, што ли?

— Оно самое

— Ну уж это ты, Иван^ через край хватил!

— Сказки.

— Ты, Иван, ври, да хоть поплеывай почаше.

— Ха-ха-ха!..

Казаки заспорили, не замечая за разговорами, что уже недалеко до станции.

— Кончай, братцы! — спохватился один из конвойных.— Народ на станции-то, там и офицеры могут быть.

По команде Волгина конвойные вновь обнажили шашки, окружили двуколку.

* * *

Целую неделю длилось ненастье, а потом, как это всегда бывает в Забайкалье, снова наступили ясные, солнечные дни, и все вокруг зазеленело, зацвело, множеством ярких цветов украсились елани и сопки. В рост пошла темно-зеленая пшеница, заколосилась ярица, темные волны заходили по ней от ветра. А в полях уже звенели косы, виднелись белые рубашки косарей,— начинался сенокос.

В эти ясные, благодатные дни по Сретенскому тракту гнали большую — человек восемьдесят — партию арестантов. Под немолчный переливчатый звон кандалов медленно брели они, построенные по четыре в ряд, бо всех сторон окруженные конвоем. За партией так же медленно тащился обоз в четыре

*

*

крестьянские телеги со скербом арестантов и провизией. На этих же телегах везли больных, выбившихся из сил.

Уже много казачьих сел и станиц миновала партия кандалников. Мимо них вереницей тянутся поля, цветущие елани, покосы, тенистые, дышащие прохладой рощи и огромная, от горизонта к горизонту, тайга — густая, дремучая, призывно манящая к себе невольников тайга. Когда партии приходилось переваливать через хребты, тайга подходила вплотную к тракту и на многие версты тянулась по обе стороны дороги.

Вот она, матушка, рукой подать, каких-нибудь два-три шага в сторону — и прощай, неволя! Тайга гостеприимна ко всем, она радушно примет беглеца и надежно укроет его от вражеских глаз. Только никто из арестантов не рискнет сделать этих двух шагов, хорошо зная, что они будут последними в его жизни. Ведь охраняют партию не просто солдаты какой-либо строевой части, а специальной конвойной команды. Вот они, в пропотевших и запыленных гимнастерках, с черными погонами, жиденькой цепочкой окружив партию, шагают рядом. Угрюмые, утомленные длительными переходами и от этого еще более злые, они, если потребуется, не задумываясь пустят в дело штыки и пули.

Всякий раз по выходе утром с этапа начальник конвоя, уса́тый зверюга фельдфебель, предупреждает партию, что «шаг арестанта в сторону считается побегом, и конвой в таком случае применит оружие». И они применяют, в этом все уверены. Специально подобранные и обученные для конвоирования, они не знают жалости, не дадут пощады.

Из общей серой массы арестантов, одетых в одинаковые холстиновые рубахи и портки, выделяются двое, шагающие в четвертом ряду. На них защитные, цвета хаки, гимнастерки с темными полосами на плечах от погон, черные брюки со следами споротых лампасов, а на бритых головах казачьи фуражки без кокард, с обрезанными козырьками. Оба законваны в ручные и ножные кандалы. Это шли на каторгу Андрей Чугуевский и Степан Швалов.

Военно-полевой суд признал Чугуевского виновным в том, что он являлся руководителем заговора, результатом которого было убийство есаула Токмакова, что вел он среди казаков полка преступную агитацию, что он сагитировал весь полк выйти на похороны убитого преступника и самозванно вступил в командование полком. За все это суд приговорил обоих — Чугуевского и Швалова — лишить казачьего звания. Меру

наказания суд определил — сослать на каторгу: Чугуевского бессрочно, Швалова, являющегося, по определению суда, помощником Чугуевского, на двадцать пять лет. Судили их в Сретенске и, очевидно, сразу после суда присоединили к партии арестантов, направляющихся в Горно-Зерентуевскую тюрьму, поэтому не успели одеть их в тюремную форму.

Уже седьмой день шагает по тракту партия. В это утро с ночлега на этапе, в селе Ундинские Кавыкучи, вышли спозаранку. Сегодня предстоит большой переход, до следующего этапа в селе Газимурские Кавыкучи — сорок верст. Пройти это расстояние в кандалах — такое тяжелое дело, что не каждому оно под силу. Недаром про этот участок пути среди арестантов существовала поговорка: «от Кавыкучи до Кавыкучи глаза выпучи». Не менее тяжело приходится и солдатам. Хотя шагать им и легче, чем кандалникам, но положение, обязывающее конвоиров быть бдительными, в состоянии постоянной напряженности и в продолжение всего пути с винтовками на изготовку, утомляло их, и уставали они не меньше заключенных.

Идти по утреннему холодку гораздо легче, поэтому солдаты упростили фельдфебеля выйти с этапа на рассвете, чтобы пораньше добраться до Половинки — так назывались три зимовья, расположенные вблизи тракта, на половине между обеими Кавыкучами. Там решили сделать привал и переждать полуденный зной.

Еще не взошло солнце, а партия уже отшагала верст пять. Шли долиной мимо покосов. С пади до слуха арестантов доносился звон кос, шум скашиваемой травы, но самих косарей не видно, падь заволокло густым туманом. С дороги им видны лишь обочины покосов, сизая от росы трава да влажные ряды кошенины. Но вот взошло солнце, и туман словно ожил, задвигался, начел подниматься вверх. Все выше и выше уходил он, постепенно обнажая долину, холмистую елань, сосновый бор, и, наконец, поднявшись над сопками, стайками небольших облаков поплыл к северу.

В пади стало видно косарей в белых рубахах, на траве заискрилась роса, а воздух наполнился веселым щебетом птиц. И так хорошо стало вокруг, что даже суровые лица арестантов посветлели, а в "разговорах, возникающих среди них, звучали нотки удивления, восхищения окружающей природой:

— Благодать-то какая кругом! "Куда ни глянь...

— Как у нас на Смоленщине!

—*А раздолье-то, боже ты мой!

— Вот какая она, Сибирь-то,— тяжело вздыхая, качал головой русобородый арестант Федотов, шагающий рядом со Шваловым.— И чем дальше идем, тем краше становится. И хлеба растут так же, как у нас в Расее, и травы, а цветов-то какое множество! Оттого и дух такой приятственный.

Степан покосился на Федотова, усмехнулся.

— А ты, поди, думал и верно, что зима у нас десять месяцев длится, и медведи по улицам бегают?

— Всякое гутарили. Ты что же, тутошний, значит? Из казаков, видать?

— Ага.

Степан отвечал неохотно, но Федотов, будучи человеком любознательным, всю дорогу донимал его разговорами, расспросами о Сибири. Так же и сегодня, помолчав с минуту, он снова приступил к Степану с вопросами:

— За что же вас-то забрали?

— За дело, значит!

— Хм, чуда-ак! Сам знаю, што за дело, а за какое такое дело? Вот у вас тут какое приволье и земли и лесу, хоть заглонишь им. Всего полно, а уж у вас, у казаков, и того больше! Живете, как паны, и от такой жизни в тюрьму идтить? Чудно, право...

— Ничего ты не кумекаешь, дядя! «Папы-ы». Посмотрел бы ты, какую мурцовку хлебают многие из этих «панов». Вон сегодня, как выходили из поселку, видел, какие хоромы стоят на краю-то? Лес рядом, а у этих избушек и сеней нету, и вокруг их ни кола ни двора. Отчего это, не знаешь? А я вот хоть и не был у них, а знаю почему. Потому, что они, эти «паны», в работниках живут у богачей. Им уж не до сеней, только бы семью как-нибудь прокормить, вот они как «пануют».

— Чего ж так?

Степан скосил на Федотова глаза, звякнул наручниками, отмахнулся.

— Ты, дядя, чисто репей, как пристанешь с этими расспросами!.. И все тебе Расскажи, отчего да почему. Тут и так тошно, помолчи хоть, ради бога.

— Хм... Чуда-ак, право, чудак.

Еще более неразговорчивым был в эти дни Чугуевский. Чем дальше от Сретенска уходила партия, тем мрачнее становился Андрей. Карие глаза его все более наливались смертной тоской. Да и как не грустить Андрею, когда уже завтра погонят его мимо полей и покосов родной Догинской станицы. Особенно угнетало его, что через день-два придется пройти мимо своего

дома и ночевать в родном селе... па этапе. Эх, ничего-то не знают родные: отец, мать, братья, жена, а трехлетнего сына Андрей даже не держал на руках и видел его лишь на присланной из дому фотокарточке — родился он через пять месяцев после того, как ушел Андрей на службу. Страсть хотелось Андрею увидеть своих, жену, сына, и в то же время он страшился этой встречи. Ведь что же будет с ними, когда увидят они его, закованного в ручные и ножные кандалы?

«Какой же это будет удар для Наташи! — с ужасом думал Андрей про жену.— Но она-то, хотя и тяжело, переживот как-нибудь, а мама... Не выживет она никак, ежели узнает. Нет уж, избави бог от такой встречи, только бы пройти так, чтобы никто не узнал».

На этап в Газимурские Кавыкучи партия с великим трудом дотащилась к вечеру. Ослабевших в пути, отстающих солдаты подгоняли прикладами, однако шестерых вконец выбившихся из сил арестантов пришлось посадить в телеги. В этот день ослабел и Чугуевский, в улице села, уже на виду огороженного бревенчатым тыном этапа, его под руку подхватил Степан, помог дойти до места.

Обычно на этапах не хватало мест для ночлега, поэтому брались они с бою. Сразу после проверки и команды начальника конвоя арестанты всей массой устремлялись в двери, начиналась давка, свалка, нередко доходящая до драки и увечья. Лучшие места всегда захватывали молодые, здоровые арестанты, а пожилым, физически более слабым, спать приходилось на полу и под нарами.

Но сегодня все так устали, что лишь немногие нашли в себе силы бежать, захватывать лучшие места. Все остальные вяло побрели следом и, войдя в помещение, валились с ног где придется.

В Газимурских*- Кавыкучах устроили «дневку», то есть однодневный отдых, и после второй ночевки на этом этапе отправились дальше. Полосину дневного пути одолели к полудню. Идти становилось все труднее, немилосердно пекло солнце, жажда томила. Додей, все тяжелее казались им нагретые солнцем кандалы, от тяжелого звона их гудело в ушах.

Еще тяжелее стало на сердце у Чугуевского, «когда мимо потянулись земли его родного села. Справа от тракта бугрится пашнями елань, слева широкая долина. Сиреновой дымкой отливает заколосившийся пйрей, медом пахнет подсыхающая кошенина. На бугре, в сотне шагов от тракта, около островерхого балагана, кружком сидят косари, обедают. За

*

*

237

балаганом чернеют телеги, чуть приметный, курится дымок костра.

Вдали под горой темнеет большой колок, а за ним также угадывается дым от костра. Колок этот хорошо знаком Андрею, и студеный ключ, что бьет из-под горы, и луг по ту сторону колка, и елань, густо заросшая голубичником. Четыре года тому назад работал он здесь на сенокосе с двумя братьями и женой Наташей, в тот год они и поженились, а осенью он ушел на службу. Этого сенокоса Андрею не забыть никогда, и теперь в памяти его всплывают картины той чудесной поры. И как же хорошо было косить ранним утром, когда на востоке, поминутно меняя краски, играет, разгорается заря. Отбитые с вечера литовки легко прошибают густую, мокрую от росы траву, а утренний холодок приятно освежает лица, потные спины косарей. А вечера после работы, разве можно забыть их? В тот год на бугре вблизи этого колка расположились четыре балагана. Вечерами у ярко пылающего костра собиралась молодежь, и сколько же там было веселья! Сколько песен пропели тогда! Пели так хорошо, что даже уставшие за день старики охотно слушали их до поздней ночи. Как хорошо это было, и как тяжело сознавать, что все это уже не повторится больше, что идет он мимо этих покосов, мимо родимых полей в кандалах, как самый тяжкий преступник, на вечную каторгу.

Во второй половине дня, верстах в десяти от своего села произошло то, чего так опасался Андрей,— встреча с односельчанами. Семья его соседей работала на сенокосе около самого тракта, старик Епифанцев с двумя сыновьями и невесткой гребли сухое и зеленое, как лук, сено.

Заслышав дробный перезвон кандалов, все четверо остановились, с любопытством и состраданием смотрели на проходившую мимо партию арестантов. Старший сын старика, Георгий, только в прошлом году вернулся со службы и теперь с радостью отдавался работе. Загорелый до черноты, в мокрой от пота рубашке, он, прислонив к плечу грабли, закуривал из кисета и, заметив в серой массе кандалников двух казаков, внимательно смотрел на них. Чтобы не встретиться с Георгием взглядом, Андрей потупился, смотрел себе под ноги. Он не видел, как изумленно взметнулись у Георгия брови, а кисет выпал у него из рук. Не удалось Андрею пройти незамеченным, узнал его Георгий...

В село входили перед вечером. Жара спала, низко над горизонтом склонилось солнце, на пыльную дорогу от домов и построек ложились длинные косые тени. Тракт здесь пролег

посреди одной из улиц села. И как раз на этой-то улице и находился дом Чугуевского.

По обе стороны дороги растянулись дома, усадьбы казаков.

В селе пустынно, все, от мала до велика, в поле, на покосе, дома лишь старики, старухи да бабы с ребятишками, они-то и глазеют на партию из оград и открытых окон. Андрей не смотрит по сторонам, избегает любопытных взглядов сельчан, чтобы не узнали его, не рассказали семье. Однако от пятистенного дома с тесовой крышей и белыми наличниками, что видится впереди, не может оторвать Андрей горестного взгляда. Ведь в этом доме родился, он и вырос. Здесь живут родные, близкие его сердцу люди, ждут от него весточки и уже подсчитывают месяцы, когда вернется он к родному очагу, а он... Вот в каком виде идет он мимо отчего дома!..

За эти три с половиной года почти ничего не изменилось в усадьбе Чугуевских. Так же приветливо четырьмя окнами смотрит в улицу старый, но еще очень крепкий дом, та нее скамеечка стоит у тесовых *ворот в улице. В огороде так же желтеют крупные шапки подсолнухов, ярко рдеет малиновый мак. По-прежнему торчит возле амбара осеченный с весны березняк, заготовленный для ремонта телег и на разные поделки. Только крыша сарая отремонтирована заново, сочно желтеет драньем и Новой берестой.

Сердце у Андрея болезненно сжалось, когда, поравнявшись со своим домом, отвел от него глаза. Отвернулся потому, что в кухонной половине дома открыто окно, и хотя шел он, глядя в сторону, но спиной и всем своим существом чувствовал на себе взгляд матери.

Чуть подальше за домом, на песчаном бугре играли ребятишки. Не раз видавшие проходящие мимо партии арестантов, ребятишки привыкли к этому и несколько их не боялись. Вот и сегодня, прекратив игру, они с любопытством рассматривали чалдонов¹ с железными цепями на ногах.

Комок подкатил к горлу Андрея, туман застлал глаза: ведь здесь, среди этих ребятишек, наверняка находится и его сын... Половину своей жизни отдал бы Андрей за то, чтобы подойти к сыну, взять его на руки, поцеловать, прижать к груди. Но который же из них сын? Или тот вон синеглазый, с облупившимся носом? Нет,, судя по фотокарточке, вот этот, темно-русый, в синей руб*ашонке? с черными, как спелая чере-

¹ Чаядо́нами обычно пазывают жителей Сибири, в дореволюционном же Забайкалье яалдо́нами звали каторжников.

муха, глазами. Придерживая левой рукой штанишки, мальчик широко раскрытыми глазами удивленно уставился на чалдона в казачьей фуражке, который так пристально смотрит на него, и по серым, небритым щекам чалдона катятся крупные, как горошины, слезы. Мальчик и не подозревал, что он, впервые в его маленькой жизни, смотрел на своего отца.

— Сынок... Ванюша!.. — со стоном прохрипел Андрей, протягивая к мальчику руки. Он уже повернулся и шагнул бы к сыну, если бы его вовремя не удержал Швалов. Андрей не слышал грозного окрика конвойного, не видел, как он замахнулся на него штыком. Чувствуя, что у него подкашиваются ноги, он судорожно ухватился за Степана. Так, держась за него, и добрал он до этапа.

ГЛАВА VI

Между большими селами казачьих станиц, в ложине, со всех сторон окруженной горами, приютилась небольшая крестьянская деревушка Горный Зерептуй. Три улицы деревушки, с церковью посредине, веером раскинулись по каменистому косогору. Густые заросли лесной чащобы — молодого березняка, боярышника, осинника, ерника и багульника — вплотную подошли к огородам села с трех сторон и тянутся далеко по склонам сопки.

Хорошо здесь весной, когда вокруг зазеленеет лес, зацветет лиловый багульник, белым цветом оденутся кусты дикой яблони, черемухи, а в напоенном их ароматами воздухе малиновым звоном заливаются жаворонки, на разные лады свистят, щебечут щеглы, красногрудые снегири, чечетки и множество других птиц.

Но не красотой природы прославилась эта деревушка, ибо это всего лишь небольшой уголок чудесной природы солнечного Забайкалья. Прославился Горный Зерептуй — в числе немногих таких же деревушек — по всей Сибири и далеко за ее пределами каторжной тюрьмой, что расположилась севернее села, у подножия большой горы. Обнесенная высокой каменной оградой, с вышками для часовых на углах, тюрьма, если посмотреть на нее с высоты птичьего полета, напоминала собою букву «Т». Внутри ограды расположились баня, прачечная, хлебопекарня и отгороженный от главного корпуса внутренней перегородкой тюремный лазарет с аптекой и больничными палатами.

С восточной стороны к тюрьме примыкали складские помещения, цейхгаузы, овощехранилище, ледники, солдатские казармы конвойной команды и стрелковой роты. С северной стороны по косогору, до самого арестантского кладбища, протянулся большой сад из лиственниц, сосен и берез вперемежку с кустами яблони. Западнее тюрьмы расположились большие дома под железными крышами: начальника Нерчинской каторги, начальника тюрьмы, их помощников, а также почта, тюремная контора и весь утопающий в зелени черемухового сада детский приют. Снаружи все это выглядело неплохо, мирно, ибо толстые стены тюрьмы не выдавали того, что творилось внутри, надежно скрывали от постороннего глаза страдания узников.

Сюда за многие тысячи верст шли под охраной штыков, тяжело звеня кандалами, борцы за народ, за свободу. Не всякому было по силам это шествие на каторгу, и многие гибли в пути. И не в диковину были случаи, когда рабочие по проводке телеграфной линии вдоль Сретенского тракта, копая ямы под столбы, натывались на скелеты людей со ржавыми кандалами на ногах. Немало каторжников обрели себе могилу здесь, в Горном Зерептуе. Пологий склон сопки, где приютилось арестантское кладбище, густо пестрит могильными холмиками. Кое-где торчат и новые и почерневшие от времени деревянные кресты. На некоторых могилах лежат тяжелые, из неотесанного камня, плиты, и чьей-то заботливой рукой выщербленные надписи на них извещают об имени и фамилии умершего.

Старожилы помнят и такой случай, по рассказам очевидцев, когда недален от тюрьмы, около сопки Трехсвятительской, погибли во время обвала в шахте тридцать восемь человек. Это были каторжники, работавшие на добыче железной руды, все они остались в шахте навечно, погребенные в ней заживо. Теперь уж имен и фамилий погибших не помнят в народе.

И вот в эту Горно-Зерептуевскую тюрьму прибыли в числе других и наши казаки Швалов и Чугуевский. Первые две недели вновь прибывшие находились в карантине. Их не выводили на работу, во время прогулок изолировали от прочих каторжников, и содержались они в особой «карантинной» камере.

По-разному вели себя в камере заключенные. Одни, такие, как Федотов, собираясь группами, отводили душу в разговорах. Другие старались уединиться, молча предавались горестным размышлениям. Высокий, угрюмого вида татарин Ахметов

целыми днями бродил по камере, тихо звеня кандалами, и, заложив руки за спину, о чем-то сосредоточенно думал. Нашлись и такие, что почти не горевали, даже шутили и смеялись, особенно отличался этим юркий, небольшого роста, чернобородый конокрад Трошка. Рассказывая о своих похождениях на воле, он сочинял всякие небылицы, хвастал своим умением воровать лошадей. Но таких, как Трошка, в камере было немного.

Тяжело переживали неволю Швалов и Чугуевский. Исхудалый, с обострившимися скулами Степан, на посеревших щеках которого уже появился первый пушок бороды, казался намного старше своих двадцати трех лет. Гнетущая тоска по воле, мысль, что в тюремных стенах пройдет вся молодость, лучшая пора его жизни, угнетали Степана и словно сковывали, парализовали все движения этого, совсем недавно энергичного, лихого казака, одного из лучших джигитов в сотне.

Когда всю камеру выгоняли на прогулку, Степан — в отличие от других — не прохаживался по песчаной площадке, а, отойдя в сторонку, не отрываясь смотрел на яркую зелень гор, вершины которых виднелись из-за высокой стены тюремной ограды.

Лучшей порой для Степана стала ночь, когда удавалось уснуть; тогда, хотя и во сне, он вновь видел себя вольным казаком: то в сотне среди друзей-казаков, то дома, в родной станице, работал в поле, ходил по зеленому лугу, купался в реке или мчался куда-то на резвом скакуне. И нередко горько плакал Степан, когда, проснувшись и чувствуя на руках и ногах кандалы, возвращался к суровой действительности.

Непомерно длинными казались Степану дни, которых впереди еще такое множество!.. Привалившись спиной к стене и обхватив колени руками, подолгу сидел он на нарах без всякого движения.

«Двадцать пять лет!.. — с ужасом думал он, глядя на закопченное, зарешеченное окно. — Стариком выйду отсюда, да и выйду ли еще? Эх, лучше бы уж сразу, как Инджугова...» И, вытерев украдкой набежавшую слезу, тяжело вздыхал, стараясь думать о чем-нибудь другом, но мысли упорно возвращались к одному и тому же — к тюрьме.

Не менее тяжело переживал и Чугуевский. Исхудавшее лицо Андрея густо заросло бородой, щеки ввалились, он не мог спать по ночам и едва прикасался к еде.

Соседом Чугуевского по нарам оказался политкаторжанин Жданов. Среднего роста блондин, с живыми серыми глазами, Борис Жданов отбывал каторгу в Акатуевской тюрьме, бежал

оттуда и после трехлетнего пребывания на воле был арестован жандармами, опознан вторично и с этой же партией пришел в Зерентуй.

Видя угнетенное состояние товарищей по несчастью, Жданов пытался утешить их, заговаривал с Чугуевским, но тот или вовсе уклонялся от разговоров, или отвечал односложно, неохотно. Только к концу второй недели понемногу втянулся Чугуевский в разговор со своим соседом. Разговор зашел о порядках в этой тюрьме.

— При таком режиме, как здесь, можно отбывать каторгу, — поведал Жданов. — И кормят неплохо, и в баню регулярно водят. Белье-то научились менять, не снимая кандалов?

— Научились, — ответил Андрей.

— И обращение тут со стороны надзора много лучше, чем в Акатуе, — продолжал Жданов и, видя, что Чугуевский слушает внимательно, рассказал о невыносимо суровом режиме в Акатуе, о жестокости начальника тюрьмы Бородулина.

• — Где же он теперь? — заинтересовавшись рассказом, спросил Чугуевский.

— Убили его наши политические в девятьсот шестом году. Сначала начальника каторги Метуса прикончили, а потом политзаклученный Иванов и этого угробил. Собаке — собачья смерть. Да, а про здешнего начальника я еще в Нерчинске слышал. Хороший, говорят, человек, Покровский по фамилии.

На второй день, ввиду окончания карантина, заключенных распределили по разным камерам, Жданов, Чугуевский и Швалов попали в шестую, где помещались политические.

Камера эта находилась на третьем этаже, из двух окон ее хорошо видно окруженное горами село Горный Зерентуй, речку, мост через нее и широкий, проторенный ногами каторжан тракт с белыми столбиками на косогоре.

Не успел Чугуевский и оглядеться на новом месте, как дверь в камеру открылась, и дежурный надзиратель, появившись на пороге, спросил:

— Кто из вас Чугуевский?

Вздрыгнув от неожиданности, Андрей поднялся с койки, на которую только что присел.

— Я Чугуевский.

— В караулку вызывают, на свидание.

У Андрея усиленно заколотилось сердце, потемнело в глазах.

— Свидание? — еле слышно переспросил он, судорожно

хватаясь за стену. И, опомнившись, заторопился.—Да, да, сейчас я, сию минуту.

Сопровождаемый выводным надзирателем по коридору, по каменным ступенькам лестницы, Андрей мчался, не чувствуя кандалов. Он и радовался встрече с родными и в то же время страшился ее.

«Значит, сказали Епифанцевы нашим, что видели меня в партии,— думал Андрей, чувствуя, как у него болезненно сжимается сердце при мысли о том, какое страдание принес он родным, матери.— Но кто же приехал-то, неужели Наташа?»

Вот и обширная, опаленная солнцем песчаная площадка тюремного двора, большие сводчатые ворота, с наружной стороны их гремят ключи. Маленькую железную дверь открыл русобородый надзиратель Фадеев.

Рядом с тюремными воротами деревянный, под цинковой крышей дом на две половины, в одной, которая поменьше,— караулка для привратника, другая приспособлена для свиданий. В комнате этой одно окно и два продольных барьера — высотой по пояс человеку. Между барьерами коридор, где во время свиданий находился надзиратель. Таким образом, встречающиеся, разделенные барьерами, могли видеть друг друга на расстоянии одной сажени и разговаривать в присутствии надзирателя, который тут же проверял передачи.

Наташа стояла за барьером, ожидая Андрея. Трудно представить себе то чувство, которое испытала Наташа, увидев и узнав своего Андрея... В ее воображении он всегда рисовался ей таким, каким ушел на службу: стройным, чернобровым казакom, с чуть заметным пушком на верхней губе и с волнистым, выбившимся из-под серой папахи чубом. Теперь же перед нею стоял худой, бритоголовый, бородатый старик в арестантской одежде, в ручных и ножных кандалах. Только глаза его, большие карие глаза, почти не изменились и смотрели на нее с такой же нежной грустью, как и четыре года тому назад. По глазам и узнала Наташа своего Андрея и, узнав его, залилась слезами.

Сцена эта взволновала даже старого, видавшего всякие виды надзирателя. И то ли потому, что очень был тронут он этим свиданием, то ли потому, что и сам происходил из казаков Калгинской станицы, Фадеев сжалился над Наташей. Он разрешил ей подойти ближе к мужу, в коридор, между барьерами, а сам даже вышел на крыльцо, прикрыв за собою дверь. Теперь Андрея с Наташей разделяла лишь перегородка барьера.

Целуя Андрея, Наташа обняла его и снова разрыдалась, уронив на грудь ему голову.

Андрей долго не мог вымолвить ни единого слова, душили его спазмы. Беззвучно шевеля губами, он клонился к голове Наташи, прижимал ее к себе правой рукой, обнять Наташу мешали наручники. Так и стояли они безмолвно, прижимаясь друг к другу, слезами заливая свое горе. Первая, со стоном сквозь слезы, заговорил* Наташа:

— Андрюша, милый мой!.. Как же это получилось-то? За что тебя?

— Наташа... кх-кх...— Андрей крутил головой, мял рукой горло, словно выдавливал из себя слова.— Обвинили нас... госпвди!.. в убийстве обвинили... а мы, Наташенька, не убивали, неповинны мы... видит бог... неповинны в этом.

— Да разве я виню тебя?.. Я сама это чувствую... знаю, что осудили зазря... Разлучили, злодеи проклятые!

Летели минуты, и сколько прошло их — оба не знали.

Андрей, прижимая к груди своей Наташу, мучительно обдумывал, как бы высказать ей то, что пришло ему на ум. Наконец решился.

— Наташа, милая моя!.. Я ишо не сказал тебе... Ведь меня... кх... кгх... навечно осудили. Не дождать тебе меня... Ты сына-то нашего береги, расти... А ежели найдется человек по душе...

Наташа поняла все. Она вздрогнула, точно кто ударил ее бичом. Подняв голову, она встретила глазами с Андреем, и во взгляде ее он увидел упрек.

— Ты... ты что сказал мне? — Голос Наташи обиженно дрожал, срывался н? хриплый, стонящий полусшепот.— Да как же это можно? Нет, нет, и не думай даже... Нас с тобой только могила — слышишь?— только могила разлучит...

Снаружи на крыльце^ послышались шаги, легкий стук в дверь, и в комнату, гремя связкой ключей, вошел надзиратель Фадеев.

— Ну, наговорились? Кончайте, на обед прозвонили. А вы не горюйте, можно ведь и повторить свидание. Пусть молодуха-то сходит к старшему^ нашему, Тихону Павловичу, он разрешит. Только завтра не надо приходить, дежурить будет Донцевич, он такой... Не стоит при нем. А послезавтра я дежурю, вот и приходи.

Обрадованная Наташа от души поблагодарила добродушного надзирателя и, поцеловав Андрея, сунула ему в руки узелок с гостинцами.

Уже в ограде, когда за ним захлопнулась железная дверь, Андрей, досадуя на себя, спохватился, как мало поговорил он с Наташей, не расспросил ее как следует про домашних, про сына. Успокоил себя надеждой, что через день вновь свидится с нею и тогда переговорит обо всем.

Политкаторжан в шестой камере находилось тридцать восемь человек. С одним из них, Лямичевым, Чугуевский познакомился. Андрей Андреевич Лямичев, высокого роста, русобородый, с умными серыми глазами, был также из казаков-забайкальцев Манкечурской станицы. Осужден он был в тысяча девятьсот шестом году па вечную каторгу за революционную деятельность среди казаков 1-й Забайкальской дивизии, где он работал писарем в штабе дивизии, за попытку, освободить из-под ареста матросов военного судна «Прут» и за организацию в тысяча девятьсот пятом году «Читинской республики».

Приободрившийся после свидания с Наташей, Чугуевский разговорился с Лямичевым, и тот рассказал о тюремных порядках, о надзирателях и начальстве.

— Среди надзора немало настоящих тюремщиков, такие, как помощник начальника Даль, надзиратели Сморгчевский, Донцевич, Седякин, да еще человек пять таких. Это, брат, такие зверюги, если бы дать им волю, они бы нас согнули в бараний рог. Но, на наше счастье, сам начальник тюрьмы, Иван Дмитриевич Покровский, очень хороший человек, потому и реншм у нас не каторжный. Обращаются с нами вежливо, только на «вы», работать ходим в мастерские по своему желанию, камеры днем у нас не замыкаются, и почти все мы учимся. У нас политическое, общеобразовательное учение каждый день бывает.

— Вот как? — удивился Чугуевский. — Признаться, я и не думал встретить такое в тюрьме. Где же вы книги берете?

Лямичев улыбнулся, хитро подмигнул собеседнику.

— У нас, брат, такая библиотека, что на воле-то и не сыщешь такую. На воле такие книги под запретом, а у нас они есть. Даже из-за границы получаем запретные издания: «Революционная Россия», «Социал-демократ» и всякие другие.

— Удивительное дело, — пожал плечами Чугуевский. — Как же вы их получать-то ухитряетесь?

— Это потому, что у нас везде свои люди. И в селе, и в Нерчинском заводе, и в самой тюрьме. — И, понизив голос, сообщил доверительно: — Доктор тюремный Рогалев Николай Васильевич, фельдшера и среди надзирателей человека

три, все это наши друзья. Вот через них-то мы и получаем почту, книги, все, что надо. Поэтому-то в нашей библиотеке, не говоря уже о таких, как Толстой, Пушкин, Некрасов, даже Карла Маркса есть книги, Энгельса, Ленина.

— А кто они такие?

— О-о, это, брат, самая-то головка и есть. Основатели социализма, вожди революции.

— О революции-то я слышал, в девятьсот пятом была.

— Это что, это подготовка* была к революции, а сама-то она, настоящая, социалистическая революция, еще впереди.

Сердце у Чугуевского усиленно заколотилось от радости.

— Значит, будет все-таки революция?

— Конечно, будет! Вы вот оба, я вижу, политически совершенно неграмотные.

Лямичев долго рассказывал Андрею о революции, о партии и о том, кто из политических каторжан и в какой партии состоит.

Впервые в своей жизни Андрей услышал о партии большевиков, о меньшевиках, эсерах, бундовцах и о других политических партиях, представители которых находились здесь, в шестой камере.

— Вон тот маленький, чернявый, Стручковский по фамилии, — эсер, а те двое, что сидят у стены, — Лямичев глазами показал на двух молодых людей, — это члены польской социалистической партии. А вон тот бородач — это наш староста Яковлев.

— А вы-то сами в какой же партии состоите? — полюбопытствовал Андрей.

— Я большевик. Тут нас много: Пирогов, Калюжный, Ильинский, Михлив — это все наши, большевики. Но самый-то главный у нас Миней Израилевич ГубеЯьман, он в одиночной нахрдится, только» на политзанятия да на лекции приходит. УмнейШий человек, большой революционер. Вы оба запишитесь в политкружок и завтра познакомитесь с Губельманом, лекцию он будет читать. Он так вам все объяснит, что малому ребенку будет понятно. А самодержавие, брат, на ниточке дер*жится последние годы. Это уж точно, наукой доказано. Так что, станичники, не вешайте голов, не вечно нам гнить на каторге^ не-ет* Не зря же еще Пушкин писал:

Оковы тяжкие падут,
Темницы рухнут, и свобода
Вас примет радостно у входа,
И братья меч вам отдадут.

И долго еще Лямичев рассказывал своим землякам о росте в России революционного движения, о неизбежной гибели капитализма. Как пение райской птицы, слушал Чугуевский все, что поведал его земляк о столь желанной свободе.

«Свобода»... слово-то какое хорошее! — думал он, восторженно глядя на Лямичева. — Что может быть на свете лучше и дороже свободы?»

Он готов был слушать Лямичева до утра, но голос дежурного надзирателя положил конец разговорам.

— На поверку станови-и-ись!

После проверки, когда все разошлись по своим койкам и приготовились ко сну, Лямичев подошел к Чугуевскому, сунул ему в руку небольшую пилку.

— Этой штукой перепилите заклепки и кандалы снимите.

Чугуевский с недоумением посмотрел на своего земляка.

— А как же потом? Ведь увидят.

— Никто ничего не скажет, у нас го так, не одни вы. А в случае, если большое начальство появится в тюрьме, нас предупредят, надеть их обратно недолго. Я вам завтра приготовлю винтовые заклепки, так что снимайте их смело, и пусть они лежат у вас под матрацами.

Первый освободился от кандалов Степан, и, впервые за время пребывания в тюрьме улыбнувшись, он широко развел руками:

— Легко как без них, будто гору сбросил с плеч!

Когда снял кандалы Чугуевский, в камере все уже спали. Вскоре уснул и Степан, но к Андрею после событий минувшего дня никак не шел сон. В первый раз после суда он был так радостно взволнован, а в душе его зародилась и крепла надежда на революцию, на возможность свободы. Радовало его и то, что Наташа будет его ледать, как бы долго это ни было.

«Послезавтра опять свижусь с Наташей... — думал он, глядя в дальний угол, закинув за голову руки, освободившиеся от цепей. — Поговорю с нею получше, горе ее облегчу: во-первых, приду на свидание без кандалов, побреюсь, а самое-то главное — про резолюцию ей расскажу, про социализму. Чтоб у нее надежда появилась, что дождется меня. Может, это еще и к лучшему? Не зря старики говорят: «Что бог дает — все к лучшему». Так же и тут.

Конечно, к лучшему, пока там суд да зуд, мы подучимся здесь, раскумекаем, что к чему. А в случае, борьба подымет-ся, как в девятьсот пятом, так уж мы-то постоим за свобо-

душку. И сами пойдем и людей поведем за собой. А революция, она, конечно, будет, ведь вон как говорит Лямичев, миллионы людей за нее борются. Да оно и так-то видно: что ни самые умные, ученые люди — те и на каторге. Ничего, было бы что ждать, дождемся, когда рухнут все эти темницы и братья меч нам отдадут. Как хорошо сказано!»

Так и уснул Андрей с мыслями о свободе. Она снилась ему всю ночь, он видел огромные, как море, толпы людей, над ними реяли, развевались алые знамена. Просыпался от собственного радостного крика и, засыпая, опять видел то же самое. То видел он, как рушатся стены его темницы, в образовавшуюся брешь он выскакивает наружу, вместе с другими узниками бежит, свободный, как ветер, по двору, озаренному солнечным светом. Впереди себя видит широко распахнутые ворота тюрьмы и опять толпу людей, а вместе с ними свою Наташу и надзирателя Фадеева, который, дружески улыбаясь, протягивал Ащфею эфесом вперед свою шашку.

• * *

Библиотека политических помещалась в специально отведенной для этого камере, рядом с шестой. В больших шкафах и на полках возле стен хранились книги. Свободной от книг была лишь одна стена, где стояла классная доска, висели географические карты, расписание работы библиотеки. Посреди комнаты большие столы, вокруг них табуретки, здесь проводилось чтение газет, журналов, здесь же проходили школьные занятия>

Сегодня среда, по расписанию день политической учебы первой группы^ поэтому шесть человек политкаторжан шестой камеры пришли на занятия. В числе их и Швалов с Чугуевским. *

Общенье с политическими, беседы на революционные темы действовали на наших казаков благотворно. Надежда на свободу, окрылила их, придавала им сил, оба они ободрились, повеселели. Днем они работали: Степан в кузнице Молотобойцем, Андрей* в столярной мастерской, и оба учились. Три дня в неделю уходило на общеобразовательную учебу, два дня на политическую. Теперь они уже знали и о революционном движении в России, о политических партиях, о рабочем классе, о назревании новой революции и не сомневались в ее неизбежности.

В библиотеку с книгами в руках вошел Губельман¹ — выше среднего роста, черноусый человек. Лицо его с тонкими чертами обрамляла небольшая бородка и густая шапка темно-русых, слегка выющихся волос. Но самым примечательным были его глаза. Карие, улыбчивые, пронизательные, они, когда Миней Израилевич разговаривал с кем-либо, казались, проникали в самую душу собеседника, завладевали всем его существом. Хорошо образованный, начитанный, но очень простой, корректный в обращении с товарищами, Губельман снискал к себе всеобщую любовь и уважение политкаторжан. Вот почему, едва он появился в библиотеке, все шестеро «учеников», приветствуя его, почтительно встали. Ответив на приветствие, Миней Израилевич подошел к своему столу и, положив на него книги, сразу же приступил к занятиям.

— Сегодня,— начал он мягким бархатистым голосом, которого никогда не повышал, так как слушали его всегда внимательно,— тема нашей беседы — Сибирь, точнее, Восточное Забайкалье, место каторги и ссылки.

Губельман подошел к классной доске и, мелом быстро начертив на ней контуры Забайкальской области, повел рассказ о том, с каким трудом осваивали Забайкалье русские казаки, строили крепости, обороняясь от нападения врагов, упорно продвигаясь вперед. Как затем его принудительным порядком заселяли крепостными крестьянами из России, оставшими солдатами, ссыльнопоселенцами. Затем Губельман стал рассказывать о том, какие природные богатства имеются в Забайкалье.

Рассказывал Губельман так интересно, красочно, что перед мысленным взором Чугуевского, одного из самых внимательных слушателей, как живые вставали картины родного Забайкалья: то шел он по горным кручам, где почти нетронутые хранились огромные запасы железных руд, олова, свинца, серебра и других ископаемых, то видел в падах дымные костры старателей-золотников, шурфы, отвалы промытых песков, широкие пади, где в пояс человеку вымахал густой, шелковистый пырей, обилием ярких цветов украшены склоны сопок и пестрые от пашен елани. Все дальше и дальше ведет за собой рассказчик, ведет мимо рек и озер, богатых рыбой,

¹ Подлинная фамилия Емельяна Ярославского — видного революционера и политического деятеля. В 1912 году Е. Ярославский отбывал каторгу в Горно-Зерентуевской тюрьме.

где находят себе пристанище множество диких уток, гусей и другой водоплавающей птицы. И вот уже перед глазами Андрея степь, огромная, без конца и края, степь, здесь на привольных пастбищах гуляют, плодятся табуны лошадей, принадлежащих богатым казакам приононских и верхнеаргунских станиц. Это их бесчисленные гурты овец и рогатого скота пасутся здесь круглый год, так как зимой в этих степях выпадает мало снега.

«И как он все это знает, удивительное дело! Вот что значит образованность!» — с восхищением глядя на Губельмана, думал Чугуевский, а сам, мысленно следуя за рассказчиком, воображал себя уже в тайге, дремучей, труднопроходимой тайге, где не в редкость такие места, что иди по ним день, и два, и три — и не увидишь ни одного пня. Только охотники-забайкальцы знают, как богата эта девственная тайга и пушниной и всяким другим зверем. И приходилось убивать охотникам не только лосей, медведей и диких кабанов, но даже и тигров и леопардов¹.

— И вот в этом-то богатейшем крае,— продолжал Миней Израилевич,— где неисчислимые богатства недр лежат почти нетронутыми, где нет ни одного промышленного предприятия, расположено семь тюрем Нерчинской каторги: это Ака-туевская тюрьма, Алгачинская, Нерчинская, Кутомарская, Кадаинская, где отбывал ссылку известный революционер-демократ и писатель Н. Г. Чернышевский. Там же отбывал ссылку и умер поэт-революционер М. И. Михайлов. Затем наша Горно-Зерентуевская тюрьма, и в пяти верстах от нее Мальцевская женская тюрьма, где сейчас томятся наши товарищи-шэволюционеры: Мария Спиридонова, Анастасия Биценко, Мэдшя Школьник, Ревекка Фиалка и другие. А здесь вот,— Губельман отметил мелом на карте*— в двух верстах от Горного Зерентуя, находится деревня Благодатское. Здесь отбывали каторгу декабристы Муравьев, Трубецкой, Волконский, Оболенский, Давыдов и другие.

Подробно рассказав о жизни и работе декабристов в Сибири, М^ней Израилевич в заключение прочитал своим слушателям поэму Некрасова «Русские женщины».

Лекции эти целиком¹ захватывали впечатлительного, любознательного Чугуевского. Он, если бы можно было, согласился бы слушать Губельмана до поздней ночи.

¹ Тигры неоднократно заходили в приаргунскую тайгу из Маньчжурии. В Читинском музее хранятся чучела тигра и леопарда, убитых в Забайкалье. Шкура убитого в Забайкалье тигра хранится в педагогическом училище города Баяна, Читинской области.

И вот ночью, когда все в камере погрузились в сон, Чугуевский мало того что не спит, но не дает уснуть и Швалову.

— До чего же он хорошо все объясняет, Губельман-то, а? — тормозил Андрей начинающего засыпать Степана. — Вот какие люди-то бывают на свете! И такого умнейшего человека на каторгу сослали! Вот они какие, порядки-то, у нас...

— Ага, — поддакнул Степан и, потянув на себя серое суконное одеяло, зевнул. — Ты бы спал, Андрюха.

— Сейчас, сейчас, — шепотом, чтобы не разбудить спящих, ответил Андрей. — Нет, ты послушай только. Ведь скажи как получается: мы живем здесь спокон веков, а про декабристов и не слыхивали, а они вот где, оказывается, находились, рядом. Да ты не спи, Степан, не выспишься потом, што ли? Некрасов как хорошо написал про княгиню-то, что к мужу в Сибирь приехала! Жалобно так, прямо за сердце берет. И про Благодатское-то упомянул Некрасов. Я видел заключенных, здоровы они. Живут в руднике Благодатском. А что, моя Наташа тоже, брат, не хуже этой княгини! Ты спишь?

Степан не ответил, он уже спал.

Г Л А В А VII

Десять месяцев прошло с той поры, как пришли на каторгу Чугуевский и Швалов. На дворе стояла весна. Из окон шестой камеры видны освободившиеся от снега поля, синие от множества цветущего ургуя¹ склоны сопки и затянутые дымным маревом горы на горизонте. А по ночам видно, как по дальним и ближним сопкам ползут, причудливо извиваясь, золотистые змейки весенних палов.

Зимой произошла смена начальства: старый начальник тюрьмы выслужил долгожданный срок, уволился на пенсию, его заменил временно назначенный на должность начальника штабс-капитан Чемоданов. К великой радости политических, Чемоданов оказался человеком неплохим, к политическим относился благожелательно и не нарушил порядки, установившиеся при старом начальнике. Так же, как и при Покровском, политические работали в мастерских, учились, читали запрещенные цензурой книги, так же держали связь с внешним миром. От Лямичева Чугуевский узнал, что запретные книги, газеты и вся переписка с партийными организациями идет через местного купца Квасова. В тюрьму же все это до-

¹ У р г у й — подснежники, самые ранние цветы.

ставляют друзья политических — тюремные фельдшеры Крылов, Пляскин и надзиратели Иван Бекетов и Емельян Акимович Балябин, за могучую фигуру и широкую, как веник, бороду прозванный «Дедом».

Печальную новость получили политические в один из теплых апрельских дней. На этот раз, кроме десятка газет, двух книг и журнала «Революционная Россия» за 1910 год, нелегальная почта доставила письмо на имя старосты политических Яковлева.

Дело это было вечером, после ужина.

Сидя на своей койке, Чугуевский видел, как, читая письмо, посуровел лицом Яковлев.

— Худо дело, товарищи, — закончив чтение письма, произнес Яковлев и по давней привычке тронул рукой свою роскошную светло-каштановую бороду. — Едет к нам новый начальник тюрьмы, Высоцкий по фамилии. О нем вот и пишет товарищ мой из Петербурга, Петров.

— Откуда же он узнал?

— Их партийная организация имеет своих людей в главном тюремном управлении. Петров пишет, что Высоцкий такой яверь, каких немного и среди тюремщиков. В сегодняшнем журнале «Революционная Россия» есть и статья про жестокости этого Высоцкого, которые творил он, будучи начальником Николаевской тюрьмы на Урале.

Это сообщение встревожило всю камеру, по рукам пошли письмо Петрова и журнал, где описывались зверские выходки Высоцкого. Настроение у всех испортилось, загрустил даже весельчак Михлин. Он сидел на своей койке и, облокотившись на колейр, подперев щеку рукой, мурлыкал себе под нос грустный напев:

Ночь тиха, лови минуты,
У тюрьмы стены крепки.
А на дверях ее, замкнуты, *
Висят огромные замки.
И вдали по коридору
Огонек сторожевой,
Там, звеня шашкой о шпоры,
Ходит мрачный часовой.

Разговоры с Высоцкого перекидывались на другие ка-
торжные темы, возникли рассказы из страшной тюремной
действительности: о дерзких по замыслу, смелых по испол-
нению побегах с каторги, о жестоких расправах с неудачни-
ками. А Яковлев с группой товарищей уже советовался, как
быть с библиотекой, какие и куда запрятать книги.

Утром Чемоданов, как всегда, принимал у себя в кабинете старшего надзирателя Черевкова.

Назначенный на должность старшего Покровским, Черевков был под стать своему начальнику, терпеть не мог жестокого обращения надзирателей с заключенными вообще и ни в чем не притеснял политических, за что снискал к себе их уважение. Высокого роста, блондин, с голубыми глазами и небольшими усиками, Черевков был бы настоящий красавец, если бы не портил его внешность сильно косивший правый глаз.

Выслушав доклад Черевкова о состоянии тюрьмы, о раскомандировке на работы, Чемоданов молча кивнул ему головой, — это означало, что старший может быть свободен. Он уже принялся просматривать лежащие перед ним бумаги, но, заметив, что Черевков и не собирается уходить, спросил:

— Еще что-то есть у вас, Тихон Павлович?

— Да тут такое дело, ваше благородие... — Черевков смущенно кашлянул, переступил с ноги на ногу. — Новый начальник к нам едет.

— И пусть едет, я его давно жду.

Черевков сокрушенно вздохнул.

— Видите, в чем дело, ваше благородие: начальник-то едет уж больно строгий, прямо-таки зверского характера человек.

— Откуда вам это известно, — удивился Чемоданов, — да еще с такими подробностями? Я, начальник, в данное время ничего не знаю об этом, вчера вечером был у начальника каторги, и он ничего не говорил мне о новом начальнике.

Черевков обнажил в улыбке ровные, белые, как кипень, зубы.

— Начальник каторги может и не знать об этом, а вот политическим уже все известно.

— Удивительно! Сорока на хвосте им приносит, что ли?

— Есть такой разговор, будто у них свои почтовые голуби имеются, только я их не видел и не верю этому. Какая-то другая у них почта. Одно знаю: если они сообщили какую-либо новость, — это у нас точно.

— Чудны дела твои, господи! — Чемоданов, улыбаясь, покачал головой. — Помню, как мы в минувшую войну, если надо узнать дислокацию какой-либо нашей воинской части, справлялись не в штабе армии, а у пленных японцев. Расположение русской армии японские офицеры знали лучше, чем наши генералы. То же самое получается и здесь.

Днем Чемоданов сходил к начальнику каторги Забелло, побывал в тюрьме, обошел мастерские. Шел, по-хозяйски

осматривая обширное тюремное хозяйство, замечая, где и что исправить к приезду грозного начальства. К вечеру вызвал к себе Черевкова и долго совещался с ним о предполагаемой работе по наведению в тюрьме «порядка».

— И за кандалы надо приняться завтра же, безобразие, в самом-то деле: у нас не только политические, но и уголовные не носят кандалов.

Черевков согласно кивнул головой.

— Я 'уже' думал об этом. Завтра возьмусь за них, уголовных перекуем, а политики, я думаю, не подведут, сами надедут кандалы.

— Можно и так. — И, вспомнив свой разговор с начальником каторги, рассмеялся: — А Николай Львович и в самом деле ничего не знает о приезде нового начальника.

— Я же вам говорил.

— Да. Еще одно дело я согласовал с Николаем Львовичем — вопрос о политических. Он разрешил десять человек из них перевести в Кутомару. Начальник там Ковалев, хотя и строгий и самодур, но политических он не притесняет. Давайте наметим, кого отправить.

— Гйините Губельмана.

— О нет, я тоже его и Пирогова наметил, но Николай Львович на дыбы: «Что вы, говорит, самую головку отправить хотите? Узнают об этом в Чите — скандалу не оберешься». Так и не разрешил. Придется оставить их здесь. Но я думаю, что за Губельмана нечего бояться, находится он в одиночке, интеллигентный человек, всегда такой деликатный в обращении. Я полагаю, что возникновение какого-либо конфликта с ним прямо-таки невозможно, тем более что и отбывает-то он уже последний год.

Ход'я эти доводы и казались Чемоданову убедительными, но, слушая его, Черевков отрицательно покачал головой.

— Так-то оно так, ваше благородие. Губельман, конечно, человек скромный, вежливый, но ведь и вы к нему относились по-человечески. А что будет при другом обращении, при зверском? «

Чемоданов лишь пожал плечами.

— Что бы тем ни было, Тихон Павлович, это уже не в нашей власти. Давайте хотя десять-то человек отправим от греха подальше.

Через несколько минут список намеченных к отправке в Кутомару был составлен. В список в числе десяти политкаторжан попали Яковлев, Ильинский, Жданов и Лямичев.

Тихое вставало утро. Солнце чуть приподнялось над горбатой, в бурых зарослях молодого березняка сопкой. Веяло утренней прохладой, а в тени домов, заборов и тюремной стены на сухих стеблях прошлогодней лебеды и подорожника еще не стоял пушистый иней. Со стороны начавшего трудовой день поселка доносился нестройный, разноголосый хор звуков: пели петухи, мычали коровы, стучали топоры домохозяев, тарахтели телеги. И, покрывая все эти звуки, далеко окрест разносился мерный, тягучий гул церковного колокола: звонили к ранней обедне, так как шел великий пост, старики и старухи говели.

А Черевков уже приступил в тюрьме к наведению «порядка». С раннего утра началась там суетливая лихорадка приготовления к смотру. Везде, куда ни глянь, копошились серобелые фигуры заключенных: чистили, скребли, мыли в камерах, коридорах, на лестницах. Они же помогали делать приборку в складских помещениях, подметали внутри и снаружи тюремного двора, свежим песком посыпали дорожки, а в кухнях наново лудили котлы. Но особенно оживленно и шумно возле тюремной кузницы, там с утра стоял немолчный кандалный звон, перестук молотков, гудел ярко пылающий горп и тяжело, шумно вздыхал кузнечный мех. В углу около горна гряда желтых от ржавчины кандалов.

Из тюрьмы непрерывно подводили все новых и новых каторжников из разряда испытуемых¹, а от кузницы их, уже закованных в железо, партиями вводили на работы. Переливчатый звон кандалов не смолкал ни на одну минуту.

В кузнице работало четверо кузнецов. Заклепать кандалы — дело нехитрое, и кузнецы, имеющие большую практику, исполняли это на редкость ловко и быстро. К наковальне, на которой работал угрюмого вида рыжебородый кузнец, подошел очередной каторжник — тщедушный человек с худощавым, болезненного вида лицом и реденькой козлиной бородкой. Повернувшись спиной к горну, он, согнув левую ногу в колене, покорно поставил ее носком на чурку. Молотобоец быстро накинул на него кандалные скобы, так что они ушками легли на наковальню. В ту же минуту кузнец клещами выхватил из горна раскаленную докрасна заклепку, поставил ее в отверстие скобы, проворно ударил по ней молотом, и через минуту узник был надежно закован в кандалы.

¹ По тюремным инструкциям царской России, осужденные на каторгу определенный срок числились в разряде испытуемых, они содержались в более строгой изоляции и в кандалах.

— Следующий! Шевелись живее! — то и дело покрикивал сердитый кузнец на своих же товарищей по несчастью. А в ответ ему слышались то робкие, просящие, то злобные, с угрозой возгласы:

— Чего орешь? Шкура лягавая!

— Дай ему кандалой-то по дыхалу!

— Ставь другую, ну!

— Не нукай, не запряг ишо, курвинский род!

— Следующий!

— Выбери, Панкратов, кандалы-то какие полегче, ревматизма у меня в ногах-то.

— Ногу давай! Ну!

—! Эхма-а!

Возле кузницы выстраивалась очередная партия «закованных». Охрипший от криков рыжеусый фельдфебель, желтым от курева пальцем тыча в грудь стоящих в переднем ряду, отсчитывал попарно: *

— Двадцать,- двадцать два, двадцать четыре. Хватит! Масло, принимай! Поведешь энтих на кирпичный. Што-о? Мало конвоиров? Возьми четверых у Игнатова. Стручков, готовься, поведешь в пятый разрез.

Чемоданов сидел у себя в кабинете, просматривал месячный отчет, когда к нему в сопровождении конвоира пришел староста политических Яковлев для разрешения обычных хозяйственных вопросов, касающихся заключенных шестой камеры.

Этот всегда спокойный, рассудительный бородач с первой же встречи понравился Чемоданову, особенно после того, когда узнал он, что Яковлев даже в тюремных условиях находит время и возможность заниматься литературой. И когда Чемоданову удалось прочесть отрывки из довести о нерчинских каторжниках, написанной Яковлевым, он убедился, что староста политических человек очень талантливый. С того времени Чемоданов почти всякий раз, когда приходил к нему староста, после разрешения деловых вопросов заводил с ним разговоры о литературе, о прошлом Яковлева, о его скитаниях по тюрьмам. Заговорил он с ним и сегодня.

— Вы слышали, Яковлев, что к нам едет новый начальник? Откуда эти слухи? * •

Тронув рукой роскошную бороду, Яковлев скупно улыбнулся.

— Для нас это не слухи, господин начальник. То, что к нам едет один из самых свирепых тюремщиков Высоцкий, это, к сожалению* правда.

— Да, я слышал об этом. Поэтому мы принимаем кое-какие меры, в частности десять человек политических из вашей камеры переводим в Кутомарскую тюрьму. Начальник там, Ковалев, хотя человек крутого нрава, но политических он не обидит. Во всяком случае он не такой тиран, каким нам представляется Высоцкий.

— Господин начальник!..— голос Яковлева дрогнул от охватившего его волнения.— Мы — и я и мои товарищи глубоко благодарны вам за вашу благожелательность и человеческое к нам отношение. А это ваше намерение уберечь от Высоцкого десять человек наших не забудем никогда.

— Ну что вы, Яковлев! — розовея в лице, смутился Чемоданов.— Не стоит благодарности. Это я просто так, по просьбе Ковалева, перевожу к нему десять человек мастеровых.

Яковлев понимающе улыбнулся. Чемоданов достал из выдвижного ящика стола список, протянул его старосте.

— Ознакомьтесь с этим списком и всем, кто в него занесен, объявите, чтобы готовились в дорогу. Послезавтра вас и отправим.

Яковлев быстро пробежал по списку глазами, отрицательно покачал головой.

— Будет исполнено, господин начальник, но только меня прошу из списка вычеркнуть.

Откинувшись на спинку стула, Чемоданов удивленно воззрился на старосту.

— Это почему иге?

— Потому, господин начальник, что я староста политических, то есть руководитель их в некотором роде. А раз так, то покинуть их в трудную минуту считаю бесчестным.

— Но ведь вы не по своей воле идете в Кутомару.

— Все равно, по долгу совести я обязан и буду просить, добиваться, чтобы меня оставили с ними. Очень прошу вас, уважьте эту мою последнюю просьбу. Пошлите вместо меня Губельмана.

— Губельмана нельзя, не разрешили. Что же касается вас, то менять своих решений я не намерен. Приказ об этом уже подписан, согласован с начальником каторги, на вас готовы постайные списки. Словом, вы в числе десяти последуете в Кутомару.

Как ни упрасивал его Яковлев, Чемоданов был непоколебим в своем решении. И уже глядя услед уходящему, расстроенному его отказом старосте, с невольным восхищением подумал:

«Удивительный народ эти политические, и как высоко у них развито чувство товарищества! Уж вот действительно «все за одного, один за всех». Нет, оставить здесь Яковлева нельзя».

Официальное сообщение из Читы о назначении нового начальника тюрьмы было получено в тот день, когда десять человек политических, в том числе и Яковлева, уже отправили в Кутомару. А ночью нагрянул и сам Высоцкий.

Днем, накануне приезда Высоцкого, Чемоданов распорядился Губельмана из одиночки перевести в шестую камеру. Политические сразу же избрали Минея Израилевича своим старостой вместо выбывшего в Кутомару Яковлева.

Утром новый староста, по примеру своего предшественника, ходил к Чемоданову, чтобы разрешить там кое-какие вопросы, передать письма, просьбы товарищей. Там он и узнал о приезде Высоцкош).

— Приехал, сукин сын,— рассказывал Губельман, вернувшись в камеру.— Ночью приехал и, не спросясь, прямо на квартиру к Чемоданову ввалился — вот какой нахал! Самого его я не видел, а надзирателей, что с ним приехали, посмотрел. Такие разбойничьи морды! Сразу видно, что палачи, тюремщики.

— Так он что же, и надзирателей своих привез?

— Да, да, трех надзирателей,— конечно, таких же негодяев, как и сам. Но вот что 'более всего удивительно: птичек с собой привез из Питера — клетку с канарейками.

— Птиче-е-ек?

— Из41итера?

— За шесть тысяч верст! Вот это номер!

— Прямо-таки удивительно,— продолжал Губельман.— Денщик Чемоданова, Ефим, рассказывал мне, пока я ожидал приема: «Утром, говорит, только проснулся — и сразу к своим птичкам, кормит из своих рук, чистит, видно, что любит их». Вот какие дела: для людей тиран, а в канарейках души не чает. »

По предложению^ Губельмана, чтобы не подвести Чемоданова и Черевкова, политические — все, которым полагалось быть закованными,— в тот же день надели кандалы..

— Кончились наши вольготности,— с глубоким вздохом проговорил Чугуевский, накрепко завинчивая заклепки кандалов.

— Кончились,— уныло подтвердил Швалов,— Поминать будем Чемоданова часто.

Приемку и сдачу тюрьмы начали на следующий день. В коридоре главного корпуса с утра толпились свободные от дежурств надзиратели. Широкий коридор этот, соединяющий два этажа, проходил через весь главный корпус тюремного здания. Хотя на дворе яркое, солнечное утро, в коридоре сумеречный полумрак, так как узкие зарешеченные окна продольной стены, обращенные к северу, мало пропускают света. В стене напротив двери — камеры второго и третьего этажей. Вдоль этой стены, на уровне второго этажа, приделан балкон с железным настилом, шириной в сажень, обнесенный по краю чугунной решеткой. По самой середине коридора висит железный мост, соединяющий балкон третьего этажа с лестничной клеткой. От лестницы начинаются коридоры северного придела, названного почему-то «глаголем».

В восточной части главного коридора устроен алтарь тюремной церкви. Здесь все так же, как и в обычных церквях, только молящиеся во время церковной службы делились на две половины. В восточной, ближе к алтарю, молились тюремные служащие, их семьи и солдаты местного гарнизона; в западной половине — отделенные толстой решеткой заключенные. А на железном мосту — над молящимися — стройно распевал хор певчих, состоящий из заключенных, под руководством церковного дьякона.

В ожидании начальства надзиратели выстроились двумя шеренгами в западной половине коридора. Правофланговым первой шеренги стоял Донцевич, саженного роста детина, известный в тюрьме зверским обращением с заключенными. По этой причине Черевков никогда не назначал Донцевича дежурить в коридоре, где находились камеры политических, хотя при Покровском и Чемоданове он заметно сбавил свою прыть. Рядом с Донцевичем — широкоплечий, могучий, как старый дуб, Дед — Емельян Акимович. На широкую выпуклую грудь Деда, украшенную тремя Георгиями и медалями, волнами спадала черная, в мелких колечках борода. По сравнению с Дедом стоящий рядом малорослый Фадеев казался подростком.

Наконец появилось начальство: Чемоданов, его помощник Даль и, в сопровождении трех «своих» надзирателей, Высоцкий — небольшого роста, сутулый блондин, с жидкими белесыми усами на багровом лице и маленькими злыми глазами оловянного цвета. Чемоданов заметил, что многие из его бывших подчиненных недовольны приездом Высоцкого. Мрачнее осенней тучи выглядел Дед, хмурились Бекетов, Фа-

деев, зато лицо Донцевича светилось нескрываемой радостью. Но больше всех радовался Даль — маленького роста старикашка со сморщенным, как печеное яблоко, безбородым лицом. Он был одним из самых свирепых тюремщиков. Как Покровского, так и Чемоданова Даль ненавидел от всей души и теперь, хотя Чемоданов фактически был еще начальником, демонстративно обращался не к нему, а к Высоцкому, при этом с плюгавого личика Даля не сходила подобострастная улыбка.

Едва Чемоданов выслушал рапорт, как Даль уже подскокил к Высоцкому и, приложив руку к козырьку фуражки, осведомился:

— Откуда прикажете начать, ваше высокоблагородие?

Окинув ретивого помощника благосклонным взглядом, Высоцкий как-то странно — одними губами — улыбнулся.

— Начнем с третьего этажа, с восьмой камеры, — и кивком головы показал на *евтх* надзирателей. — Возьмите моих людей в помощь и действуйте.

— Слушаюсь, ваше высокоблагородие! — Даль жестом приказал надзирателям следовать за ним и бойко, по-молодому повернувшись «налево кругом», помчался вверх, бряцая шашкой по каменным ступеням лестницы.

«Каков негодяй! — удивился Чемоданов, слушая, как распоряжается Высоцкий. — В тюрьме еще не был, а уже знает нумерацию и расположение камер, подробную получил информацию».

Вскоре сверху, по железному настилу моста и вниз по лестнице прогрохотала, звеня кандалами, первая партия уголовных. В середине коридора уже поставили длинный стол, писарь выложил на него несколько кип статейных списков. Катб>тников выстроили ^двумя рядами, вдоль коридора, приемка началась. Писарь по алфавиту выкликал заключенного, тот выходил из строя, подходил к столу, Высоцкий спрашивал, за что судился, пробегал глазами статейный список, вызывал следующего. "Чемоданов сидел молча сбоку стола, предоставив -Высоцкому свободу действий.

Восьмую^и седьмого камеры приняли быстро, без задержки. И вот по балкону третьего этажа звенят кандалы политических. Не торопясь сходят они по лестнице, выстраиваются недалеко от стола, постепенно затихает кандалный звон.

Чугуевский стоял пятым в первой «шеренге, рядом с Губельманом, и видел, как Миней Израилевич, встретившись глазами*с Ч*модановым, чуть приметно кивнул ему головой,

и бывший начальник ответил ему тем же. Этот мимолетный обмен приветствиями не ускользнул от внимания Высоцкого, но он не сказал ничего, лишь сердито покосился на Чемоданова и обернулся к писарю:

— Начнем!

— Михлин Евсей! — вызвал писарь и положил перед Высоцким тоненькую папку — статейный список.

Любимец всей камеры, всегда гладко выбритый, молодой и веселый Михлин вышел из строя.

Высоцкий внимательно осмотрел его с головы до ног.

— Ты за что судился?

Михлин вспыхнул, карие глаза его гневно сузились, близко сошлись над переносицей тонкие черные брови.

Высоцкий повысил голос.

— Ты что, оглох?

— Прошу не «тыкать», отвечать на «ты» не буду.

— Ах, вот как! — меняясь в лице, воскликнул Высоцкий и, обернувшись к своим надзирателям, только глазом повел на непослушного, как они, словно разъяренные псы, набросились на беззащитного Михлина и, схватив его за руки выше локтей, поволокли в конец северного коридора, в карцер.

Вторым вызвали Пирогова, но и он поступил так же, как Михлин.

Взбешенный таким сопротивлением, Высоцкий, указывая пальцем на Пирогова, заорал, топая ногами и обращаясь к стоящим в строю старым надзирателям:

— Взять его! Взять! В карцер!

В ту же минуту из строя на Пирогова ринулся Донцевич. Очередь была за Дедом, но он и глазом не моргнул, продолжал стоять недвижно, нахмутив мохнатые брови. На помощь Донцевичу поспешил Смердов из второй шеренги и помощник Даль.

Когда в карцеры было уведено двенадцать человек, к Высоцкому подошел Черевков и, взяв под козырек, доложил:

— Ваше высокородие, карцеров у нас больше нет!

Кинув на Черевкова короткий злобный взгляд, Высоцкий опустил на стул и, очевидно желая успокоиться, стал молча барабанить пальцами по столу. С лица его медленно сходил багрянец. Тягостное воцарилось молчание, молчали застывшие в строю надзиратели, молчали недвижные, поредевшие шеренги политических, лишь из северного коридора доносился топот ног — возвращались надзиратели, удивившие узников в кар-

церы, да из камер доносились приглушенные толстыми стенами глухие отголоски людского говора, звон кандалов.

Чувствуя локтем стоящего слева Губельмана, Чугуевский стоял, как и все, не двигаясь, и не отрываясь смотрел на зарешеченные окна, на квадратички нежно-голубого неба, на легкие, белые, как лебяжий пух, облака. Там сейчас яркий, теплый день, ласково греет солнце, там ключом бьет жизнь, все живущее на земле ликует, радуясь наступающей весне. А здесь, в этом мрачном, сыром каземате, озверевшие, обложенные властью люди угнетают других, бесправных, закованных в железо людей. Тяжко вздыхая, Андрей переводил взгляд в другой конец коридора и там, в сумеречном свете, видел багряную полосу церковного занавеса, закрывавшего иконостас, видел икону, намалеванную на стене. И казалось Андрею, что скорбный лик Спасителя осуждающе смотрит на все, что творится сегодня в этом коридоре.

— Та-ак... — проговорил наконец Высоцкий и, скосив глаза на писаря, приказал: — Следующий!

— Губельман! — вызвал писарь.

— Ага-а! — сощурив глаза, Высоцкий пристально посмотрел на вышедшего из строя Миней Израилевича. — Это и есть Губельман? Та-ак... — Он перевел взгляд на статейный список и, явно избегая местоимений, спросил уже в третьем лице: — Судимость Губельмана?

Гордо вскинув голову, Миней Израилевич смерил начальника презрительным взглядом и, не повышая голоса, ответил:

— Из чувства солидарности с товарищами, брошенными в карцеры, я также отказываюсь отвечать!

Оловяннице глазки Высоцкого злобно вспыхнули, а сам он, опираясь руками о стол, снова поднялся со стула и, глаз не сводя с Губельмана, прохрипел срывающимся на визг голосом:

*

— Эт-то что таное?... Сговор? Бунт? Не нравится? Привыкли к этой... богадельне! — И, хлопнув ладонью по столу, резко обернулся к Чемоданову: — Вот до чего довели тюрьму! Полюбуйтесь, господин штабс-капитан! Это не тюрьма, а бардак]

*

И снова лицо его стало кирпично-бурого цвета, искрились насланные злобой глаза, а поперек лба, вздуваясь, пульсировала синяя жилка.

— Но я вам не Покровский! — орал, он, грозя кулаком в сторону недвижно стоящих политических. — Я вас... вы у меня узнают*! Скоро узнаете, что здесь не гостиница, а тюрьма!

Да, да, каторжная тюрьма! А вы не гимназисты здесь, а государственные преступники! Понятно вам? С этого дня здесь нет ни политических, ни уголовных, а есть ссыльнокаторжные. Завтра же всех на работу, в шахту, в разрез! К черту, к дьяволу, и никаким никому поблажек, хватит вам баклуши бить! — И к Далю: — Кто разрешил библиотеку иметь в тюрьме? Книжки, запрещенные цензурой! Кто, я вас спрашиваю?

Почтительно согнувшись, Даль поднес дрожащую руку к козырьку.

— Позвольте, ваше высокоблагородие, это при Покровском открыли. Я докладывал начальнику каторги и в главное управление, его превосходительству фон Туббе, рапорт...

— Опечатать, закрыть сейчас же! Развели тут источник саразы.

— Слушаюсь, ваше высокоблагородие!

С тяжелым сердцем шагал Чугуевский, когда погнали их обратно в камеру. Он хорошо понимал, что самое трудное впереди, что это всего лишь начало настоящей каторги.

Г Л А В А VIII

Во второй половине мая 1-й Аргунский казачий полк, в котором служил Егор Ушаков, выступил в летние лагерь. В этом году место для лагерей Аргунскому полку отвели в станице Калгинской, верст на шестьдесят южнее Горного Зерентуя.

День был праздничный, когда по улицам Сретенска походным порядком, ощетинившись пиками, двинулся полк.

Построенные по шесть всадников в ряд, сотни шли с песнями. Следом за полком по булыжной мостовой громыхали зеленые повозки полкового обоза, пулеметные тачанки, дымили походные кухни.

В четвертой сотне завели было старинную казачью песню, но вахмистр, сдерживая танцующего под ним вороного скакуна, заорал на запевалу, сердито округляя глаза:

— Отставить... вашу мать! Завели, как на похоронах! Запевай веселую: «Девки в лес по малину...»

Черноусый казак, запевала Зарубин, смеясь, покосился на вахмистра.

— Нехорошо, однако, будет, господин вахмистр! Народу ить полно в улицах-то, девки вон, бабы.

— Запевай, тебе говорят! Я отвечаю за все!

— Валяй, Пашка, смелее!

Жмуря в улыбке глаза, Зарубин тряхнул черным как смоль чубом и начал запев:

Вдоль да по речке, вдоль да по Казанке
Серый селезень плывет...

И сотня, как отрубила, грохнула припев:

Три деревни, два села,
Восемь девок, один я,
Ку-у-уда девки, ту-уда я.
Девки в лес по малину...

И тут певцы понесли такую похабщину, что стоящие у ворот большого дома девушки как дождь сыпанули в ограду. В доме напротив женщина в белом платке захлопнула окно. А Зарубин, подмигивая смеющимся молодухам, что стояли в толпе парней и Ноя;илы^ казаков, продолжал все в том же духе, ^ахмистр,. довольно улыбаясь в пшеничные усы, ехал сбоку сотни и в такт песне помахивал нагайкой.

К исходу третьего дня подошли к станице Больпе-Зерентуевской, где решили остановиться для ночевки. До поскотины полк шел на рысях, на подходе к селу сбавили аллюр, усталые припотевшие лошади охотно перешли на шаг. Предвкушая скорый отдых, веселый вечер, встречи с девушками, казаки повеселели, подтянулись, на ходу выравнивали ряды, поправляли амуницию. Четвертая сотня, по приказу вахмистра, при въезде в село первая резанула песню:

* Из-за лесу, лесу копий и мечей
% Е-е-е-дет сотня казаков-лихачей.
Э-э-э-эй, жги, говори: ,
• Е-е-е-едет сотня казаков-лихачей.
Впе-реди*их есаул молодой,
Веде-е-ѣт сотню казаков за собой.
Э-э-э-эй, жги, говори:
Ве-е-е-едет сотню казаков за собой.

Взб#дора;енное необычным происшествием, ожило большое, ссг*множеством улиц станичное село. Поглазеть на казаков сбе?кались стар и млад, из открытых окон смотрели старики, старухи, из домов, переулков, соседних улиц все спешили в улицу, по которой шел полк, из дворов с подойниками в руках бежали бабы, возле ворот и заборов густели толпы: молодежь, пожилые казаки, ребятишки, успевшие принарядиться девушки. На лицах у них восхищенные улыбки, не переставая кипизг говор, шутки, смех.

— Сколько их, небось целая тыща!
— А пиков-то, пиков сколько-о, как лес волнуется.
— Вот они, казачки наши, любо-дорого смотреть!
— Хвати, так из нашей станицы есть?
— Куда ж они денутся, я уж одного вижу, Степку Фунтосова с Поперешного.

— Гля, девка, никак Макся Мурзин — во-о-он, на гнедом-то коне?

— А вон Алешка Свешников с Байки. Алеха-а!

— Дяденьки, к нам заезжайте человека три, во-о-он наша изба, белые ставни!..

На площади около школы короткая остановка. Трубач подал сигнал, и полк, сотня за сотней, рассыпался по^селу. Теплился весенний вечер, солнце уже коснулось краем зубчатой, заросшей лесом сопки. Улицы пестрели народом, смешались местные жители, парни, девушки, казаки в запыленных парусиновых гимнастерках. У походных кухонь выстраивались очереди служивых с котелками в руках. Густыми рядами стояли привязанные к заборам, еще не расседланные, завьюченные кони. Усадьба, куда заехал Егор и с ним еще три казака, принадлежала зажиточному хозяину. Пятистенный дом его еще совсем новый, синевой отливают недавно покрашенные наличники. Амбары, сарай — все сделано добротно, заборы из пиленых плах, а тесовые ворота покрыты дощатым навесом.

Во дворе две молодайки в белых платках доили коров, через изгородь на задах видно баню, она, наверное, жарко натоплена, курилась паром, в воздухе пахло распаренным березовым веником, парным молоком.

Иван Рудаков, ослабля коню подпруги, оглянулся на Егора, кивнул головой на дом:

— Крепко живет хозяин-то.

— Ага...— Егор разнуздал своего Гнедка, ласково потрепал его по потной шее.— Живет богато.

— Так что сегодня и шанег поедим, наверное, и сметаны разячивемя, а уж про молоко и говорить нечего.

— Это ишо как сказать, из богачей-то частенько бывают такие, что в крещение льду у них не выпросишь. Но мне не так еда интересна, как баня, попариться страсть как охота!

— Это-то уж будет обязательно, вон она, банька, только что истоплена. Смети на мне пыль со спины.

Иван достал из задней сумы щетку, подал ее Егору. Почистив гимнастерки, фуражки, брюки и сапоги, казаки пошли в дом. Но, уже подходя к крыльцу, Егор услышал голос взвод-

ного и оглянулся. К воротам подходил взводный урядник Каюков.

— Ушаков, подь ко мне!

Егор подошел к воротам.

— Чего такое?

— Собирайся ншвее, поедешь нарочным в Нерчинский Завод с пакетом к атаману отдела.

— Сейчас? Конь-то ведь голодный и не отдохнул с дороги.

— Эт-то что еще за разговорчики на левом фланге? — повысил голос урядник.— Конь голодный? Накормишь дорогой.— И уже мягче добавил:— До Завода отсюда верст тридцать, к ночи доставишь — и ладно.

Егор тоскливо поглядел на дышавшую паром баню, почесал за ухом. Он хотел еще попробовать отговориться, но, вспомнив, что из Нерчинского Завода недалеко и до Горного Зерентуя, как рассказывал тот яге Каюков, что можно будет заехать туда и повидать Чугуевского со Шваловым, махнул рукой, согласился.

— Ладно, давай пакет. Попрошу у хозяина сена. Вон его сколько в сеннике, покормлю Гнедка, сам поем и... к ночи буду там.

— То-то же.

Еще не совсем стемнело, когда Егор приехал в Нерчинский Завод. В двухэтажном здании четвертого военного отдела разыскал дежурного офицера, передал ему пакет. Коня Егор пристроил в ^тдельскую конюшню, задал ему корму и, переночевав в казачьем общежитии, ранним утром выехал по направлению к Горному Зерентую.

Уездный городишко, скорее похожий на большое село, только что просыпался, дворники подметали базарную площадь, на позолоченных крестах собора играло солнце.

Отдохнувший за ночь, конь резво шел размашистой рысью. Минова^ последние избушки, огороды, Егор направил его по проселку, что тянулся по неширокой ложине. Мимо мелькали кусты, овраги, лесная чаща, елани и пашни, побуревшие от всходов ранней пшеницы. Склоны сопки еще желтели от прошлогодней, заветошевшей травы, но там, где опалило их весенним пожаром, уже зеленела молодая травка. Ургуй уже побелел, отцвел, в россыпях и лесных адарослях буйным цветом распустился лиловый багульник, сладостный аромат его о удовольствием вдыхал Егор, жмурясь от яркого света. В кустах и лесной чаще распевали дрозды, перепела, на еланях

высвистывали пищухи, а сверху серебристым звоном заливались жаворонки.

«До чего же хорошее время весна!.. — с грустью думал Егор, глядя на знакомые ему сопки, долины и на синеющую на восточном горизонте цепь хребтов, где угадывалась пограничная река Аргунь. — Все здесь так же, как и у нас, на Ингоде. Как-то теперь там, в Антоновке? Ермоха небось идет сейчас за плугом, покрикивает на быков... А Настя, что-то поделывает она? Вспоминает про меня? Тоскует? Ах, Настя, Настя, заполонила казака, на всю жизнь заполонила!..»

Миновав зажатую в лошине горами деревушку Благодатское, Егор вымахнул на заросший ерником хребет и сразу же увидел Горный Зерентуй, а ближе к себе, под горой, — обнесенное белокаменной стеной трехэтажное здание тюрьмы.

Под хребтом, в полуверсте от тюрьмы, окруженные конвойными, работали три партии арестантов.

Спустившись с хребта, Егор шагом проехал мимо работающих каторжников. В ближней к дороге партии работало не менее полусотни человек, рыли большую квадратную яму. Верхний слой земли копали лопатами, а там, где еще не оттаяла мерзлота, ее долбили ломом, кайлами, железными клиньями, по которым били кувалдой. Работа не прекращалась ни на одну минуту, видно было, что люди спешили выполнить урок. Из ямы наверх летели комья мерзлой земли, желтые куски глины, камни, мелькали лопаты. Несколько каторжников, звеня кандалами, выкатывали по доскам наверх груженные землей тачки.

«Для чего же это они копают? — сам с собою рассуждал Егор. — Неужели руду какую нашли, и так близко от тюрьмы?»

Он уже повернул коня, хотел подъехать поближе, спросить, что здесь добывают, а к стати узнать про Чугуевского и Швалова, но один из часовых, стукнув прикладом о землю, сурово прикрикнул:

— Стой! Куда прешь!

— Спросить бы мне.

— Нельзя, проваливай мимо!

— Ишь ты какой сердитый! Кобылка чертова, крупоед!.. — обругал Егор часового и, тронув ногой гнедого, зарысил к тюрьме.

В этот день дежурным привратником был старик Фадеев. Спрыгнув с коня, Егор привязал его около ворот солдатской

казармы, пику прислонил к забору и, придерживая рукой шашку, пошел к караулке. Грустно стало на душе у Егора, когда посмотрел он на массивные, сводчатые ворота тюрьмы, на высокую каменную стену, за которой где-то там, в тюремном каземате, томится его сослуживцы. Тяжело вздохнув, подошел он к привратнику и, кинув руку под козырек, осведомился:

— Дозвольте спросить, господин служащий, мне бы повидать казаков наших, осужденных, Швалова и Чугуевского. Можно?

Стоящий на крылечке Фадеев сверху вниз посмотрел на Егора, потеребил бороду.

— Нельзя, станишник. Не разрешают теперь свидания.

— Не разрешают? — разочарованно переспросил Егор. — Эка, паря, досада какая! Повидать-то их надо было крайне, в одной сотне со мной были.

— Знаю обоих, по политическому делу сидят.

— Никакие они не политические, а самые обыкновенные казаки. Да и осудили-то их ни за что, ежели хотите знать. Ни за нюх табаку пострадали ребята. Нельзя, значит, свидеться? А пересказать им можете, что, мол, казак приезжал, Егор Ушаков, хотел их видеть, можно это? А полк наш, скажите, этим летом в станице Калгинской будет в лагерях.

— В Калгинско-о-ой? Ведь у меня там свои — отец, братья. Пспрошай там на Заречной улице Калистрата Фадеева, поклон от меня передай, они тебя примут как родного.

Старый надзиратель подобрел, достал из кармана кисет с махоркой и, угощая табаком Егора, на вопрос его о здоровье сослуживцев*сообщил доверительно:

— Голодуют они, вот уж пятый день никакой пищи не принимают.

Егор, еще не успевший свернуть самокрутку, даже табак просыпал от удивления.

— Голодуют? Это через чего же такое?

—* Рассказывать про это — долгая песня. Словом, голодовку объявили все политические, бастуют против нового начальства, вот и все.

— Да ведь голодать-то — это же страшное дело! — глаз не сводя с Фадеева, бормотал Егор, с уязвом представляя себе своих друзей, умирающих с голоду. И тут его осенила страшная догадка.*

— А это ямы-то для чего копают у вас? Во-он, отсюда видать их, уж не могилы ли братские?

— Не-ет... — Криво усмехнувшись, Фадеев махнул рукой. — Это, братец ты мой, мартышкин труд. Из пустого в порожнее перелизают.

— Непонятно чегой-то!

— Начальник наш приказывает, чтобы все заключенные работали, одни в шахте руду добывают, другие — на кирпичном заводе, в огороде, в мастерских и так далее. Ну а тех, каким работы не хватило, заставляют ямы копать на урок. С утра копают, а к вечеру обратно заваливают. Это для того, значит, чтобы без работы люди не сидели.

— Бож-же ты мой! — ахнул изумленный Егор. — Что творится на белом свете! Это прямо-таки тиранство какое-то!

— Что ж поделаешь, на то она и каторга.

— Уж действительно уму непостижимо: одних голодом морят, других работой задавляют. Ой-ё-ёй, в какую беду попали бедные ребята! Да уж хотя бы за дело, не так бы обидно было... Э-эхма!

От тюрьмы Егор поехал шагом, часто оглядываясь на мрачное здание, на окна с толстыми решетками, словно надеясь увидеть там своих однополчан.

Поднявшись на хребет, он на минуту придержал коня, мысленно прощаясь с товарищами, в последний раз посмотрел на тюрьму и, взмахнув нагайкой, зарысил под гору.

* * *

А в это время Степан, и не подозревая, что к нему приезжал его друг, лежал на своей койке, изредка переговариваясь с Чугуевским. Мучил его голод, кружилась голова, но он, так же как и Чугуевский, стойко переносил мучения. Оба они понимали, что голодовка — это единственное средство политических в их борьбе с произволом тюремщиков, и оба были полны решимости или добиться победы в задуманном деле, или умереть.

Особенно плохо приходилось голодающим, когда к ним три раза в день приносили пищу: хлеб, порциями разложенный на большом деревянном щите, и жирный, вкусно пахнущий борщ. Для голодных людей это было настоящей пыткой. Староста Губельман, выпущенный из карцера на третий день после ареста, видел, как мучительно переживают соблазн его товарищи: головы всех невольно поворачивались в сторону пищи, лихорадочным блеском загорались глаза, и многие, Чтобы не поддаться искушению, ничком валились на койки.

Сам Губельман чувствовал, как у него от голода сводит челюсти, сосет под ложечкой, и все-таки, судорожно глотая слюну, он решительно выпроваживал из камер поваров вместе с едой. Единственное, что принимали политические, была вода.

На шестой день голодовки в камеру, сопровождаемый группой надзирателей, появился Высоцкий. Он шел с намерением уладить создавшийся конфликт, решив пойти на кое-какие уступки. Однако добрых намерений его хватило лишь до порога камеры.

Когда начальник со своей свитой появился в камере, политические кто сидел на койке, кто лежал, староста Губельман медленно прохаживался по камере, заложив руки за спину.

Старший надзиратель Казанцев, назначенный Высоцким вместо смещенного им Черевкова, зашел в камеру первым и, по давней привычке, вместо приветствия scomандовал:

— Встать!

Однако команда эта на политических не произвела должного действия, все они остались в прежних позах. Расхаживающий по камере Губельман сел спиной к началству, а находящийся ближе всех к Казанцеву бывший матрос Калюжный даже лег на свою койку, небрежно закинув ногу на ногу. Наливаясь злобой, багровея лицом, Высоцкий медленно обвел глазами камеру и, остановившись взглядом на Калюжном, прохрипел, тыча в его сторону пальцем:

— Взять! — и повернулся к выходу.

Тут произошло непредвиденное: в то время как четверо дюжих надзирателей накинулись на Калюжного, политические, как по команде, сорвались со своих мест, с криками бросились на тюремщиков. Но пока они, толпясь, мешая один другому в узком проходе между койками, прыгая через них, добежали до койки Калюжного, было поздно. Массивная дубовая дверь захлопнулась за тюремщиками, снаружи проскрежетал железный засов, и ключ дважды повернулся в замке. Калюжного надзиратели успели вытащить из камеры, а вместе с ним и Лейбензона, который первым ринулся на помощь своему товарищу матросу. Обоих их поволокли по балкону, по железному мосту и по каменной лестнице, а вдогонку им из шестой камеры доносилось:

— Палачи-и!

— Изверги-и-и!

— ОпричЬики-и-и!

Лейбензона отвели в карцер, Калюжного — в коридор «глаголя», где ун'е стояла широкая бурая от крови скамья. На

нее ничком кинули бывшего матроса. С Калюжного стянули штаны, холстинную рубаху заворотили на голову, руки ему под скамьей связали ремнем. Один из надзирателей сел матросу на ноги, другой ухватил за голову, двое — Донцевич и Евсеев — с таловыми прутьями в руках стали по бокам.

— Начинай! — приказал Казанцев. — Двадцать пять этому хаму, крепче!

Стоящий справа Донцевич размахнулся, отставляя правую ногу.

— Рр-раз! — лоза, со свистом рассекая воздух, обвилась вокруг смуглого, тугого, как сбитень, тела матроса.

Еще крепче ударил Евсеев — бил он приседая и гакая, с потягом на себя.

— Два! — И с первого же удара из-под лозы Евсеева брызнула кровь.

— Три, четыре! — коротко взмахивая рукой, подсчитывал Казанцев.

На спине Калюжного перекрещивались багровые полосы и длинные рваные раны, из которых пучилось мясо, кровь ошметками разлеталась по сторонам, ручейками стекала на скамью и на пол. Но как ни старались палачи, Калюжный молчал, зажмурив глаза и стиснув зубы от боли. Но, очевидно потому, что ослаб он от голода, после восемнадцати ударов матрос лишился сознания. К концу экзекуции на спине Калюжного не осталось живого места, вся она была сплошной кровоточащей раной. Когда ему отпустили ноги, голову, развязали руки, матрос продолжал лежать без движения. Его долго отливали холодной водой и, приведя в сознание, отнесли в карцер.

ГЛАВА IX

Утром, когда заключенные еще спали, Чугуевский проснулся от легкого стука в дверь. Сначала он подумал, что ослышался, но стук повторился уже более явственно. Придерживая рукой кандалы, чтобы не звенели, Андрей поднялся с койки, подошел на стук и, заглянув в волчок, увидел стоящего за дверью Деда.

— Емельян Акимович, это вы? Что случилось?

— Беда, братцы! — взволнованно прошептал Дед. — Ваши двое, каких вчера арестовали, оба умерли в карцере. То ли сами они себя порешили, то ли отравили их, не знаю.

Андрей так и ахнул от изумления.

— Ох ты, батюшки мои! Это значит, Лейбензон с Калюжным?

— Они, стало быть. А ночью ишо двое — Петров и Пухальский — на жизнь свою покушались. Увезли всех четверых в лазарет, не знаю, выживут двое-то или нет.

Ужас охватил Андрея. От двери он чуть не бегом кинулся к койке старосты.

— Ребята! Товарищи! Вставайте живее! — вопил он во весь голос, стягивая с Губельмана серое суконное одеяло. — Товарищ Миней!..

— Что такое? — Губельман открыл глаза, приподнялся па локте, люди вокруг просыпались, поднимались с коек.

— Что случилось?

— Самоубийство в карцере, Калюжный и Лейбензон умерли.

— Калюжный?

— Неужели?

— Чего, чего такое?

В камере уже никто не спал. Все поднялись, сбились в кучу, Губельман сам переговорил с Дедом, и тот подтвердил все сказанное Чугуевскому. Сразу же само собой возникло собрание, у всех один и тот же вопрос: что делать? Надо что-то предпринимать, но что? И тут выручил обычно неразговорчивый, флегматичный Пирогов.

— Надо нам воспользоваться дел?урством Деда, — предложил Пирогов, — и через него сообщить обо всем происшедшем нашим товарищам вольнокомандцам, Малецкому.

— Правильно, — поддержал Губельман. — Попросим Малецкого телеграмму подать обо всем этом в Читу губернатору и в думскую фракцию социал-демократов большевиков, товарищу Петровскому.

С этим все согласились. Губельман на клочке бумаги набросал текст телеграммы, подошел к двери. Подождав, когда снаружи послышались тяжелые, неторопливые шаги Деда, староста легонько постучал в дверь. Дед сразу же подошел, отодвинул железную задвижку, что закрывала волчок снаружи.

— Чего такое?

— Емельян Акимович, большая к вам просьба! — просительно прижимая руки к груди, зашептал Губельман. — Мы тут телеграмму составили в Читу губернатору и в Питер. Очень просим вас передать ее Ромуальду Иосифовичу Малецкому или Володе Плескову.

— Ну что ж, можно. У меня и причина есть зайти к ним. сын-то мой старший, Фрол, у них учится, вот и зайду, как сменюсь с дежурства, будто о сыне справиться.

— Большое вам спасибо, Емельян Акимович. А вот эту записку фельдшеру Крылову передайте, пожалуйста. Мы вам всегда будем благодарны, Емельян Акимович, и услуги ваши не забудем.

— Ничего, ничего, не стоит благодарности, тут и дело-то небольшое,— смущенно пробормотал Дед. Получив от Губельмана бумаги, он засунул их во внутренний карман мундира и, не сказав больше ни одного слова, медленно побрел по балкону.

После двенадцати часов дня на дежурство заступил Донцевич, и вторая половина суток была невыносимо тягостной для узников шестой камеры. Угнетало их неведение того, что творится там, в карцерах, в одиночках, живы ли пострадавшие товарищи.

В эту ночь мало кто спал, с нетерпением ожидали, когда на дежурство вновь заступит Дед и сообщит обо всем, что произошло за это время в тюрьме, удалось ли отослать телеграмму. И вот уже за окнами голубел, ширился рассвет, а Дед не появлялся. Не раз на балконе, за дверями, слышались шаги, но по звуку их узники угадывали, что это не Дед. К восходу солнца в камере уже никто не спал, один другого сменяя, подходили к дверям, вслушивались. Собираясь группами, сидели на койках, курили, изредка возникали и вскоре же гасли разговоры.

— Эх, как-то там товарищи наши?

— Живы ли они?

— И Дед запропал где-то...

— Не подвел бы он нас...

— Не должен бы. Наверное, перевели на дежурство в другой коридор.

— Вполне возможно.

И опять в камере тихо, лишь из коридора доносятся звуки чьих-то шагов по железному настилу балкона да звякнут кандалы от неосторожного движения узника, и снова тишина, гнетущая, нагоняющая тоску тишина. Медленно тянется время, и кажется узникам, что оно остановилось, застыло в зловещей неподвижности.

В положенное время принесли завтрак. Его, конечно, не приняли, а выставяя бачки с едой из камеры на балкон, успели заметить, что Деда среди надзирателей не было. Ста-

ло очевидным, что перевели его на другое дежурство. Но вместо Деда появился другой человек, которого политические знали как одного из своих друзей. Это был фельдшер Тихон Павлович Крылов. Оставшись в камере с одним из надзирателей, Крылов принялся уговаривать узников прекратить голодовку. Они сразу же догадались, что пришел Крылов не зря, и не возражали, когда он начал обход больных, проверял у них пульс, мерил температуру.

— Зря, господа, затеяли вы эту голодовку... — Продолжая свои уговоры, Крылов подошел к койке Пирогова.— Ничего вы этим не добьетесь. А ну-с, молодой человек, покажите язык, та-ак-с, дайте руку, та-ак...

Загородившись спиной от надзирателя, Крылов, делая вид, что проверяет пульс, сунул Пирогову в рукав записку. Осмотрев еще нескольких человек и посоветовав узникам не ссориться с администрацией, Крылов вместе с надзирателем ушел из камеры. Когда за ними закрылась дверь и, удаляясь, затихли шаги, Пирогов сел на койке, вынул из рукава свернутые трубочкой две записки.

Все насторожились, подошли ближе. Пирогов развернул записку, написанную, очевидно, Крыловым, второе письмо передал Губельману.

«Друзья,— писал Крылов,— жизнь Петрова и Пухальского в безопасности. Калюжного и Лейбензона схоронили сегодня ночью. Телеграмму отправили вчера. Еще одно большое несчастье: сегодня ночью отравился и умер Сафронов».

Как один человек, ахнула вся камера. Несколько минут длилось молчание, словно у всех отнялись языки. Никому не хотелось верить, что и Сафронова, такого обаятельного, добрейшего человека, не стало в живых.

И тут заговорил Губельман:

— Товарищи! Мне, так же как и вам, жалко погибших. Жалко и покончившего с собой Сафронова, но тем не менее мы, большевики, не одобряем самоубийства, более того, мы осуждаем такие поступки.

— Позвольте! — звонким фальцетом воскликнул Стручковский.— Товарищ Сафронов отдал за дело революции самое лучшее, что имел,— свою жизнь! Так зачем же его осуждать?

— Это же геройская смерть! — поддержал Стручковского худощавый, с жиденькой русой бородкой человек в очках.—• Его не упрекать, а головы преклонить над его прахом следует. Он погиб за наши общие с вами идеалы, и правильно: в борьбе все средства хороши.

— Вот именно!

— Совершенно верно! — раздался голоса сторонников Стручковского.

— Вы ошибаетесь! — повысил голос Губельман. — Вы самоубийство считаете геройским поступком, мы же против этого. Самоубийство, по-нашему, трусость: убить себя — это значит уйти от борьбы на радость врагам в то время, когда ее надо продолжать! Надо готовиться к большому, решающему штурму царизма. Ведь даже здесь, в заточении, мы слышим, чувствуем, как крепнут, растут силы революции, как в народе ширится недовольство самодержавием. Теперь царские палачи уже не единицами, а сотнями хватают, расстреливают рабочих людей. Я вот только что получил письмо с воли и вырезку из газеты «Революционная Россия»¹. Послушайте, что там творится.

И в наступившей тишине Миней Израилевич прочитал статью о кровавых событиях на Ленских приисках — о том, как в апреле 1912 года там были расстреляны сотни рабочих демонстрантов.

Губельман читал, и Чугуевский видел, как у его товарищей на камере темнеют лица, злобой загораются глаза, а воображение рисовало Андрею страшную картину дикой расправы, кучи окровавленных тел расстрелянных рабочих.

— Вот до чего дошло дело! — гремел взволнованный голос Губельмана, а карие глаза его искрились от возбуждения. — Сотни безвинных, голодных тружеников расстреляны только за то, что они заявили о своем праве на жизнь. А теперь сравним эти два события, посмотрим, что получается.

Губельман быстро подошел к стене, карандашом поставил на ней точку, а на аршин от нее вторую. И, показывая то на одну, то на вторую точку, продолжал, повернувшись лицом к слушателям:

— Вот это, выражаясь условно, смерть Сафронова, — что за нею последовало? Наши сожаления, печальные вздыхания да кое у кого любованье мнимым героизмом. А вот это смерть сотен рабочих, она взбудоражила всю Россию! Она открыла глаза на правду жизни миллионам людей. В ответ на эту смерть по всей стране начались беспорядки: массовые демонстрации, митинги протеста, забастовки на заводах и фабриках. Гнев народный забурлил, заклокотал в городах и

селах России. И вот в этой борьбе с царским произволом мы, даже находясь в стенах каземата, должны принять, и мы принимаем посильное участие. Наша голодовка хоть капля, да есть в общей чаше гневного протеста. И мы будем продолжать ее, пока не добьемся победы. Не убивать себя, не дезертировать с поля боя, а бороться будем и закаляться в этой борьбе для грядущих решительных боев за революцию!

Этот своеобразный митинг политических каторжан закончился самым неожиданным образом. Сразу после горячей, взволнованной речи Губельмана кто-то зашел:

Вихри враждебные веют над нами...

Все, словно издали этого, дружно подхватили знакомый напев «Варшавянки», и стройные, мощные звуки боевой революционной песни разнеслись по тюрьме, эхом отдаваясь в углах огромного коридора. Слова запретной песни, к великой досаде тюремщиков, были слышны не только вблизи, но и в камерах «глаголя» и второго этажа.

Напрасно за дверью шестой камеры бесился, выходил из себя несчастный надзиратель Евсеев.

— Отста-а-вить! — орал он, стуча кулаком в дверь. — Слышите, вы? Эй, там! Сейчас конвой вызову, я вас проучу, я вас... Молча-ать!

А в ответ ему из камеры несло еще сильнее и громче:

**Вставай, поднимайся, рабочий народ!
Иди на врага, люд голо-о-одный!
Раздайся клич мести наро-о-дной!
Вперед, вперед, вперед, вперед, вперед!..**

Обозленный до крайности, охрипший от крика Евсеев, сдавая дежурство, не утерпел пожаловаться сменившему его надзирателю:

— Мне нонешний день за год показался. Всю душу вымотали политики, будь они трижды прокляты! Ни голод их, никакая холера не берет. Этот главарь их Губельман — жидовская харя — такие слова начал выкидывать, что жуть берет. Эх, довелось бы мне отодрать этого паршивца, уж я бы постарался — так бы исполосовал его, что он на всю жизнь запомнил-бы. Ведь это же беда какая-то — песни давай орать бунтарские, аж по всей тюрьме слышать, даже и в улице. Пятнадцатый год служу, а такой страмоты, как здесь, сроду не слыхивал.

¹ Такая газета издавалась за границей. См. примечание в книге Г. Н. Чемоданова «Нерчинская каторга», издана в Москве в 1924 году.

Новый дежурный потурсучил пегую, в рыжих подпалинах бороду, сощурился в лукавой улыбке.

— Это они с чего же распелись-то?

— Чума бы их знала, трижды клятых! Ну не-ет, у нас, в Николаевской тюрьме, не шибко бы распелись, мы бы их там в два счета произвели в крещеную веру. А здесь что? Не тюрьма, а так себе... страдание для нашего брата. Ну да ничего-о, мы с нашим начальником и здесь наведем порядок, наведем!

Перекинув через руку шинель и не попрощавшись с новым дежурным, Евсеев, ругаясь, бормоча что-то себе под нос, зашагал к выходу.

В этот вечер у Чугуевского со Шваловым только и разговоров было о том, что услышали от Губельмана. Речь его так взбудоражила обоих, что они даже о голоде на время забыли.

— Дела-а творятся!..— покачал головой Чугуевский.— Теперь даже и нам понятно, что революция-то вот она — того и гляди нагрянет.

Степан согласно кивнул.

— Дождемся свободы, Андрюха. Ох, скорее бы уж вырваться из этой клетки! — И, помолчав, заговорил о другом: — А Губельман, видать, больших наук человек, а говорить-то какой мастак!

— Правильные слова он говорит, потому его так и слушают. Я вот еще до голодовки все присматривался к ним, слушал и вот, по моему разумению, большевики — это больше для нас, для простого народа, подходящая партия. Не знаю, как ты, а я, брат, хочу записаться в ихнюю партию.

— Да и я не против этого, тоже в большевики запишусь. А дождемся освобождения, так я как дорвусь до дому, всю свою станицу подыму на дыбы против царизма.

Оба замолчали и долго лежали, думая об одном и том же.

— А ты знаешь? — заговорил Чугуевский.— На воле у Губельмана была другая фамилия — Омелян Ярославцев, что ли.

— Ага, слышал я от Лямичева. Он ведь, Миней-то, мало того что по политическим делам знаток, он еще и писатель книг. А жандармы ему запретили книги писать, так он их перехитрил: взял да и придумал себе другую фамилию и имя.

— Во-во, так оно и было.

Посланные, при содействии Деда, телеграммы наделали шуму в Петербурге. Дело в Питере дошло до скандала, события в Зерентуевской тюрьме стали достоянием широкой гласности, о них появились статьи в газетах, с критикой в ад-

рес правительства. В городе начались беспорядки: забастовки рабочих, демонстрации студентов в знак протеста против произвола тюремщиков. Социал-демократическая фракция сделала резкий запрос в Думу. Ничего этого еще не знали зерентуевские политзаключенные, когда к ним в камеру пришел сам начальник каторги, полковник Забелло. Пришел он без надзирателей, в сопровождении лишь тюремного врача Рогалева.

При их появлении в камере все политические встали и, хотя не особенно дружно, вразнобой ответили на приветствие. Грузный, утомившийся при подъеме на третий этаж, Забелло вытер платком вспотевший лоб, заговорил, не повышая голоса:

— Господа, вы уже, вероятно, знаете о печальном происшествии. Искренне сожалею об этом, но что случилось, того уже не вернешь. Я пришел сообщить вам, что о здешних событиях стало известно в Питере, из Читы по этому делу к нам выехала следственная комиссия. Я лично уверен, что конфликт будет улажен, а виновники кровавых событий будут наказаны.

Рогалев молча, лишь кивком головы подтвердил свое согласие с предложением начальника, хотя он и не сказал ни одного слова, но во взгляде его узники читали сочувствие своему делу, знали, что доктор на их стороне.

— А поэтому,— продолжал Забелло,— прошу вас, господа, прекратить голодовку.

И опять Рогалев, столкнувшись глазами со старостой политических, кивнул утвердительно. Губельман, да и все политические сами поняли, что продолжать голодовку теперь уже не имеет смысла. Однако Губельман решил все же сначала посоветоваться с товарищами, об этом он и сказал начальнику:

— Хорошо, господин полковник, я полагаю, что ваше предложение для нас приемлемо. Прошу вас дать нам полчаса на размышление, и тогда мы дадим окончательный ответ.

— Отлично! — Забелло согласно кивнул головой, и они с Рогалевым вышли.

Сразу же после них словно всколыхнулась, ожила камера, закипел разговор.

—? Конец голодовке!

— Хватит!

— Конечно, надо кончать.

— Следственная комиссия едет, это очень важно.

— Очевидно, телеграммы наши попали в цель.

— Спасибо Деду, помог.

— Жалко, товарищи погибли.

— Смерть их мы еще припомним палачам не раз.

— Товарищи, давайте решим, будем продолжать голодовку или нет?

Слово взял Губельман:

— Я полагаю, товарищи, что продолжать голодовку бессмысленно. Мне каяется, что мы, хотя и очень дорогой ценой, все же добились победы. По-видимому, телеграмма наша наделала в Питере шуму, и я почти уверен, что этого сатрапа Высоцкого власти будут вынуждены убрать от нас, а поэтому предлагаю голодовку прекратить. В дальнейшем ход событий покажет, что делать.

— Правильно-о!

— Голосуй, товарищ Миней!

С предложением старосты согласились, и при голосовании все подняли руки за прекращение голодовки. Андрей не принимал в обсуждении никакого участия, после вчерашних волнений он плохо спал ночью и все утро был опять в состоянии полной апатии. Привалившись спиной к стене, сидел он в полудремоте на койке рядом со Степаном, безвольно опустив законные руки.

Когда приступили к голосованию, Степан толкнул его локтем в бок:

— Андрюха! Ты спишь вроде? Руку подними, конец голодухе нашей.

— А, чего? — И, проснувшись, Андрей понял, в чем дело. Звякнув наручниками, поднял обе руки и, опустив их, стряхнул с себя сонную одурь, огляделся. Вокруг увидел похудевшие, посеревшие от голодовки, но уже повеселевшие лица, живым огоньком теплились глаза его друга, похудевшего, забородавшего Степана.

Время подходило к полудню, косые солнечные лучи пятнами лежали на полу, сквозь толстые решетки виднелось ясное голубое небо, а в открытые форточки и сюда доносился свежий весенний воздух, запах полей.

— Эх, Степан, Степан!.. — только и сказал своему другу Андрей. Он хотел сказать ему больше, но у него не нашлось слов, чтобы выразить охватившее его чувство, сказать, как вновь ему захотелось жить и вместе с другими продолжать борьбу.

После того как Губельман сообщил начальству о согласии заключенных прекратить голодовку, в камеру принесли еду: хлеб, котел жидкой пшенной каши и кипяченое молоко.

Вместе с поварами пришел фельдшер Крылов. Для начала он выдал всем по одному лишь стакану молока.

— Ну что это за еда такая? — проглотив свою порцию, обиженно заговорил Швалов.

— Мало, господин фельдшер!

— Прибавьте еще, Тихон Павлович!

Но Крылов был неумолим.

— Нельзя, нельзя, братцы. И не просите понапрасну, я знаю, что делаю. Вот немного погода выдам еще по стакану молока, потом каши немного, а потом хлеба по осьмушке, так постепенно и подойдем к норме.

До самого вечера не выходил Крылов из камеры, приступая к кормлению своих питомцев. Постепенно он увеличивал порцию. И когда закончил питание, им все еще казалось мало, но ждать еды пришлось до утра.

В эту ночь тайком от всех тюремщики схоронили Сафронова. Шел двенадцатый час ночи, когда четыре надзирателя — Донцевич, Евсеев и еще два приверженца Высоцкого — вынесли из одиночки труп Сафронова и, бряцая шашками по ступенькам, понесли его вниз по лестнице. На тюремном дворе тело умершего уложили в дощатый гроб и на водовозной кляче, запряженной в телегу, повезли на арестантское кладбище.

Ночь выдалась темная, небо заволокло тучами, горизонт с юга освещали вспышки далеких молний, и уже доносились глухие, чуть слышные раскаты грома. На окраине кладбища остановились, дальше уже ехать было невозможно. Гроб положили на палки, понесли. В темноте то и дело натываясь на кресты, спотыкаясь о камни и яростно матюгаясь, с трудом разыскали вырытую с вечера могилу. Сбоку ее куча свеженарытого влажного суглинка. На него и поставили гроб.

— Угораздило тебя" не вовремя-то! — сердито проворчал Евсеев, потирая ушибленное в темноте обо что-то колено. — Ни дна бы тебе, ни покрышки, проклятому!

— Вербку захватили?

— Вот она.

— Подхвати под низ, спускать будем.

— Постой, не так заносишь, надо ногами-то на восход.

— Э-э, ему-то не все ли равно? Он ведь политик был, неверующий.

Гроб на веревках опустили в могилу и, забросав его землей до половины ямы, решили отдохнуть. Сели, опустив ноги в могилу, закурили.

— Говорят, покойничек-то больших наук был? — прикурив от спички Евсеева, заговорил рыжеусый надзиратель. — Отец-то его в генеральских чинах ходит, а сынок, вот он, в политики записался, скажи на милость!

— Чудеса, братцы, от таких достатков и в политики идти, тюрьму гноить! Бонмке ты мой, каких людей нет на свете!

— У меня в Питере брат служит в жандармах, так вот он и рассказывал, как энтот Сафронов на царя покушение делал. Подобралось их человек десять таких, все политики ихние, ну и давай, значит, подкоп рыть под царский дворец. И вот уже все было готово, еще бы каких-нибудь день-два — и конец всей царской семье, да вышла у них промашка — потолок в подкопе отонили. Утром казаки-гвардейцы поехали на занятия мимо дворца, у одного казака конь-то возьми да и провалился прямо в подкоп — награду он потом получил большую от государя. Ну, конечно, казаки коня выручили и подкоп обнаружили. Сразу туда, значит, и политиков зацапали как миленьких.

— Брехня все это. Их бы за такое дело сразу же повесили всех.

— Да ведь брат-то мой там был. Откупились, значит, вот и не повесили. Раз отец у него генерал...

— Давайте кончать живее, убираться надо, пока дождь не опустился. Вон как грохнуло.

— Давайте.

Вскоре над могилой вырос небольшой холмик. Покончив с погребением, надзиратели торопливо удалились с кладбища. Слышно было, как они покидали лопаты в телегу, и колеса ее затарахтели по песчаному грунту.

Тюремщики уехали, однако кладбище не опустело. При яркой вспышке молнии было видно, как к могиле Сафронова подошел человек. Постояв немного, он повернулся к соседней могиле, чиркнув спичкой, прочитал выщербленную на камне надпись и тотчас же удалился в сторону барачков, где яшлы политические вольной команды.

На следующую ночь на кладбище опять появились люди. Пришло их человек двенадцать. У могилы Сафронова они остановились, посоветовавшись, разделились надвое. Человек шесть с лопатами в руках ушли на другой конец кладбища, а те, что остались, принялись откапывать из могилы гроб с телом Сафронова.

Когда над сопками занялась заря, были откопаны гробы Сафронова, Лейбензона и Калюжного. Могилы Сафронова углу-

били, сделали шире и в нее захоронили всех троих погибших товарищей.

Так появилась на арестантском кладбище братская могила трех политзаключенных. Через месяц могильный холмик аккуратно обложили зеленым дерном, сверху на могилу положили большую плиту из борзинского камня¹.

На камне четкая надпись: «Здесь нашли себе последний приют Николай Сафронов, 32 лет от роду, Иван Калюжный, 31 года, и Симон Лейбензон, 45 лет. Умерли 20 мая 1912 года».

Но политические знали, что, кроме этой надгробной надписи, на этом же камне есть и другая. На восточной стороне камня есть небольшой выступ, а под ним углубление: вставить туда лом, нажать, и верхний слой камня сдвинется, как подвижной ящик. Когда он откроется до отказа, будет видна надпись. Она гласит: «В жестокой борьбе с царским произволом погибли наши товарищи Николай Сергеевич Сафронов, Иван Николаевич Калюжный, Симон Шлеймович Лейбензон. Они жизни свои отдали за правое дело, ради спасения товарищей. Кровь их вопиет о мести, и мы отомстим палачам без пощады».

Ниже приведено четверостишие:

**Падет произвол, и восстанет народ.
Могучий, свободный и гордый.
Прощайте же, братья, вы честно прошли
Свой доблестный путь, благородный.**

ГЛАВА X

Летом тысяча девятьсот четырнадцатого года Егор неожиданно для себя получил месячный отпуск, с правом съездить домой на побывку, и ранним утром выехал из лагеря. Ехал Егор вверх по долине Шилки. Справа от него желтела высокая насыпь железнодорожного пути, по которому время от времени с грохотом проносились мимо длинные, кирпично-красного цвета, составы товарных вагонов. Слева тянулась широкая лента стремительной реки Шилки. Она то отходила далеко к подножиям угрюмых утесов, скрывалась за буйной порослью тальника, то развевывалась на повороте во всю свою ширину, блестела, как отшлифованная сталь, а в зеркальной глади тихих заводей отражались синева небес и белые барашки маленьких, пушистых облаков. День только начинался, от реки тянуло прохладой, обильная роса на при-

¹ Б о р з и н с к и й, от слова «Борзя» — река, приток Аргуни.

брежных кустах, на цветах и траве искрилась под лучами солнца, играла всеми красками радуги. Все эти милые сердцу Егора картины напоминали ему родную станицу, место, где жил он и работал вместе со своей любушкой Настей.

Пора наступала сенокосная, это угадывалось повсюду, куда бы ни глянул Егор. На еланях уже не видно пахарей, густеют там темно-зеленые полосы пшеницы. Молодым колосом украсилась ярица, а в пади, где Егор вброд переехал речку, в пояс человеку вымахал шелковистый пырей. Далее на обочинах голубел острец, перемешанный с цепкой, кудрявой вязью, синими гребешками расцвел дикий клевер. Кое-где уже виднелись островерхие балаганы сенокосчиков, пестрели прокосы первой кошенины, пахло ароматом свежего сена.

Егор торопил гнедого, гнал его в полную рысь, чтобы до наступления полуденного зноя добраться до намеченной станицы. Радостно на душе у Егора, да и как же не радоваться, когда так неожиданно-негаданно привалило ему счастье, удалось вырваться на побывку в последний год службы. А случилось это так: два дня тому назад ехал Егор с пакетом в станицу. Выехал он из лагеря прямой дорогой, мимо старой мельницы, и, подъезжая к речке, услышал вдалеке позади какой-то шум. Оглянулся. В полуверсте позади, вздымая клубы пыли, бешеным галопом неслась по тракту пара вороных, запряженная в тарантас. Егор сразу же догадался, что это лошади командира полка, кучером у которого слуншл Ерзи́ков — тот самый бородатый старовер Ерзи́ков, который в начале службы вместе с Егором получал от старых казаков ложки. По тому, как быстро мчались вороные, а Ерзи́ков, стараясь удержать их, всем корпусом откинулся назад, натягивая вожжи, Егор понял: случилось что-то неладное. И, не раздумывая долго, повернул гнедого через кочки, кусты и рытвины и поскакал наперерез вороным. Опередив их, он выскочил на тракт недалеко от моста. В этом месте дорога шла по высокому гребню насыпи с белыми столбиками по обе ее стороны. Задержать здесь мчавшихся во весь опор лошадей было опасно, так как они могут на полном скаку свернуть в сторону, свалить экипаж под откос, поэтому Егор скакал сначала впереди их, понемногу сбавляя ход. За мостом дорога шла широкой луговиной, а затем вплотную подходила к сопке, где с левой стороны ее на сотни сажен тянулся обрыв, также огороженный столбиками. Этого места более всего опасался Егор, потому что видел, как навстречу к обрыву ехал какой-то человек в телеге. Оттесняя вороных к кособору, он постепенно сбавлял

ход. Вскоре ему удалось схватить коренного за повод, перевести лошадей на рысь, а затем и вовсе остановить их в десятке сажен от обрыва. Разгоряченные быстрым бегом лошади тяжело и шумно дышали, фыркали, часто поводя крутыми боками. Короткая, гладкая шерсть на них лоснилась от пота, со взмыленных боков и шлей на пыльную дорогу хлопьями падала пена.

Только теперь увидел Егор сидящую в экипаже позади Ерзи́кова молодую женщину в белом платье, с пышными буфами на плечах и широкополой соломенной шляпе. Это совершала утреннюю прогулку на лошадях жена полкового командира. Она так перепугалась, что не могла вымолвить ни единого слова. Общими руками прижимая к себе дочку, белокурую, лет шести девочку, командирша расширенными от пережитого ужаса глазами молча смотрела на Егора, а белое как мел лицо ее медленно наливалось краской.

Ерзи́ков прыгнул с козел, перебирая руками за вожжи, подобрался к голове коренного и снизу вверх взглянул на Егора.

— Спасибо, годок Выручил ты меня... отвел от беды... — Ерзи́ков говорил отрывисто, с придыханием. С разгоряченного, кирпично-красного лица Феофана так обильно струился пот, что смокли усы его и широкая, во всю грудь пламенно-рыжая борода.

— С чего это они? — любопытствовал Егор.

— С жиру бесятся, холера их заberi! — Ерзи́ков вытер вспотевшее лицо рукавом гимнастерки и пояснил: — Только подьехал к ольховому колку, откуда ни возьмись собачонка, как гавкнет — да прямо под ноги -кореннику. Напугала, проклятая, они подхватили и понесли во весь дух. А тут ишо, как назло, у коренника удила лопнули, вот ^ак оно и получилось. Да ишо, слава богу, ты пригодился, спас от беды.

Егор помог Ерзи́кову успокоить лошадей. Запасной узды не оказалось, он посоветовал Феофану взнуздать коренного ремненным треногом и уже тронул поводом своего гнедка, как услышал голос командирши:

— Казак, прошу вас ко мне!

Егор подъехал ближе. Оправившаяся от испуга, порозовевшая женщина, приветливо улыбаясь, протянула ему руку ладонью вниз. Егор, смутившись, легонько пожал ее, дивясь про себя, какая это маленькая, белая ручка, с тоненькими на ней голубыми жилками.

L

¹ То есть сверстник, одноклассник.

— Вы наш спаситель,— сказала командирша.— Благодарю вас за благородный, рыцарский поступок.

Еще более смутившись, Егор густо покраснел, ответил с запинкой:

— Не стоит... ваше высокобродие.

— Ну, зачем это титулование! Зовите меня просто Евгения Александровна или, еще проще, барыня. Как ваша фамилия?

— Ушаков, барыня.

— А скажите, Ушаков, не разнесут нас больше лошади?

— Никак нет, не разнесут, да и я с вами же поеду до станции.

— Пожалуйста, очень прошу вас.

В тот же день командир полка вызвал Егора к себе на квартиру. День клонился к вечеру, жара спала, когда Егор подъехал к большому дому, где квартировал командир. В улице, напротив дома, ребяташки играли в бабки, поодаль на завалинке в лодке сидели старики, судачили. Привязав коня к забору, Егор через широкую ограду прошел на крыльцо, крытое тесом, где командир сидел с женой за дубовым столом, пили вечерний чай. Грузный, с усами мышиного цвета и такими же, стриженными под ежик волосами, полковник сидел без мундира, в натальной сорочке, с расстегнутым воротом. Бронзовое от загара лицо полковника лоснилось от пота, и он, тяжело пыхтя, поминутно вытирал его красным клетчатым платком. По сравнению с ним молодая, стройная, тонкая в талии командирша скорее походила на дочь, чем на я^ену пожилого полковника.

Не доходя до командира на четыре шага, Егор встал во фронт, правую руку приложил к козырьку фуражки.

— Честь имею явиться, ваше высокобродие!

Маленькие, в сетке мелких морщинок, серые глаза полковника сощурились в приветливой улыбке.

— Здравствуй, Ушаков!

— Здравия желаю, ваше высокобродие!

Егор не удивился, что полковник назвал его по фамилии, знал, что у него цепкая память на лица, что он помнит по фамилиям чуть ли не всех казаков полка. Кроме того, в прошлом году на полковых маневрах Егор в течение месяца был у него в числе ординарцев.

— Так это, значит, ты подоспел на помощь Евгении Александровне?

— Так точно, я, ваше высокобродие!

— Опустите руку. Молодец, Ушаков! Хвалю!

— Рад стараться, ваше высокобродие.

Откинувшись всем корпусом назад, полковник дотянулся рукой до висевшего на гвоздике мундира, вытянул из внутреннего кармана новенькую, хрустящую в руке трехрублевку.

— Вот тебе, братец, на водку за геройский поступок. 41

— Покорно благодарю, ваше высокобродие!

— Бери, бери, братец, не стесняйся.

И тут в разговор вступила командирша.

— Скажите, Ушаков, вы давно служите?

— Четвертый год, ваше высокобродие!

— Соскучился небось по дому, там семья, невеста ждет, так ведь?

— Так точно, очень даже соскучился, потому как мамаша дома, то же самое невеста, сынок у нас по четвертому году.

Егор спохватился, что сболтнул лишнее, чем очень рассмешил командира, но уже было поздно. Полковник откинулся на спинку стула, и грузное тело его так и колыхалось от хохота.

— Ха-ха-ха, а ты, брат, парень-то не промах... невесту-то, ха-ха, с сынком... оставил?..

В отличие от мужа, командирша не смеялась, а, выждав, когда хохот мужа пошел на убыль, обратилась к нему с просьбой:

— Миша, устрой ему отпуск! Он такой славный малый, ну что тебе стоит? Сделай это ради меня.

— В отпуск, говоришь? Хм...— Полковник вытер платком выступившие от хохота слезы.— Ну ладно, Ушаков, уж раз за тебя Евгения Александровна ходатайствует, быть по сему. Доложи командиру сотни, что я разрешил тебе месячный отпуск.

Сердце у Егора усиленно заколотилось от радости.

— Покорнейше благодарю, вале высокобродие! Разрешите идти?

— Валяй! Обрадуй свою невесту, ха-ха-ха!

Забыв от радости поблагодарить командиршу, Егор лихо крутнулся «налево кругом», сбежал с крыльца и побежал по ограде, не слыша, как вдогонку ему раскатами гремел командирский хохот. Отвязав гнедого, он сначала разогнал его в галоп и лишь тогда, к удовольствию глазевших на него стариков, птицей взлетел в седло, гикнул, дал скакуну ходу.

По простоте душевной Егор думал, что он в тот же вечер отправится в путь к родной станице, но получилось не так. Пока писаря оформляли соответствующий документ, прошел весь следующий день, лишь сегодня смог он выехать из лагеря. Все это до мельчайших подробностей промелькнуло в памяти Егора, кс%га подъезжал он к Усть-Каменской станице,

где намеревался переждать полуденную жару. А она уже началась, гневной обливался потом, фыркал, головой, хвостом и ногами отбиваясь от одолевающих его слепней и крупных зеленоголовых паутов *. Егор хлестал по ним березовой веткой, отгонял их, спасая коня от укусов.

* * *

Никогда еще так рано не начинала сенокос Платоновна, и никогда так весело и споро не трудилась она, как в этом году. И было отчего радоваться Платоновне, ведь впервые за всю свою вдовью жизнь работала она на своем покосе вместе с сыном. И любо было смотреть ей, как широкоплечий, статный Егор, плавно взмахивая литовкой, стремительно гонит прокос, все дальше и дальше уходит от матери. Под мокрой от пота белой рубахой его жерновами ходят лопатки. Как и на всякой работе, на косьбе Платоновна не уступала любому косарю, но тут она убедилась, что с Егором ей не тягаться.

«Молоде-ец!..— счастливо улыбаясь, думала Платоновна, остановившись на минутку, чтобы наточить литовку.— Вылитый отец-покойник. Эх, будь бы живой Матвей Михайлыч, как бы он радовался теперь вместе со мной!..»

При этом воспоминании помрачнела Платоновна, но это длилось недолго. Стоило ей взглянуть на удалца сына — и снова весело на душе, словно легкое облачко под ветром, развеялась грусть.

Целую неделю работал Егор с матерью. Душою рвался в Антоновку, к Насте, но ехать туда теперь — а значит, не помочь матери на покосе — было для него невозможным. Поэтому, скрепя сердце, еще сильнее налегал он на работу, чтобы скорее закончить сенокос.

За неделю с сенокосом управились. Сена накопили больше, чем его требовалось в маленьком хозяйстве Платоновны. На седьмой день вечером, вернувшись с сенокоса, Егор решил переговорить с матерью относительно поездки в Антоновку. На дворе густели сумерки. Платоновна в сенях при свете керосиновой коптилки процеживала молоко. Егор сидел на пороге, смотрел в открытую дверь сеней на багровую полосу зари. Наконец он решился, заговорил:

— Мне в Антоновку надо поехать, мама.

— В Антоновку? Это что же, к этой опять, Настасье?

— К ней, мама.

¹ Паут — овод.

Платоновна подавила вздох и, как показалось Егору, ответила совершенно спокойно:

— Ну-к что ж, поезжай. Сена теперь подкосили, хватит. Тут у меня есть ишо делянка на Вусь-Ярнишной, так я теперь и одна с ней управлюсь.

Утром, едва над сопками занялась заря, Егор был уже на ногах. Пока Платоновна кипятила самовар, он напоил, оседлал и завьючил гнедого, а с первыми лучами солнца уже выезжал со двора в полном боевом снаряжении.

Платоновна проводила сына за ворота, попрощавшись, долго смотрела ему вслед. Противоречивые чувства обуревали Платоновну. Она и радовалась, что уж недолго ей ждать теперь, скоро отслужит, насовсем вернется Егор домой, и в то же время горестно вздыхала о том, что не сбылись ее надежды, не образумился Егор на службе, не позабыл он, а по-прежнему любит свою Настю.

Переправившись через Ингоду на пароме, которым по-прежнему руководил дед Евлампий, Егор решил ехать прямой дорогой через горы. Он вспомнил при этом, что по этой же дороге шел первый раз в Антоновку поступать к Савве Саввичу в работники. Здесь, как показалось Егору, ничего не изменилось за это время. Те же кусты тальника и черемухи тянулись берегом реки, по обе стороны дороги. А зеленые лужайки, в прогалинах между кустами, так же, как и восемь лет назад, густо усеяны цветами: тут и ландыши, и желтые полевые лилии, жарки, и бело-розовые бутоны марьяных кореньев. В полуверсте от парома дорога круто сворачивала влево, через хребет, и начиналась тайга. Дремучая, вековая тайга, где, по словам охотников, было множество всякого зверя — не только белок, диких коз, кабанов, но и медведей. Водились там и лоси и свирепая хищница рысь. И чем дальше, тем суровее, величественнее становилась тайга. По обе стороны малоезженной, ухабистой дороги толпились высокие, могучие лиственницы, столетние сосны. Толстые, узловатые корневища их, причудливо извиваясь, выступают из-под земли вдоль и поперек дороги. Вокруг тишина, полумрак, солнечные лучи, пробиваясь сквозь густую хвою деревьев, пятнами ложатся на дорогу. Здесь даже в жаркое время царит прохлада. В одном месте дорога шла над крутым обрывом. Отсюда, сквозь редколесье, было видно широкую долину Ингоды, линию железной дороги, какую-то деревушку вдали, пашни на еланях и серебристую с голубым отливом реку. В другое время Егор остановился бы здесь, полюбовался бы

Ингодой, но теперь ему было не до этого. Он торопил коня, спешил скорее добраться до Антоновки, увидеться с Настей и наконец-то поддержать на руках сына. Лишь под хребтом, где значительно поредела тайга, сосняк постепенно уступал место березняку, а в воздухе приятно запахло земляникой, Егор придержал, замедлил бег гнедого.

«Гостинца ведь надо сыну-то», — подумал он, заметив в траве по березняку красные ягоды земляники. Спрыгнув с коня, он привязал его к березе, достал из задней сумки плоский котелок-манерку.

Набрать манерку крупных, сочных ягод было для Егора делом нескольких минут, и снова он на коне, снова гонит его в полную рысь. Манерку с земляникой он приторочил к седлу.

ГЛАВА XI

Сердце у Егора забилося сильнее, когда вновь увидел он с горы Антоновку, ее широкие песчаные улицы, дома, огорды, редкие садики. Но главное, на что так долго и пристально смотрел он, была знакомая до мелочей усадьба Саввы Саввича. Отсюда ее видно как на ладони, и добротный, на высоком фундаменте дом с белыми ставнями окон и заново покрашенной зеленой крышей. Четырехугольник ограды обрамляют крыши амбаров, сараев, а на задворках виден почерневший от времени омет соломы. Тот самый омет, под которым провел он столько счастливых часов вдвоем с Настей.

«Настя! Дома ли она, моя милая Настя?..» — взволнованно думал Егор, глаз не сводя с пантелеевской усадьбы. Но как ни напрягал он зрение, ни в ограде Саввы Саввича, ни около его дома так и не увидел он ни одного человека. Да и вообще-то в улицах пустынно: сенокос — все, от мала до велика, на покосе. Заявиться прямо к Савве Саввичу Егор счел неуместным, решив заехать лучше к Архипу Лукьянову.

Дома у Архипа оказалась одна его старуха, бабка Василиса. Она несказанно обрадовалась неожиданному гостю, и пока он, освободившись от оружия — шашку и винтовку с подсумком он повесил на гвоздик у порога, — расседлывал, устраивал под навес коня и умывался, старуха вскипятила самовар. На столе у нее вмиг появились и яйца, сваренные всмятку, и творог со сметаной, и свежие огурцы, и шаньги с крупяным подливом. Угощая Егора, старуха без умолку сыпала словами, рассказывала про свое жите-бытье. От нее и узнал Егор, что

Настя вместе с ребенком уехала на дальние покосы Саввы Саввича в падь Глубокую.

— Как она из себя-то выглядит? — допытывался Егор.

— А что же она, ничего-о! Первое-то время, после тебя, тосковала шибко, похудела и с лица спала, а энтот год опять поправилась. Румяная стала, Христос с ней, дородная, как нетель-переходница. Она ведь дома-то мало и обреталась. Зимой, до самой весны, на заимке жила со скотом, а летом то на покосе, то на страде. Даже и весной-то на заимке жила, робыла там на пахоте, и боронила, и быков гоняла — когда Микита хворал. И вот так кажин год, и парнишонка с собой возит.

— А он, сынок-то у нее, как?

— Боевой, полненький такой. А уж лицом-то, и глаза, и волосья, как вылитый, на тебя запохаживает. Я ведь, Егорушка, все знаю, у Насти от меня тайнов нету.

Порассказав о Насте, бабка снова заговорила о своей житухе, не замечая, что Егор ее не слушает. Плотно пообедав, он отхлебывал из стакана чай, невпопад поддакивая бабушке, а мысленно был далеко отсюда, там, где находилась его Настя.

Едва жара начала спадать, Егор оседлал гнедого, поблагодарив, бабку Василису за угощение, распрощался с нею и снова тронулся в путь.

В Глубокую, где находились покосы Саввы Саввича, Егор прибыл к вечеру. Солнце склонилось низко над лесистыми сопками, тени от них закрыли широкую елань, протянулись до самой долины, густо усеянной стогами сена. Сенокос в полном разгаре. После недавнего ненастья погода вновь установилась хорошая, и люди спешили воспользоваться ею, гребли подсохшую кошенину, метали сено в стога, работали, не заглядываясь на солнце. Ведь вот уже вечер, а везде, куда бы ни поглядел Егор, видел копошившихся на работе людей, валки кошенины, копны, и лишь кое-где у балаганов вставали сизые дымки костров.

Пантелеевские покосы Егор узнал еще издали по длинным, крутобоким, хорошо провершенным зародам. Сразу видно, что эти овальной формы верхушки зародов — работа Ермохиных рук. Словно чем-то родным повеяло на Егора, когда, подъехав ближе, увидел он на бугре два балагана, за ними чернели телеги, блестела металлическими частями сенокосилка, на елани паслись спутанные кони, а в пади возле колка работали батраки. Вершили они длинный, сажений в двадцать, зарод, человек пять кидали на него вилами сено, а на зарode управлялся,

сводил овершье один. В руках его быстро мелькали грабли, а сам он как на пружинах подскакивал, вертелся вьюном, на лету ловил навильники.

«Он... дед Ермоха,— улыбаясь, подумал Егор, по ухватке узнав старого товарища,— все такой же ловкач на работе. Покрикивает, наверно, на подавальщиков: «Давай, ребятушки, давай!» Ох и чудак старик!»

Егор хотел подъехать вплотную к зароду, но речка оказалась широкой, с зыбкими, кочковатыми берегами. Перепрыгнуть такую невозможно, к тому же и конь утомился за день. Повернув коня боком, Егор помахал рукой работающим у зарода. Его вскоре же заметили, один по одному останавливались стогометы, работа затихла. Лица всех повернулись к всаднику, с зарода из-под ладони смотрел Ермоха, от копен отделилась, побежала к нему женщина в белом платке. У Егора дух захватило от радости. Она, Настя! Он спешился, винтовку и поводья закинул на луку, пошел к стогу, что находился недалеко от того места, где через речку перекинута две жердины. Гнедой, как охотничья собака, помахивая хвостом, послушно шел следом за хозяином. А Настя все ближе, ближе, вот она уже перескочила по жердинам речку, вытянув руки вперед, бежит к Егору и с разбегу кидается ему на грудь. Поднявшись на носки, она, ухватив Егора за голову обеими руками, притянула его к себе, целовала его губы, глаза, смуглую от загара шею...

— Гоша, милый!.. — от радости, от быстрого бега она не могла говорить, задыхалась, продолжая осыпать Егора поцелуями.

Отвечая на поцелуи, он клонился к ней, заглядывая в разрумяненное радостью лицо, в смеющиеся, искрящиеся счастьем глаза, гладил полные круглые плечи, выбившиеся из-под платка, пахнущие сеном волосы. Она еще более похорошела, стала выше ростом, полнее под ситцевой кофточкой бугрилась упругая грудь.

— Хватит, Наточка, хватит, милая! — Егор выпрямился, глазами показал в левую сторону.— Люди-то вон смотрят.

— А ну их... людей этих! — Она все еще не могла собраться с мыслями, говорила прерывисто, сбивчиво: — Я тут... господи... откуда ты взялся?... Да уж не во сне ли это!.. А ну-ка, ущипни меня.

— Да нет, што ты, Наточка, какой же сон? Приехал вот на побывку.

— У меня сердце слышало. Все эти дни места себе не нахожу. Думала, уя? не беда ли какая с тобой приключилась?

— Не-ет, все хорошо. Ты-то как жила тут без меня? Про сына-то расскажи.

Тяжело вздохнув, Настя махнула рукой, поправила сбившийся платок.

— Кака'я уж тут жизнь, писала я тебе. Не дай бог никому такую жизнь. А сынок ничего-о, здоровенький, слава богу. Спит, должно, в балагане, набегался за день-то. У меня с ним Устиньина девчонка нянчится.

Продолжая разговаривать и держась за руки, оба пошли на стан, к балаганам, по пятам за ними шел верный Егоров Гнедко. Тихий, теплый наступил вечер. Закатное солнце красноватым светом озаряло долину, зарод, возле которого возобновилась и еще быстрее закипела работа. Работники спешили поскорее завершить зарод и бежать на стан, повидаться с Егором.

В этот вечер шакаловские работники долго сидели у костра, слушали рассказы служивого. Накинув на плечи шинель, Егор примостился на осиновой чурке с сыном на руках. Маленький белокурый Егорка в первый же вечер подружился с приезжим «дяденькой», охотно шел к нему на руки.

Разные собрались у костра люди. В большинстве своем это была крестьянская беднота, но были среди них и казаки: Ермоха, Андрей Макаров и цыганского вида, горбоносый, чернобородый Антип Гагарин. И странное дело, здесь и в помине не было той глухой сословной вражды, что сыздавна велась между казачьим и крестьянским населением Забайкалья. Крестьяне не обзывали здесь казаков «гуранами», а те их, в свою очередь, «кобылкой», «сиволапыми мужиками» и «широкоштанниками» — многие из крестьян работали на приисках и носили широченные плисовые штаны. Нужда и совместная работа «на чужого дядю» сблизили их, подружили между собою, так что Ермоха считал «мужика» Никиту рыжего одним из своих лучших друзей. А вот хозяина своего Савву Саввича все они ненавидели одинаково, и не было ему другого имени, кроме Шакала.

И вот теперь все они расположились вокруг весело потрескивающего, стреляющего цскрами костра в разнообразных позах: кто сидит, поджав нрги калачиком, двое лежат, подложив под головы поленья, трое сидят рядышком на бревне, дымят самосадом. Ермоха тихонько строгаёт ноя^ом вилы. Никита, придвинувшись поближе к огню, чинит свои много раз латанные ичиги. Все внимательно слушают Егора, сочувственно вздыхают, жалея погибшего Индчжугова, казаков,

сосланных на каторгу, изредка вставляют в рассказ свои замечания:

— Хороший, видать, человек был этот Индчжугов.

— Добрецкая душа. Не пожалей он дневального — живой был бы.

— А што было бы, ежели не казак офицера, а офицер казака убил, осудили бы его?

— Ни черта бы ему не было. Судьи-то те же офицеры, оправдали бы наверняка — ворон ворону глаз не выклюнет.

— Вот она, службица казачья!..

— Один черт, што солдату, што казаку — везде нашему брату Савке не сладко. У нас вот в девятой роте было...

Ночь. Темное, мерцающее звездами небо. Яркая вечерняя зарница низко повисла над сопками, когда батраки разошлись по балаганам и телегам, завалились спать. Ушла в свой балаган Настя, а Егор все еще сидел у костра с Ермохой. Костер уже прогорел, над грудой рубиновых, пышущих жаром углей золотистыми змейками извивался слабый огонек. Теперь рассказчиком стал Ермоха. О себе он говорил мало, все больше о хозяевах.

— Сенька-горбач по-прежнему писарем служит. Башковитый, холера, даром што смотреть не на што.— Прикурив от уголька, Ермоха выдохнул дым и продолжал рассказ: — А сам хозяин наш, известное дело, как был он шакал, так шакалом и остался. В прошлом году на одном хлебе нажил великие тыщи. Неурожай был два года подряд, хлеб подорожал, а Шакалу того и надо. И золота нахватал на хлеб, и денег, и скота, и всякого добра, все за бесценок. Так этого мало ему показалось, и што он надумал? Вскоре после вешнего Микола нагрузил мукой три пароконные подводы и к бурятам в Агинские степи подался. Ден так через десять появился Шакал обратно, и табунище овец — голов шестьсот — пригнали ему буряты. Почему он их покупал там? Даже работники, какие с ним ездили, не знают. Ну, конечно, охулки на руку не положил, это за пуд муки штук пять овец брал, самое меньшее. Теперь энтих овец круглый год пасет у Шакала бурят Доржи Бадмаев. Он, энто Доржи, такой мастер оказался пасти, что прямо-таки удивительно. Всю зиму пасет овец, клочка сена им не скормит, а к весне они одна другой жирнее. Ягниться начнут — сплошные двояшки. По добру-то, энтого пастуха надо было золотом осыпать, а у Шакала, знамо дело, только-то и получает Доржи, что кормится со всей семьей — ребятишек у него человек пять, один другого меньше. Ну и вот, прошлой осенью

устроил Шакал побойку на заимке. Нагнал туда бойщиков человек десять, и за три дня перекололи овец сотни три и голов с полсотни рогатого, все больше быков. Скота-то он понахватал столько, что и во дворы не вмещаются, да и кормов надо уйму, он все это подсчитал и перевел его на мясо. А потом арендовал два вагона, нагрузил их мясом, кожами, овчинами, масла сколько-то бочонков, шерсти немало пудов и со всем энтим добром укатил в Манжурку, к китайским купцам. Там все это и загнал по хорошей цене, большие деньги загреб он там. Вот и считай, почему у него пуд муки-то обошелся? Я так соображаю, что таких барышей, какие Шакал загреб в прошлом году за хлеб, и арендаторы золотых приисков не имели. Ну, а мы что ж, живем, хлеб жуем да горб наживаем на Шакаловой работе. Ты-то как, думаешь к нему же поступить, как отслужишь?

— Не-ет, ну его к черту, окромя Шакала найду работу. Да и не возьмет он меня в работники.— Егор оглянулся на телегу, где, накрывшись тулупом, похрапывал Антип, и заговорил тише.— Потому не возьмет, что Настю отберу у них, к себе увезу ее. Как ты на это смотришь?

— Хм...— Не торопясь с ответом, Ермоха вынул изо рта трубку, чубуком ее медленно разгладил усы.

— Ну чего же ты молчишь? — заглядывая старику в лицо, Егор придвинулся близко.— Говори, дядя Ермоха, прямо, начистоту.

— Сроду душой не кривил.

— Ты ведь против был тогда, чтобы увез я Настю, помнишь?

— Помню. Но ведь тогда другое дело было.

— А теперь?

— Да оно... как бы тебе сказать? Конечно, Настя баба такая, што лучше ее и не сыщешь, уж я-то ее знаю как родную дочерю. Да и любовь у вас возгорелась такая, што со стороны смотреть радостно. В одном сумлеваюсь, не принято ведь эдак-то — увести чужую жену и жить с нею без венца. Как-то оно вроде неподходяще.

— Это ерунда! У нас таких случаев не бывало, а в других местах сколько угодно. Слыхал я от людей, да и сам видел в Сретенске. Живет там один, и человек-то не простого звания — служащий, а вот отбил любимую у другого, живет с ней без всяких венцов и бога хвалит.

— Ну что ж, тебе виднее. Раз такое дело, то сходишь да и живи с Настей, назло Шакалам.

В ответ Егор лишь глубоко вздохнул и крепко пожал шершавую, мозолистую руку старого товарища.

* * *

Радостные дни наступили для Насти. Она словно перешагнула в другой мир, где все ей казалось в лучшем виде: и солнце здесь грело отменно ласково, ароматнее пахло сено, краше, душистее стали цветы, которых не замечала она раньше. А птицы... Только теперь убедилась Настя, как хорошо щебечут ранним утром перепелки, чуть позднее в кустах около речки на разные лады высвистывали щеглы, а днем с голубого неба серебристую трель сыпали жаворонки. Но больше всего радовало Настю то, что сбываются ее мечты, что Егор не забыл ее, а любит так же сильно, как и четыре года тому назад. И недалеко уже то время, когда вернется он со службы и заявят они на зависть людям. Днем Настя, глаз не сводя, любовалась Егором, а по ночам, ласкаясь к нему, рассказывала обо всем, что переншла она за три с половиной года. О том, как тосковала о нем в первые годы разлуки, и о горькой своей жизни в богатом доме. Часто во время этих рассказов обида вскипала в душе Насти, и умолкала она, заливаясь слезами.

— Что ты, Наточка! — успокаивал ее Егор. — Чего же плакать-то? Што было, то прошло. Больше уж этого не будет, да и ждать осталось недолго, каких-то полгода.

— Меня только то и спасало, что надеялась: вернешься со службы — и кончится моя каторга, — успокоившись, продолжала Настя. — А кабы не это, стала бы я жить у Шакалов? Пропали они пропадом, да и с богатством ихним!

Утром, после ночки, проведенной с милым, Настя сладко спала, а Егор вместе со всеми уходил косить. Привычные к труду руки просили работы, кипела в нем молодая горячая кровь, и он давал выход накопившейся энергии, тешился косью. Словно играючи, шел он, широко шагая по прокосу, далеко впереди всех. Рубаха на нем темнела, дымилась от пота, под литовкой, отлетая влево, клубилась скошенная трава. И не было среди работников ни одного молодца, который мог бы поспорить с Егором, померяться с ним удалью в работе. А когда поднималось, начинало припекать солнце и косари кончали утренний уповод, Егор опять опережал всех, бегом устремлялся к балаганам. Разгоряченный работой, смеющийся, счастливый, он с маху кидал свою литовку на балаган, принимался целовать Настю, помогал ей готовить завтрак. А если

к этому времени просыпался сынишка, Егор играл с ним, то, сажая его к себе на плечи, бежал с ним на речку купаться, то качал его на руках, подкидывая вверх выше головы. Мальчик звонко смеялся, дрыгая пухлыми ножками, а очутившись на земле, просил:

— Исё, дяденька, исё!

Так повторялось изо дня в день. Быстро летело время, неделя промелькнула как один день. В конце недели погода испортилась, два дня шли дожди, а затем наступило ведро. Вновь наступили жаркие дни, в долине началась гребь. После полудня работники разбились на группы: трое продолжали грести, четверо принялись копнить, а Ермоха с Егором стали метать сено в зарод. Несмотря на жару, работали они так дружно, что двое копновозов еле успевали доставлять им копны. Белокурый, веснушчатый парнишка-копновоз только подвез копну, как Егор уже всадил в нее длиннорogie деревянные вилы, крикнув, перевалил через колено и чуть не всю ее поднял, уложив па место. В этот момент и услышал он встревоженный голос копновоза:

— Дяденька, гляди-ко, кто-то во-он по дороге во весь дух шпарит и красным платочком чего-то машет.

Егор взглянул, куда показывал мальчик, и обмер от неожиданности. По дороге, что тянулась серединой елани, во весь опор мчался всадник на вороном коне. Над головой его, вздетый на длинную палку, похожую на пику, трепыхался красный флаг. И там, где проехал всадник, люди прекращали работу, спешили к балаганам, седлали лошадей.

Первым заговорил Ермоха:

— А ведь, кажись, неладно что-то, неужто война?

— Война! — глухо отозвался Егор. Скрипнув зубами, он длинно, нехорошо выругался и, кинув вилы на зарод, зашагал на стан.